### Темная башня: Двери между мирами

#### Стивен Кинг

ПРОЛОГ: МОРЯК

Стрелок пробудился от сумбурного сна, состоявшего, казалось, из одного-единственного образа: образа Моряка в колоде Таро, из которой человек в черном сдал (или подразумевалось, что сдал) стрелку его плачевное будущее.

— Он тонет, стрелок, — говорил человек в черном, — и никто не бросает веревку. Мальчик, Джейк.

Но это был не кошмар. Это был хороший сон. Хороший потому, что тонул-то он сам, а это означало, что он вовсе не Роланд, а Джейк, и от этого стрелок чувствовал облегчение, потому что было бы гораздо лучше быть Джейком и утонуть, чем жить и быть самим собой — человеком, ради холодной грезы предавшим ребенка, который ему доверял.

«Хорошо, ладно, я утону, — думал он, слушая рев моря. — Пусть я утону». Но это не был шум открытого моря, это был скрежещущий звук воды, давящейся камнями. Да Моряк ли он? Если да, то почему суша так близко? И разве он на самом деле не на суше? Ощущение было такое, будто...

Ледяная вода плеснула ему на сапоги и взбежала по ногам до промежности. Тогда его глаза резко открылись, и сон слетел с него. Причиной тому были не заледеневшие яички, которые вдруг сжались, казалось, до размера грецких орехов, и даже не кошмар справа от него, а мысль о револьверах... о револьверах и, что было даже важнее, о патронах. Промокшие револьверы можно быстро разобрать, вытереть насухо, смазать, еще раз вытереть насухо, еще раз смазать и снова собрать; промокшие патроны, как промокшие спички, то ли будут когда-нибудь снова годиться, то ли нет.

Кошмаром была ползучая тварь, которую, должно быть, выбросило одной из предыдущих волн. Она с трудом волочила по песку свое мокрое, поблескивающее туловище. Она была около четырех футов длиной и находилась ярда на четыре правее. Она смотрела на Роланда холодными глазами на стебельках. Ее длинный зазубренный клюв раскрылся, и она начала издавать звуки, так напоминавшие человеческую речь, что становилось жутко: жалобные, даже отчаянные, настойчивые вопросы на незнакомом языке: «Дид-э-чик? Дум-э-чум? Дад-э-чам? Дэд-э-чек?»

Стрелку доводилось видеть омаров. Это был не омар, хотя омары были единственными существами, которых эта тварь хотя бы отдаленно напоминала. Казалось, она его нисколько не боится. Стрелок не знал, опасна она или нет. Его не волновала царившая у него в мозгу путаница, то, что он пока не может вспомнить, где он, как сюда попал и действительно ли поймал человека в черном или это ему только приснилось. Он сознавал лишь, что ему нужно уйти подальше от воды, пока она не залила патроны.

Он услышал нарастающий, скрежещущий рев воды и перевел взгляд с твари (она остановилась и подняла вверх клешни, при помощи которых ползла, отчего стала нелепо похожа на боксера в исходной стойке, которая, как объяснял им Корт, называлась Стойкой Чести) на набегающий бурун, увенчанный пенным гребнем.

«Оно слышит волну, — подумал стрелок. — Что бы оно ни было такое, но уши у него есть». Он попытался встать, но онемевшие ноги подогнулись.

«Это все еще сон», — подумал он, но даже в своем теперешнем отуманенном состоянии понял, что эта мысль слишком соблазнительна, чтобы в нее можно было поверить. Он вновь попытался встать, и это ему удалось, но потом опять упал. Волна вот-вот должна была разбиться. Ему оставалось одно — передвигаться тем же манером, что тварь справа от него: он упирался обеими руками и подтягивал туловище вверх по гальке прибрежной полосы, подальше от волны.

Он уполз не так далеко, чтобы полностью уйти от волны, но все же на достаточное для своих целей расстояние. Волна накрыла только его сапоги. Она достала ему почти до колен — и отступила. «Быть может, первая добралась не так высоко, как мне показалось. Быть может...»

В небе висел месяц. Он был затянут пеленой дымки, но его света хватило, чтобы Роланд смог увидеть: кобуры чересчур темные. Револьверы во всяком случае промокли. Насколько сильно — сказать было невозможно; нельзя было и сказать, промокли ли те патроны, что были в барабанах, и те, что лежали в перекрещенных револьверных ремнях. Прежде, чем проверять, необходимо было уйти от воды. Необходимо...

— Дод-э-чок? — Это прозвучало уже гораздо ближе. Тревожась о воде, он забыл о принесенной водой на берег твари. Он оглянулся и увидел, что теперь она всего в четырех футах от него. Ее клешни зарылись в усыпанный галькой песок прибрежной полосы, подтягивая тело. Тварь приподняла свое мясистое, членистое туловище и на мгновение стала похожа на скорпиона, но Роланд не увидел жала на конце тела.

Опять скрежещущий рев, на этот раз гораздо громче. Тварь немедленно остановилась и вновь подняла клешни в своеобразном собственном варианте Стойки Чести.

Эта волна была больше. Роланд снова начал подтягиваться вверх по склону берега, и, когда он вытянул руки, клешнястая тварь метнулась со скоростью, которую ее предыдущие движения даже не позволяли заподозрить.

Стрелок ощутил в правой кисти слепящую вспышку боли, но думать об этом сейчас было некогда. Он отталкивался каблуками промокших сапог, цеплялся руками и ему удалось уйти от воды.

— Дид-э-чик? — вопросило чудовище, жалобно, словно говоря: «Неужели ты мне не поможешь? Разве ты не видишь, что я в отчаянном положении?», и Роланд увидел, как в зазубренном клюве твари исчезают куски указательного и среднего пальцев его правой руки. Тварь метнулась снова, и Роланд едва успел вскинуть руку, с которой капала кровь, чем спас остальные пальцы.

«Дум-э-чум? Дад-э-чам?»

Стрелок с трудом, шатаясь, поднялся на ноги. Тварь разорвала его мокрые джинсы, прорвала насквозь сапог, старая кожа которого была тонкой, но крепкой, как железо, и вырвала у него кусок мяса из нижней части икры.

Роланд правой рукой выхватил револьвер и осознал, что лишился двух пальцев из тех, что необходимы для выполнения этой старинной процедуры убийства, лишь тогда, когда револьвер с глухим стуком упал на песок.

Чудовище жадно метнулось к нему.

«Ну, нет, сволочь!» — взревел Роланд и ударил тварь ногой. Это было все равно, что пнуть каменную глыбу... да еще кусачую. Тварь оторвала у него носок правого сапога, оторвала большую часть большого пальца правой ноги, сорвала с ноги сапог.

Стрелок нагнулся, поднял револьвер, уронил его, выругался и в конце концов справился. Движение, которое некогда давалось так легко, что об этом даже не приходилось задумываться, теперь потребовало таких усилий и ловкости, как если бы Роланду пришлось жонглировать.

Тварь скорчилась на сапоге стрелка и рвала его, продолжая задавать свои путаные вопросы. К берегу катилась волна, клок пены на ее гребне в кружевном свете месяца казался бледным и мертвым. Омароподобное чудовище перестало трудиться над сапогом и подняло клешни в позе боксера.

Роланд левой рукой вытащил револьвер и трижды нажал спуск. Щелк, щелк, щелк.

Теперь с патронами было все ясно, во всяком случае, с теми, что в барабанах.

Он убрал левый револьвер в кобуру. Чтобы убрать правый, ему пришлось левой рукой повернуть его стволом вниз и дать ему упасть на место. Потертые рукоятки из железного дерева были скользкими от крови; пятна крови покрыли кобуру и старые джинсы, к которым кобура была привязана узким ремешком. Кровь лилась из обрубков, которые совсем недавно были его пальцами.

В изуродованной правой ступне у него еще не прошло онемение, и поэтому она пока еще не начала болеть, но в правой кисти словно бушевал огонь. Призраки пальцев, таких талантливых и натренированных, сейчас уже разлагавшихся в пищеварительных соках кишок этой твари, вопили, что они еще здесь, что их сжигает пламя.

Стрелок отстраненно подумал: «Я предвижу серьезные проблемы».

Волна отступила. Чудовище опустило клешни, прорвало в сапоге стрелка еще одну дыру, после чего решило, что владелец этого куска кожи, который он каким-то образом сбросил, был куда вкуснее.

«Дум-э-чум?» — спросило оно и суетливо, с ужасающей скоростью направилось к стрелку. Он стал отступать на онемевших ногах; он понял, что у твари, должно быть, есть какой-то разум: она подкралась к нему по берегу осторожно, может быть, издалека, не уверенная в том, что он такое и на что может быть способен. Если бы его не разбудила окатившая его волна, эта тварь, пока он был глубоко погружен в свой сон, объела бы ему лицо. Теперь она решила, что он не только вкусен, но и уязвим; легкая добыча.

Она была уже совсем рядом, тварь длиной в четыре фута, высотой в фут, тварь, весившая, пожалуй, фунтов семьдесят, и такая же маниакально плотоядная, как Давид, сокол, который был у него в детстве, — но без свойственных Давиду едва заметных проблесков верности.

Левый каблук стрелка задел камень, торчавший из песка; Роланд пошатнулся и чуть не упал.

«Дод-э-чок?» — спросила тварь, казалось, заботливо, и уставилась на стрелка покачивавшимися на стебельках глазами, а ее клешни потянулись к нему... но тут набежала волна, и клешни снова вскинулись в Стойке Чести. Однако, на этот раз они самую чуточку дрогнули, и стрелок понял, что тварь реагирует на шум волны, а сейчас этот звук — по крайней мере, для нее — стал чуть-чуть затихать.

Роланд, пятясь, переступил через камень, потом, когда волна со скрежещущим ревом разбилась о край берега, наклонился. Его голова оказалась в нескольких дюймах от насекомьей хари чудовища, оно с легкостью могло бы вырвать у стрелка глаза, но дрожащие клешни твари, так напоминавшие сжатые кулаки, по-прежнему были воздеты по обе стороны клюва, похожего на клюв попугая.

Стрелок протянул руки к камню, о который только что споткнулся, и едва не упал. Камень был большой, он наполовину зарылся в песок, и искалеченная правая рука Роланда взвыла, когда в открытую кровоточащую плоть впились песчинки и острые камешки, но он рывком выдернул камень и, оскалившись, поднял его.

«Дад-э...» — начало чудовище, опуская и раскрывая клешни, когда волна, разбившись, отхлынула и шум ее отступил, и стрелок с размаху, изо всех сил опустил на него камень.

Членистая спина твари с хрустом сломалась. Тварь отчаянно задергалась под камнем, ее задняя половина вскидывалась и с глухим стуком опускалась, вскидывалась и опускалась, ее вопросительное бормотание перешло в жужжащие вскрики боли. Клешни ее раскрывались и смыкались, хватая пустоту, клювовидная пасть со скрежетом захватывала песок с галькой.

И все же, когда разбилась еще одна волна, чудовище попыталось опять поднять клешни, и когда оно их подняло, стрелок оставшимся сапогом наступил ему на голову. Послышался такой звук, словно ломался мелкий хворост. Из-под каблука в двух направлениях ударила струя густой, казавшейся черной, жидкости. Тварь выгибалась дугой и корчилась, как безумная. Стрелок сильнее нажал сапогом.

Набежала волна.

Клешни чудовища приподнялись на дюйм... на два дюйма... дрогнули и упали, судорожно смыкаясь и размыкаясь.

Стрелок убрал сапог. Зазубренный клюв твари, оторвавший от его живого тела два пальца на руке и один — на ноге, медленно открылся и закрылся. Один усик, сломанный, лежал на песке. Второй бессмысленно подрагивал.

Стрелок наступил еще раз. И еще раз.

Кряхтя от усилий, он ногой отшвырнул камень в сторону и пошел вдоль правого бока твари, методически наступая на нее левым сапогом, ломая панцирь, выдавливая бледные внутренности на темно-серый песок. Тварь была мертва, но он все равно был намерен расправиться с ней; за всю его долгую, странную жизнь еще никто не ранил его так основательно, и все это было так неожиданно.

Роланд продолжал топтать, пока в кислой кашице из кишок твари не увидел кончик одного из своих пальцев, не увидел под ногтем белую пыль голгофы, где они с человеком в черном вели свою долгую беседу; и тогда он отвернулся, и его вырвало.

Стрелок пошел обратно к воде, как пьяный, прижимая раненую руку к рубашке, то и дело оглядываясь, чтобы убедиться, что тварь не ожила подобно упрямой осе, которую ты прихлопнул раз, и другой, и третий, а она все еще подергивается, оглушенная, но не мертвая; чтобы убедиться, что она не тащится вслед за ним, задавая свои нечеловеческие вопросы жутким, полным отчаяния голосом.

Спускаясь по гальке, он остановился на полдороге, шатаясь, глядя на то место, где он был перед всем этим, припоминая. Он, по-видимому, заснул вплотную у линии прилива, чуть ниже ее. Он торопливо схватил свой кошель и изодранный сапог.

В голом свете луны он увидел других таких же тварей, и в паузе между двумя волнами услышал их вопрошающие голоса.

Стрелок отступал медленно, шаг за шагом, пока не кончился галечник и не началась трава. Там он сел и сделал все, что мог и умел: присыпал все три культи последними остатками табака, чтобы остановить кровь, присыпал густо, не обращая внимания на новую боль (к хору присоединился оторванный большой палец ноги), а потом просто сидел, потел на холодном ветру, гадая, попала ли в раны инфекция; ломая голову, как он будет управляться в этом мире без двух пальцев на правой руке (что касается револьверов, то обе руки у него были равноценны, но во всем остальном главной была правая); размышляя, не был ли укус этой твари ядовитым, и не проникает ли уже в него этот яд; гадая, наступит ли когда-нибудь утро.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. НЕВОЛЬНИК

1. ДВЕРЬ

Три. Это — число твоей судьбы.

Три?

Да, три — таинственное число, стоящее в сердце мантры.

Три?

Первый — темноволос. Он — на грани грабежа и убийства. Им владеет демон. Имя демону — ГЕРОИН.

Что это за демон? Я не знаю его, даже по детским сказкам.

Он силился заговорить, но у него пропал голос, голос прорицательницы, Звездной Шлюхи, Блудницы Ветров, оба пропали; он увидел, как из ниоткуда в никуда, подрагивая и кружась в ленивой тьме, падает карта. На ней из-за плеча юноши с темными волосами ухмылялся павиан; его пальцы, неприятно похожие на человеческие, так глубоко впились в шею юноши, что их кончиков не было видно. Присмотревшись повнимательнее, стрелок увидел, что в одной из своих цепких, душащих рук павиан держит хлыст. Лицо человека, оседланного павианом, казалось, передергивается в немом ужасе.

Невольник, дружеским тоном прошептал человек в черном (которому стрелок некогда доверял, человек по имени Уолтер). — Чуть-чуть страшновато, не правда ли? Чуть-чуть страшновато... чуть-чуть страшновато... чуть-чуть...

Стрелок мгновенно проснулся, отмахиваясь от чего-то искалеченной рукой, уверенный, что через секунду одна из чудовищных, покрытых панцирем тварей из Западного Моря набросится на него и сорвет ему лицо с костей черепа, отчаянно вопрошая о чем-то на чужом языке.

Вместо этого от него с испуганным писком отлетела морская птица, привлеченная блеском утреннего солнца на пуговицах его рубашки.

Роланд сел.

Руку отчаянно, непрерывно дергало. Правую ступню — тоже. Все три пальца продолжали настаивать, что они на своих местах. Нижней половины рубашки не было; то, что осталось, напоминало изодранную в клочья майку. Одним куском он ночью перевязал себе руку, другим — ступню.

«Пошли прочь, — сказал он отсутствующим частям своего тела. — Вы теперь призраки. Уходите».

Это немного помогло. Не очень, но все-таки. Они, конечно, были призраками, но бойкими призраками.

Стрелок поел вяленого мяса. Его рот не очень-то хотел этой еды, желудок — и того меньше, но он настоял. Когда мясо оказалось у Роланда внутри, он ощутил, что сил чуть прибавилось. Однако, мяса осталось немного; дела обстояли очень и очень неважно.

Тем не менее, ему было необходимо закончить кое-какие дела.

Он нетвердо поднялся на ноги и огляделся. Птицы носились в небе и ныряли, но мир, казалось, принадлежал лишь ему и им. Чудовища исчезли. Может быть, они вели ночной образ жизни; может быть, появлялись только во время прилива. В данный момент это было ему безразлично.

Море было бескрайним, оно сливалось с горизонтом в какой-то туманной синей точке, определить которую было невозможно. Созерцая его, стрелок на долгий миг забыл о мучительной боли. Он никогда не видел столько воды. Слышал о нем, конечно, в детских сказках; что оно существует, его уверяли даже его учителя — во всяком случае, некоторые из них... Но действительно увидеть его, это диво, эту громаду воды после стольких лет пустыни... это было трудно принять, трудно даже видеть.

Он долгое время зачарованно смотрел на море, заставляя себя видеть его, от изумления на время забыв о боли.

Но было утро, и оставались еще не сделанные дела.

Роланд стал нащупывать в заднем кармане челюсть, осторожно продвигая правую руку ладонью вперед, боясь, чтобы культи не наткнулись на кость, если она еще там, и не превратили бы непрерывные рыдания этой руки в пронзительные вопли.

Челюсть была на месте.

Порядок.

Дальше.

Он неуклюже расстегнул пряжки патронных лент и положил их на освещенный солнцем камень. Отстегнул револьверы, выдвинул барабаны, вынул бесполезные патроны и выбросил их. Птица, привлеченная ярким блеском одного из них, схватила патрон в клюв, потом бросила и улетела.

Надо было позаботиться и о самих револьверах, о них следовало позаботиться уже давно, но поскольку без боеприпасов любой револьвер в этом — как и во всяком другом — мире становится всего лишь дубинкой, стрелок прежде всего положил себе на колени патронные ленты и левой рукой тщательно ощупал кожу по всей длине.

Обе ленты были сырые от застежек до того места, где они перекрещивали его бедра; начиная оттуда, ленты казались сухими. Стрелок осторожно вынул из сухих участков лент все патроны до единого. Его правая рука все время норовила заняться этим делом, упорно, несмотря на боль, забывала, что она не вся на месте, и он заметил, что снова и снова заставляет ее ложиться ему на колено, словно собаку, которая слишком глупа или упряма, чтобы слушаться команды «Рядом!». Плохо соображая от боли, он пару раз чуть не шлепнул ее.

«Я предвижу серьезные проблемы», — опять подумал он.

Можно было надеяться, что эти патроны еще годятся, и он сложил их в кучку, такую маленькую, что впору было придти в отчаяние. Двадцать. И из них несколько почти наверняка дадут осечку. Он не мог положиться ни на один из них. Вынув остальные, он сложил их в другую кучку. Тридцать семь.

«Что ж, у тебя и вначале было не так уж много патронов», — подумал он. Но он сознавал разницу между пятьюдесятью семью годными патронами и — возможно — двадцатью. А может быть, и десятью. Или пятью. Или одним. Или ни одним.

Роланд сложил сомнительные патроны в еще одну кучку.

Кошель у него все-таки остался. Это уже было кое-что. Он положил его к себе на колени, а потом медленно разобрал револьверы и совершил обряд чистки. К тому времени, как он управился, прошло еще два часа, и раны у него болели так сильно, что от боли кружилась голова; сознательно думать стало трудно. Хотелось спать. Никогда в жизни ему так не хотелось спать. Но когда выполняешь свой долг, приемлемых причин для отказа никогда не бывает.

— Корт, — сказал он голосом, который сам не мог узнать, и сухо засмеялся.

Медленно-медленно он собрал револьверы и зарядил их патронами, которые считал сухими. Когда это дело было сделано, он взял револьвер, предназначенный для левой руки, взвел курок... и вновь медленно опустил его. Да, он хочет знать. Хочет знать, услышит ли, нажав спуск, звук выстрела или только очередной бесполезный щелчок. Но щелчок ничего не будет значить, а выстрел только сведет двадцать к девятнадцати... или к девяти... или к трем... или к нулю.

Стрелок оторвал от рубашки еще кусок, положил на него другие патроны — те, что промокли, — и, орудуя левой рукой и зубами, завязал в узелок. Он положил их в кошель.

Спать, требовало его тело. Спать, ты должен поспать, сейчас, пока не стемнело, ничего не осталось, ты весь выложился...

Роланд с трудом встал и оглядел пустынный берег. Цветом он был похож на давно не стиранное белье. Он был усеян бесцветными ракушками. Там и сям из крупного песка торчали большие камни, покрытые птичьим пометом; старые слои были желтыми, как зубы древнего черепа, а более свежие пятна — белыми.

Линия прилива была отмечена сохнущими бурыми водорослями. Он увидел, что возле этой линии лежат куски его сапога и его бурдюки. То, что такие высокие волны не смыли его бурдюки в море, показалось ему почти чудом. Медленной походкой, мучительно хромая, стрелок подошел к месту, где они лежали, поднял один из них, поднес к уху и потряс. Второй был пуст. А в этом еще оставалось немного воды. Большинство людей не смогли бы отличить один от другого, но стрелок различал свои бурдюки, как мать различает своих двойняшек. Ведь он странствовал со своими бурдюками уже столько времени. Внутри плескалась вода. Это было хорошо — словно подарок. И тварь, которая напала на него, и любая из остальных могла бы разорвать этот бурдюк, или второй, одним небрежным щипком клешни, но не разорвала, и море пощадило его. Никаких следов самой твари не было видно, хотя оба они ночью оставались намного выше линии прилива. Быть может, ее утащили другие хищники; быть может, ее родня устроила ей похороны в море, подобно тому, как элефанты, гигантские звери, о которых он слышал в детстве, в сказках, будто бы сами хоронят своих умерших.

Роланд левым локтем приподнял бурдюк, жадно, большими глотками, напился и почувствовал, что к нему возвращаются силы. Правый сапог, конечно, погиб... но потом он ощутил искру надежды. Головка и подметка остались целы — исцарапаны, но целы, и, может быть, удастся обрезать второе голенище под пару этому, смастерить что-нибудь, чего хватит хотя бы на время...

Его исподволь охватила слабость. Роланд попытался бороться с ней, но у него подогнулись колени, и он неловко, прикусив язык, сел.

«Ты не потеряешь сознания, — угрюмо сказал он себе. — Не здесь, куда этой ночью может вернуться еще одна такая же тварь и довершить дело».

Поэтому стрелок встал и обвязал пустой бурдюк себе вокруг пояса, но, пройдя всего двадцать ярдов назад, к тому месту, где оставил револьверы и кошель, он опять в полуобмороке упал на землю. Некоторое время он лежал, прижавшись щекой к песку; в подбородок ему почти до крови врезался острый край ракушки. Он сумел напиться из бурдюка, а потом пополз обратно, туда, где проснулся. В двадцати ярдах выше на склоне росла юкка; дерево было чахлое, но все же давало хоть какую-то тень.

Эти двадцать ярдов показались Роланду двадцатью милями.

Тем не менее, он с великим трудом втащил то, что осталось от его хозяйства, в эту маленькую лужицу тени. Он лежал, уронив голову на траву, мало-помалу уплывая то ли в сон, то ли в обморок, то ли в смерть. Он взглянул на небо и попытался сообразить, сколько времени. Не полдень, но размер лужицы тени, в которой он лежал, говорил, что полдень близок. Стрелок еще несколько секунд не поддавался забытью, повернул правую руку и поднес ее поближе к глазам, ища красные полосы — признаки заражения, признаки того, что в него медленно проникает какой-то яд.

Ладонь была тускло-багрового цвета. Дурной признак.

«Спасибо, что хоть на спуск я могу нажимать левой рукой», — подумал Роланд.

Потом им завладела тьма, и следующие шестнадцать часов он проспал, и в его спящие уши непрерывно бил шум Западного Моря.

Когда стрелок проснулся, море было темным, но небо на востоке слабо светилось. Он сел, и волна дурноты почти захлестнула его.

Он нагнул голову и стал ждать.

Когда дурнота прошла, он взглянул на свою руку. Точно, заражение началось — багровый отек поднялся по ладони выше и захватил запястье. Там он кончался, но уже были заметны новые багровые полосы, пусть пока еще бледные, чуть видные, которые постепенно дойдут ему до сердца и убьют его. Ему было жарко, его лихорадило.

«Мне нужно лекарство, — подумал он. — Но здесь нет лекарств».

Так что же, он дошел сюда только для того, чтобы умереть? Он не умрет. А если ему, несмотря на его решимость, и суждено умереть, то он умрет на пути к Башне.

«Какой ты необыкновенный, стрелок! — хихикал у него в голове человек в черном. — Как ты неукротим! Как романтичен в своей дурацкой одержимости!»

«Пошел ты на хуй», — прохрипел Роланд и попил воды. Воды тоже оставалось не так уж много. Перед ним было целое море, да только что ему было толку от этого; вода, вода со всех сторон, ни капли для питья [цитата из поэмы С. Кольриджа «Старый Моряк»]. Ну, ничего.

Он надел и пристегнул патронные ленты, завязал их — эта процедура отняла у него столько времени, что до того, как он управился, первый слабый проблеск рассвета успел превратиться в настоящий сияющий пролог дня — и попытался встать на ноги. Он не был уверен, что ему это удастся, пока не убедился, что стоит.

Держась левой рукой за юкку, он подцепил правым локтем тот бурдюк, что был не совсем пуст, и перекинул его через плечо. Потом кошель. Когда он выпрямился, на него вновь нахлынула дурнота, и он нагнул голову, ожидая, не сопротивляясь.

Дурнота прошла.

Нетвердой, заплетающейся походкой пьяного, который вот-вот свалится, стрелок спустился к прибрежной полосе песка. Он стоял, глядя на океан, темный, как тутовое вино, а потом достал из кошеля остаток вяленого мяса. Половину он съел, и на этот раз и рот, и желудок приняли его более охотно. Он повернулся и начал есть вторую половину, глядя, как солнце встает из-за гор, где погиб Джейк — сначала оно словно зацепилось за эти пики, не покрытые деревьями, похожие на зубы какой-то жестокой твари, а потом поднялось над ними.

Роланд подставил лицо солнцу, закрыл глаза и улыбнулся. Он доел мясо.

Он подумал: «Отлично. Теперь я — человек, у которого нет еды, у которого на руках на два пальца, а на ногах — на один палец меньше, чем было, когда он родился; я — стрелок с патронами, которые, возможно, дадут осечку; от укуса чудовища я заболеваю, а лекарства у меня нет; воды мне хватит в лучшем случае на один день; если я выложусь до последнего, я смогу пройти, быть может, с десяток миль. Короче говоря, я — человек, во всем дошедший до края».

В какую сторону ему идти? Он пришел с востока; чтобы идти на запад, ему нужно могущество святого или спасителя. Оставались север и юг.

На север.

Стрелок двинулся в путь.

Он шел три часа. Два раза он упал и во второй раз думал, что уже не сможет встать. Но тут к нему прихлынула волна, достаточно близко, чтобы заставить его вспомнить о револьверах, и он сам не понял, как вскочил, и ноги у него дрожали, как ходули.

По его расчетам, за эти три часа он прошел около четырех миль. Теперь солнце грело все сильнее, но было не таким жарким, чтобы этим можно было объяснить стучавшую в висках боль или струившийся по лицу пот; и ветер с моря был не настолько силен, чтобы этим можно было объяснить внезапные приступы озноба, охватывавшего его время от времени, так, что все его тело покрывалось гусиной кожей, и зубы стучали.

«У тебя жар, стрелок, — хихикал человек в черном. — Что осталось у тебя внутри — все подожжено».

Багровые полосы заражения теперь были видны более отчетливо; они тянулись от правого запястья вверх, на половину расстояния до локтя.

Роланд прошел еще милю и осушил бурдюк до последней капли. Он обвязал его вокруг пояса вместе с первым. Ландшафт был однообразный и неприятный. Справа — море, слева — горы, под подошвами опорков его сапог — серый, усеянный ракушками песок. Волны набегали и уходили. Он поискал взглядом омароподобных чудовищ и не увидел ни одного. Он шел из ниоткуда в никуда, человек из иного времени, достигший, казалось, бессмысленного конечного пункта.

Перед самым полуднем он опять упал и понял, что не может встать. Значит, вот оно, это место. Здесь. Выходит, это все-таки конец.

Стоя на четвереньках, он поднял голову, как боксер в состоянии «грогги»... и впереди, может, в миле, а может, и в трех (трудно было оценить расстояние вдоль этой однообразной прибрежной полосы, когда внутри у него бушевал жар, так что его глаза словно пульсировали, то вылезая из глазниц, то уходя обратно), он увидел что-то новое. Что-то, вертикально стоявшее на берегу.

Что это такое?

(три)

Неважно.

(три — число твоей судьбы)

Стрелку удалось встать. Он прохрипел что-то, какую-то мольбу, которую услышали только кружившие в небе морские птицы («и с каким удовольствием они бы выклевали у меня глаза, — подумал он, — как бы они обрадовались такому лакомому кусочку!») — и пошел дальше; теперь его шатало гораздо сильнее, и за ним оставались следы в виде странных петель и зигзагов.

Он не сводил глаз с того, что стояло там, впереди, на берегу. Когда волосы падали ему на глаза, он с досадой отбрасывал их тылом руки. Казалось, оно не приближается. Солнце достигло верхней точки небосвода и, казалось, слишком задержалось там. Роланду мерещилось, что он опять в пустыне, где-то между хижиной последнего поселенца

(музыкальная еда, чем больше ешь, тем громче бзда)

и постоялым двором, где мальчик

(твой Исаак)

ожидал его прихода.

Колени у стрелка подогнулись, выпрямились, опять подогнулись, опять выпрямились. Когда волосы снова упали ему на глаза, он не стал их отбрасывать; у него не было на это сил. Он смотрел на предмет, который теперь отбрасывал назад, в противоположную морю сторону, узкую тень, и шел, не останавливаясь.

Теперь он — жар или не жар — мог его разглядеть.

Это была дверь.

Когда до нее осталось меньше четверти мили, у Роланда снова подогнулись колени, и на этот раз он не смог их распрямить. Он упал, его правая рука проволоклась по колючему песку и ракушкам, содрав с ран свежие корки, и культи пальцев завизжали от боли и вновь начали кровоточить.

Тогда он пополз. Он полз, а в ушах его стоял ритмичный шум: Западное Море набегало, с ревом разбивалось о берег, отступало. Он работал локтями и коленями, оставлял за собой борозды в песке, выше полосы грязно-зеленых водорослей, отмечавшей линию прилива.

Он думал, что ветер, наверно, все еще дует — должно быть, так, потому что его тело продолжал сотрясать озноб — но единственное, что он слышал, был хриплый свист урагана, вырывавшегося из его собственных легких и входившего в них.

Дверь становилась все ближе.

Ближе.

Наконец, около трех часов этого долгого бредового дня, когда тень Роланда оказалась слева от него и стала удлиняться, он добрался до нее. Он сел на корточки и начал устало рассматривать ее.

Дверь была шести с половиной футов высотой и, казалось, сделана из цельного куска железного дерева, хотя ближайшее железное дерево, должно быть, росло отсюда милях в семистах, не меньше. Ручка двери, судя по ее виду, была золотая; ее украшал филигранный рисунок, который стрелок в конце концов разобрал: это была ухмыляющаяся морда павиана.

Замочной скважины не было ни в самой ручке, ни над ней, ни под ней.

Дверь держалась на петлях, но они не были ни к чему прикреплены — «или это так кажется, — подумал стрелок. — Это тайна, весьма дивная тайна, не имеющая себе равных, но так ли уж это важно? Ты умираешь. Приближается твоя собственная тайна — единственная тайна, в конечном счете имеющая значение для каждого человека».

Но несмотря ни на что, это казалось важным.

Эта дверь. Дверь там, где не должно быть никаких дверей. Она просто стояла на сером берегу, на двадцать футов выше линии прилива, с виду такая же вечная, как само море, и сейчас, когда солнце склонялось к западу, ее ребро отбрасывало косую тень к востоку.

На ней, в двух третях ее высоты от нижнего края, черными буквами, Высоким Слогом, было написано одно лишь слово:

НЕВОЛЬНИК

Им владеет демон. Имя демону — ГЕРОИН.

Стрелок услышал негромкий, ровный гул. Сначала он подумал, что это, наверное, ветер или гудение жара у него в голове, но постепенно все больше и больше убеждался, что этот гул — шум мотора... и что он доносится из-за двери.

«Так открой же ее. Она не заперта. Ты ведь знаешь, что она не заперта».

Вместо этого он с усилием, неуклюже поднялся на ноги, обошел дверь кругом и зашел с другой стороны.

Другой стороны не было.

Только темно-серый песок, уходивший назад, насколько хватало глаз. Только волны, ракушки, линия прилива, следы его собственного приближения — отпечатки сапог и ямки, выдавленные его локтями. Роланд взглянул еще раз, и его глаза раскрылись чуть шире. Двери не было, но тень была.

Он протянул было правую руку — ох, как же медленно она привыкала к своему месту в том, что осталось от его жизни, — уронил ее и поднял левую. И стал шарить, ожидая встретить твердую поверхность.

«Если я ее нащупаю, я постучу по пустоте, — подумал стрелок. — Интересно было бы перед смертью сделать такую штуку!»

В том месте, где должна была бы находиться дверь, хотя бы и невидимая, и далеко за ним стрелок нащупал только воздух.

Стучать было не по чему.

И звук моторов — если это в самом деле был звук моторов — прекратился. Теперь остался лишь ветер, волны и больное жужжание у него в голове.

Стрелок медленно зашел на другую сторону того, чего здесь не было, уже думая, что это с самого начала был бред, галлю...

Он остановился.

Только что он видел на западе сплошную линию катящихся серых волн, и вдруг этот пейзаж нарушило ребро двери. Ему была видна пластинка, тоже похожая на золотую, из которой, как кургузый металлический язык, торчала щеколда. Роланд повернул голову на дюйм к северу, и дверь исчезла. Повернул голову обратно — и дверь опять оказалась на месте. Она не появилась; она просто была там.

Он обошел дверь кругом и, шатаясь, стал к ней лицом.

Он мог бы опять зайти со стороны моря, но был уверен, что снова произойдет то же самое, только на этот раз он упадет.

«Интересно, мог бы я пройти сквозь нее с той стороны, с которой ее нет?»

О, думать и гадать можно было о множестве разных вещей, но истина была проста: вот на бесконечном морском берегу стоит дверь, и она годится только для одного из двух — ее можно либо открыть, либо оставить закрытой.

Стрелок со смутным юмором подумал, что умирает не так быстро, как он полагал. А если бы так, как полагал — было бы ему так страшно?

Он протянул левую руку и ухватился за ручку двери. Его не удивили ни смертный холод металла, ни слабый жгучий жар выгравированных на нем рун.

Роланд повернул ручку. Когда он потянул дверь на себя, она открылась.

То, что он увидел, не совпадало ни с чем из всего того, что он ожидал увидеть.

Стрелок посмотрел, замер, испустил первый за свою взрослую жизнь вопль ужаса и захлопнул дверь. Хлопать ей было не обо что, но она, тем не менее, закрылась, хлопнув так громко, что морские птицы с пронзительными криками взлетели с камней, на которых расселись, чтобы наблюдать за ним.

Вот что он увидел: землю с какой-то немыслимой высоты, с неба — ему показалось, что с высоты во много миль. Он видел тени облаков, лежащие на земле, проплывающие по ней, как сновидения. Он увидел то, что мог бы увидеть орел, сумей он взлететь втрое выше доступного орлам расстояния.

Шагнуть за такую дверь означало бы с воплем падать, быть может, целые минуты, и, наконец, вонзиться глубоко в землю.

«Нет, ты видел не только это».

Роланд тупо сидел на песке перед закрытой дверью, держа раненую руку на коленях, и обдумывал. Выше локтя уже появились первые еле заметные полоски. Сомнения не было: скоро, скоро зараза дойдет до сердца.

В голове у стрелка звучал голос Корта:

«Слушайте меня, личинки. Слушайте, если вам дорога жизнь, потому что однажды она, возможно, будет зависеть от того, о чем я сейчас скажу. Человек никогда не замечает всего, что видит. Одна из вещей, ради которых вас посылают ко мне — показать вам, чего вы не замечаете в том, что вы видите — чего вы не замечаете, когда вы испуганы, или деретесь, или бежите, или трахаетесь. Никто не замечает всего, что видит, но прежде, чем вы станете стрелками — то есть, те из вас, кто не отправится на запад [отправиться на запад — умереть, погибнуть] — вы одним-единственным быстрым взглядом будете замечать больше, чем некоторые успевают заметить за всю свою жизнь. И часть того, что вы не увидели этим взглядом, вы увидите позже, оком своей памяти — то есть, если вы проживете достаточно долго, чтобы вспомнить. Потому что разница между тем, что вы заметили, и тем, чего не заметили, может оказаться разницей между жизнью и смертью».

За дверью Роланд видел землю с огромной высоты (и почему-то голова кружилась и все искажалось от этого сильнее, чем от видения сотворения, посетившего его перед окончанием того периода, что он провел с человеком в черном, ибо то, что он видел за дверью, не было видением), и тот жалкий остаток внимания, на который он еще был способен, отметил тот факт, что земля, которую он видел, не была ни пустыней, ни морем, а была покрыта зеленью невероятной пышности, сквозь которую местами виднелась вода, и поэтому он подумал, что это — болото, но...

«Жалкий остаток твоего внимания, — свирепо передразнил Корт. — Ты видел не только это!»

Да.

Он видел белое.

Белые края.

«Браво, Роланд!» — воскликнул Корт у него в голове, и Роланду почудилось, будто он ощутил сильный шлепок этой жесткой, мозолистой руки.

Там, за дверью, он смотрел в окно.

Стрелок с усилием встал, протянул руку вперед, почувствовал на ладони холод и жгучие линии слабого жара. Он опять открыл дверь.

Картина, которую он ожидал увидеть — земля с какой-то ужасающей, невообразимой высоты — исчезла. Теперь он смотрел на слова, которых не понимал. Он почти понимал их; Великие Буквы были словно перекручены...

Над словами находилось изображение какого-то не запряженного лошадьми экипажа, автомобиля вроде тех, что, как предполагалось, заполняли мир до того, как он сдвинулся с места. Внезапно стрелку припомнился рассказ Джейка там, на постоялом дворе, когда он его загипнотизировал.

Этот экипаж без лошадей, рядом с которым, смеясь, стояла женщина в меховой пелерине, мог быть такой штукой, какая переехала Джейка в том странном другом мире.

«Это и есть тот самый другой мир», — подумал стрелок.

Вдруг картина у него перед глазами...

Она не изменилась; она сдвинулась. Стрелка зашатало, он ощутил головокружение и легкую тошноту. Слова и изображение опустились, и теперь он увидел проход, на дальней стороне которого был двойной ряд сидений. Некоторые были пусты, но большая часть была занята мужчинами, мужчинами в странной одежде. Стрелок предположил, что это, наверное, костюмы, но до сих пор он ничего подобного не видывал. Эти штуки у них на шеях тоже, возможно, были галстуками или шейными платками, но таких он тоже никогда не видал. И, насколько он мог судить, ни один из них не был вооружен — не было видно ни кинжалов, ни мечей, не говоря уже о револьверах. Что ж это за овцы доверчивые? Некоторые читали листы бумаги, покрытые крошечными словами — там и сям между словами виднелись картинки; другие писали на листах бумаги перьями, каких стрелок тоже никогда не видел. Но перья его не волновали. Вот бумага... Он жил в мире, где бумага и золото ценились примерно одинаково. Никогда в жизни он не видел столько бумаги. Вот один из мужчин оторвал от желтого блокнота, лежавшего у него на коленях, листок и скомкал его, хотя исписал только верхнюю половину одной стороны, а вторая была вообще чистая. Как ни худо было стрелку, но при виде такого расточительства он на миг ощутил вспышку ужаса и возмущения.

Позади мужчин была изогнутая белая стена и в ней — ряд окон. Несколько окон были закрыты чем-то вроде ставней, но за другими виднелось синее небо.

В этот момент к двери направилась женщина, одетая во что-то вроде военной формы, впрочем, совершенно не похожей на то, что Роланду доводилось видеть. Форма была ярко-красная, и частью ее были штаны. Ему было видно место, где ноги женщины переходили в промежность. Он никогда не видел ничего подобного у женщин, если они не были раздеты.

Она подошла к двери так близко, что Роланд подумал, что она сейчас войдет в нее, и попятился, но, к счастью, не упал. Она взглянула на него с привычной заботливостью женщины, которая одновременно — и служанка, и сама себе (и только себе) хозяйка. Это стрелка не интересовало. А заинтересовало его то, что выражение лица у нее не изменилось. Не так полагалось бы женщине — да и вообще кому бы то ни было — смотреть на грязного, шатающегося, измученного человека с перекрещенными на бедрах револьверами, на человека, у которого правая рука замотана окровавленной тряпкой, а джинсы выглядят так, словно их затянуло в циркулярную пилу.

«Не хотите ли...» — спросила женщина в красном. Она сказала еще что-то, но стрелок не совсем понял, что это значит. Еда или питье, подумал он. Эта красная материя — она не из хлопка. Шелк? Немного похоже на шелк, но...

«Джин», — ответил ей чей-то голос, и стрелок понял это слово. Вдруг он понял гораздо больше.

Это — не дверь.

Это — глаза.

Каким бы безумием это ни казалось, он видит перед собой часть вагона, летящего по небу. Он видит ее чьими-то глазами.

Чьими?

Но он знал, чьими. Он смотрел глазами невольника.

2. ЭДДИ ДИЙН

Словно чтобы подтвердить эту мысль, при всем ее безумии, то, на что стрелок смотрел через проем двери, вдруг поднялось и скользнуло в сторону. Картина повернулась (опять это ощущение головокружения, чувство, будто ты стоишь на блюде на колесиках, на блюде, которое невидимые руки катают то туда, то сюда), а потом проход вдруг словно потек мимо двери. Стрелок миновал место, где стояли несколько женщин, все — в красной форме. В этом месте было много каких-то стальных штук, и он, несмотря на боль или изнеможение, пожалел, что не умеет остановить движущуюся картину, чтобы разглядеть, что это за стальные штуки — какие-то машины. Одна немножко походила на печь. Военная женщина, которую он видел раньше, наливала джин, заказанный тем голосом. Бутылочка, из которой она наливала, была очень маленькая, стеклянная. Сосуд, в который женщина наливала джин, с виду казался стеклянным, но, по мнению стрелка, на самом деле это было не стекло.

Прежде, чем стрелок успел разглядеть побольше, то, что было видно в дверь, продвинулось мимо. Еще один головокружительный поворот, и он увидел металлическую дверь. В маленьком прямоугольничке светилась надпись. Это слово стрелок сумел прочесть: СВОБОДНО.

Картина скользнула немного вниз. Справа от двери, через которую смотрел стрелок, показалась рука и взялась за ручку двери, на которую он смотрел. Роланд увидел манжет голубой рубашки, слегка поддернутый и открывавший крутые завитки черных волос. Длинные пальцы. На одном — кольцо с драгоценным камнем, возможно, рубином или огневиком, а может и подделкой, хламом. Стрелок склонялся к последнему — для настоящего камень был слишком крупен и вульгарен.

Металлическая дверь распахнулась, и оказалось, что стрелок заглядывает в самый странный из виденных им нужников. Он был весь металлический.

Края металлической двери проплыли мимо краев двери, стоявшей на берегу моря. Стрелок услышал, как ее закрыли и заперли на задвижку. Очередного головокружительного поворота не произошло, поэтому Роланд предположил, что человек, чьими глазами он смотрит, заперся, протянув руку назад.

Потом вид все-таки повернулся — не кругом, а наполовину, — и оказалось, что стрелок смотрит в зеркало и видит лицо, которое однажды уже видел... на карте Таро. Те же темные глаза и спадающая на лоб прядь темных волос. Лицо было спокойно, но бледно, а в глазах — в глазах, которыми он смотрел и отражение которых сейчас смотрело на него — Роланд увидел часть ужаса и отвращения, переполнявших подвластное павиану существо на карте Таро.

Этого человека трясло.

«Он тоже болен».

Потом Роланд вспомнил Норта, травоеда из Талла.

Вспомнил Прорицательницу.

Им владеет демон.

Стрелок вдруг подумал, что, быть может, он все-таки знает, что такое ГЕРОИН: что-то вроде бес-травы.

Отчасти выводит из равновесия, правда?

Бездумно, с простодушной решимостью, благодаря которой он стал последним из них всех, последним, кто все шел и шел, еще долго после того, как Катберт и остальные умерли или сдались, покончили с собой или предали, или просто отреклись от всей идеи Башни; с целеустремленной и безразличной ко всему остальному решимостью, заставившей его пройти пустыню и все годы перед пустыней, гнавшей его по следу человека в черном, стрелок шагнул в дверь.

Эдди заказал джин с тоником — может, идея ввалиться на нью-йоркскую таможню пьяным была не так уж хороша, а он знал, что, начав, он уже не остановится, — но ему было необходимо хоть что-то.

Генри однажды сказал ему: «Когда тебе обязательно нужно спуститься вниз, а лифта ты найти не можешь, приходится управляться, как можешь, любым способом. Хоть и лопатой».

Потом, когда он уже сделал заказ, и стюардесса ушла, у него появилось ощущение, что его, пожалуй, может вырвать. Не точно вырвет, а только возможно, но лучше было перестраховаться. Проходить таможенный досмотр с фунтом чистого кокаина подмышкой с каждой стороны, когда от тебя несет джином, было довольно рискованно; проходить досмотр, когда у тебя, кроме всего этого, на штанах полузасохшие следы рвоты, было бы гибелью. Так что лучше уж перестраховаться.

Беда в том, что у него начинается подходняк. Подходняк, а не полная ломка. Это — опять же мудрые речи Генри Дийна, великого мудреца и выдающегося торчка.

Они тогда сидели на балконе пентхауса Ридженси-Тауэр, еще не совсем в отключке, но уже потихоньку двигаясь к ней, солнышко грело им лица, они были под таким славным кайфом... тогда, в доброе старое время, когда Эдди только начинал нюхать, и даже самому Генри еще только предстояло ширнуться в первый раз.

«Вот все базарят про ломку, — сказал тогда Генри, — а ведь до этого еще приходится пройти через подходняк».

И Эдди, заторчавший до полного обалдения, зашелся кудахчущим хохотом, потому что совершенно точно понимал, о чем говорит Генри. А Генри даже не улыбнулся.

«В некоторых отношениях подходняк даже хуже ломки, — сказал Генри. — По крайней мере, когда дойдешь до ломки, то хоть ЗНАЕШЬ, что будешь блевать, ЗНАЕШЬ, что тебя будет трясти, ЗНАЕШЬ, что будешь потеть, пока не почудится, будто тонешь в поту. А подходняк — это вроде как проклятие ожидания».

Эдди помнил, что спросил у Генри, как называется, когда ширяла (в те далекие, ушедшие в туман, умершие дни, должно быть, целых шестнадцать месяцев назад, они оба торжественно заверяли самих себя, что никогда не станут ширялами) схватит передозняк?

«А это называется «спекся», — не задумываясь, ответил Генри, и у него сделался удивленный вид, как бывает, когда человек что-то скажет, а оно окажется гораздо смешнее, чем он думал, и они переглянулись — и начали завывать от смеха, цепляясь друг за друга. «Спекся», вот смешно-то было, а теперь уже далеко не так смешно.

Эдди прошел по проходу мимо кухни в носовой отсек самолета, проверил надпись — СВОБОДНО — и открыл дверь.

«Эй, Генри, о великий мудрец и выдающийся торчок, старший брат, уж раз мы заговорили о кулинарии, хочешь узнать МОЕ определение, что такое «спекся»? Это — когда таможенник в аэропорту Кеннеди решит, что у тебя вид малость странноватый, или просто день такой выдастся, что они своих собак с докторскими степенями по чутью вместо административного корпуса пригнали сюда, и они все начинают лаять и ссать по всему полу, и аж задыхаются в своих строгих ошейниках — так рвутся к тебе, именно к тебе, и после того, как таможенники перероют весь твой багаж, они тебя приглашают в такую маленькую комнатку и спрашивают, мол, не против ли вы снять рубашку, а ты говоришь, дескать, очень даже против, я на Багамах малость простудился, а у вас здесь кондиционер уж очень сильно работает, и я боюсь, как бы воспаление легких не сделалось, а они говорят, ах, вот оно что, а вы всегда так потеете, мистер Дийн, когда кондиционер уж очень сильно работает, ах, всегда, ну, что ж, мы, конечно, дико извиняемся, но рубашечку все же придется снять, и ты ее снимаешь, а они говорят, и футболку, пожалуй, тоже надо бы снять, а то похоже, что ты чем-то болен, у тебя, кореш, подмышками вон какие желваки вздулись, может, это какая-нибудь опухоль лимфоузлов или еще что, а тебе больше даже и говорить ничего неохота, это как если по мячу ударили определенным способом, так центровой за ним уж и не бежит, не переутомляется, а просто поворачивается и провожает его глазами, потому как если уж мяч ушел — так ушел, так что снимаешь ты футболку, а они говорят, глянь-ка, это ж надо, ну и везучий же ты мальчишечка, это ж и не опухоль вовсе, разве что, можно сказать, опухоль на теле общества, гы-гы-гы, эти штучки больше смахивают на парочку пакетов, приклеенных скотчем, а кстати, сынок, ты насчет этого запаха не беспокойся, это просто ты спекся».

Он протянул руку себе за спину и заперся на задвижку. Огни в носовом отсеке вспыхнули ярче. Моторы тихо гудели. Эдди повернулся к зеркалу — хотел посмотреть, насколько скверный у него вид — и вдруг на него нахлынуло жуткое, пронизавшее все его существо ощущение: чувство, что за ним кто-то наблюдает.

«Эй, ты, брось, понял, — тревожно подумал он. — Тебя считают самым не-параноидным малым на свете. Потому тебя и послали. Потому...»

Но внезапно ему показалось, что в зеркале отражаются не его глаза, не светло-карие, почти зеленые глаза Эдди Дийна, от взгляда которых за последние семь лет из его двадцати одного года растаяло столько сердец, которые помогли ему раздвинуть столько пар хорошеньких ножек, не его глаза, а чужие, незнакомые. Не карие, а голубые, цвета выгоревших «ливайсов». Холодные, с прицельным взглядом — неожиданное чудо калибровки. Глаза бомбардира.

Эдди увидел — ясно увидел — что в них отражается чайка, спикировавшая на разбивающуюся волну и что-то выхватившая из нее.

Он успел беспомощно подумать: Господи, да что же это за хреновина? — и понял, что это не пройдет; что его все-таки вырвет.

За полсекунды до начала рвоты, за те полсекунды, что он продолжал смотреть в зеркало, он увидел, как голубые глаза исчезли... но перед этим у него вдруг появилось ощущение, что в нем — два разных человека, что он одержим, как та девочка в «Изгоняющем дьявола».

Он отчетливо почувствовал в своем сознании какое-то новое сознание и услышал мысль — не свою, а больше похожую на голос по радио: «Я прошел. Я в небесном вагоне».

Было и что-то еще, но этого Эдди уже не слышал. Он был слишком занят: старался блевать в раковину как можно тише.

Как только рвота кончилась — не успел он еще и рот вытереть — случилось такое, чего с ним до сих пор никогда не бывало. Не стало ничего — только пустота, провал в сознании, длившийся один страшный миг. Как будто в газетной колонке аккуратно и полностью замазали одну-единственную строчку.

«Что это? — беспомощно подумал Эдди. — Что это за фигня чертова?»

Потом его опять начало рвать, и, возможно, это было к лучшему: как ни ругай рвоту, а одно хорошее свойство у нее есть — пока тебя выворачивает, ты больше ни о чем не думаешь.

«Я прошел. Я в небесном вагоне, — подумал стрелок. И через секунду: «Он видит меня в зеркале!»

Роланд попятился — не ушел, а лишь попятился, как ребенок, который отступает в самый дальний угол очень длинной комнаты. Он находился внутри небесного вагона; он находился также внутри другого человека — не себя самого. Внутри Невольника. В этот первый момент, когда он был уже почти на переднем плане (он мог описать это только так), Роланд был больше, чем внутри; он почти был этим человеком. Он чувствовал, что этот человек болен, хотя не понимал — чем, чувствовал, что его сейчас вырвет. Роланд знал, что, если ему понадобится, он сможет управлять телом этого человека. Он будет ощущать страдания этого тела, его будет одолевать обезьяноподобный демон, владеющий этим человеком, но если ему понадобится управлять им, он сможет.

Или он сможет остаться здесь, никем незамеченный.

Когда у невольника прошел приступ рвоты, стрелок прыгнул вперед — на этот раз на самый передний план. Он очень мало понимал в этой странной ситуации, а действовать в ситуации, которую не понимаешь, значит нарываться на самые ужасные последствия, но ему было необходимо узнать две вещи — и нужда эта была так отчаянно велика, что перевешивала все возможные последствия.

На месте ли еще та дверь, через которую он вошел сюда из своего мира?

И если да, то там ли еще его физическое «я», бесчувственное, необитаемое, быть может, умирающее или уже умершее без своей внутренней сущности, которая бездумно управляла его легкими, и сердцем, и нервами? Даже если его тело еще живо, быть может, оно проживет лишь до наступления ночи. А тогда вылезут кошмарные омары и начнут задавать свои вопросы и искать на берегу, чем бы пообедать.

Он резко повернул голову, которая на миг стала его головой, и быстро оглянулся назад.

Дверь все еще была на месте, позади него. Она стояла в его собственном мире, открытая, ее петли уходили в сталь этого чудного нужника. И — да — вот он лежит, Роланд, последний стрелок, лежит на боку и держит на животе перевязанную правую руку.

«Я дышу, — подумал Роланд. — Придется мне вернуться назад и передвинуть мое тело. Но сначала надо сделать другие дела. Дела...»

Он покинул сознание невольника и отступил назад, наблюдая, ожидая, стараясь понять, знает ли невольник, что он здесь, или нет.

После того, как рвота прекратилась, Эдди продолжал стоять, согнувшись над раковиной и зажмурившись.

Вырубился на секунду. Что это было — не знаю. Оборачивался я или нет?

Он ощупью нашел кран и пустил прохладную воду. Не открывая глаз, он плескал ее на лоб, на щеки.

Когда больше тянуть стало невозможно, он снова поднял взгляд на зеркало.

Оттуда на него взглянули его собственные глаза.

И чужих голосов у него в голове не было.

И никакого чувства, что за ним наблюдают.

«У тебя был мгновенный глюк, Эдди, — объяснил ему великий мудрец и выдающийся торчок. — Довольно обычное явление при подходняке».

Эдди посмотрел на часы. До Нью-Йорка оставалось полтора часа. По расписанию посадка в 4:05 дня по Восточному времени, но на самом деле будет точно полдень. Тут-то все и решится.

Он вернулся на свое место. Его джин стоял на подлокотнике. Едва он сделал два глотка, как снова подошла стюардесса и спросила, не нужно ли ему еще чего-нибудь. Он открыл рот, чтобы сказать «нет»... и тут опять наступила эта странная отключка.

— Будьте добры, я бы хотел что-нибудь поесть, — сказал стрелок ртом Эдди Дийна.

— Скоро мы подадим горячие закуски.

— Но я прямо умираю от голода, — сказал стрелок, и это была чистая правда. — Что угодно, хотя бы бопкин...

— Бопкин? — военная женщина смотрела на него, сдвинув брови, и стрелок вдруг заглянул в сознание невольника. Сэндвич... это слово было далеким-далеким, как «шум моря» в раковине.

— Хотя бы сэндвич, — сказал стрелок.

Военная женщина с сомнением сказала:

— Ну что же... у меня есть с рыбой, с тунцом...

— Вот и отлично, — ответил стрелок, хотя ни про какую рыбу-дудца в жизни не слыхивал. Да ведь нищим выбирать не приходится.

— Вид у вас действительно бледноватый, — сказала военная женщина. — Я думала, что вас укачало.

— Это от голода.

Она одарила его профессиональной улыбкой.

— Сейчас я вам что-нибудь подкину.

«Подкину?» — растерянно подумал стрелок. В его мире подкинуть было жаргонное слово, означавшее «взять женщину силой». Неважно. Ему принесут еду. Он понятия не имел, сможет ли пронести ее через дверь обратно, к телу, которое в ней так нуждалось, но не все сразу, не все сразу.

«Подкину», — подумал он, и голова Эдди Дийна несколько раз качнулась из стороны в сторону, словно он не мог поверить, что услышал такое.

Потом стрелок опять отступил назад.

«Нервы, — уверял его великий оракул и выдающийся торчок. — Просто нервы. Это все — часть подходняка, братишка».

Но если дело в нервах, то почему его охватывает эта странная сонливость — странная, потому, что он должен был бы ощущать зуд, не мог бы ни на чем сосредоточиться, ему бы дико хотелось извиваться и чесаться, как всегда бывает перед настоящей ломкой; даже если бы у него раньше не бывало «подходняка», о котором говорил Генри, оставался тот факт, что он собирается пронести через Таможню США два фунта марафета, то есть совершить преступление, которое карается не менее, чем десятью годами заключения в федеральной тюрьме, а теперь у него, кажется, еще и провалы сознания начались.

И все же — эта сонливость.

Он снова отхлебнул джина с тоником, потом дал своим глазам медленно закрыться.

Почему ты отключился?

Я не отключался, а то она бы тут же помчалась за чемоданчиком первой помощи.

Ну, тогда вырубился. Все равно нехорошо. Ты раньше никогда в жизни так не вырубался. ОТРУБАЛСЯ — да, но не ВЫРУБАЛСЯ.

И с правой рукой у него что-то странное. Какая-то неопределенная пульсирующая боль в кисти, как будто по ней недавно били молотком.

Не открывая глаз, Эдди согнул и разогнул ее. Не болит. Не дергает. Голубых бомбардирских глаз тоже нет. А отключки — это просто сочетание подходняка с основательным приступом того, что великий оракул и выдающийся и т. д. и т. п., несомненно, назвал бы «мандраж контрабандиста».

«Но я все равно сейчас засну, — подумал он, — И что будет?»

Мимо него, как оторвавшийся воздушный шар, проплыло лицо Генри. «Не беспокойся, — говорил Генри. — Ты будешь в порядочке, братик. Ты прилетишь в Нассау, поселишься в отеле «Акинас», в пятницу, поздно вечером, зайдет мужик. Из стоящих парней. Он тебя отоварит так, чтобы тебе хватило на весь уик-энд. В воскресенье, опять же поздно вечером, он принесет марафет, а ты ему дашь ключ от абонированного сейфа. В понедельник утром ты все сделаешь, как обычно, как велел Балазар. Этот малый не подведет; он знает, как надо. В понедельник же, в полдень, ты улетишь, и при таком честном лице, как у тебя, ты пройдешь досмотр только так, с ветерком, и еще солнце не сядет, а мы уже будем рубать бифштексы в «Искорках». Все пройдет с ветерком, братик, с прохладным, приятным ветерком».

Но ветерок оказался довольно-таки жарким.

Беда Эдди и Генри заключалась в том, что они были, как Чарли Браун и Люси. Они отличались от них только тем, что Генри иногда придерживал футбольный мяч, чтобы Эдди мог по нему ударить — не часто, но иногда. Эдди даже как-то раз, во время очередного героинового кайфа, подумал, что надо бы написать Чарльзу Шульцу письмо. «Дорогой м-р Шульц, — написал бы он, — напрасно у вас Люси ВСЕГДА в последний момент поднимает мяч вверх. Ей бы надо время от времени придерживать его на земле. Не так, чтобы Чарли Браун мог заранее догадаться, когда она это сделает, понимаете? Иногда она могла бы оставлять мяч на земле, чтобы он мог по нему ударить, три, даже четыре раза подряд, а потом целый месяц — ни разу, потом один раз, потом три-четыре дня ни разу, ну, вы, наверно, поняли мою идею. Вот от этого пацан бы ПО-НАСТОЯЩЕМУ охерел бы, правда?»

Эдди точно знал, что пацан от этого охерел бы по-настоящему.

Он знал это по опыту.

«Из стоящих парней», сказал Генри, но тип, который заявился, оказался смугловатым гаденышем с британским выговором, усиками в ниточку, точно в фильме «черной серии» сороковых годов, и желтыми зубами, которые все загибались внутрь, как зубья очень старого капкана.

— Ключ у вас, сеньор? — спросил он, только из-за его произношения, какое вырабатывают в британских аристократических школах-интернатах, это слово прозвучало, как «синий ор».

— С ключом порядок, если вы об этом, — сказал Эдди.

— Тогда дайте его мне.

— Так не пойдет. Предполагается, что у вас кое-что есть, столько, чтобы мне хватило на уикэнд. Предполагается, что в воскресенье вечером вы мне принесете еще кое-что, и тогда я отдам вам ключ. В понедельник вы отправитесь в город и при помощи этого ключа получите что-то другое. Что именно, я не знаю, потому как это не мое дело.

Вдруг в руке гаденыша оказался маленький плоский вороненый автоматический пистолет.

— Почему бы вам не отдать его прямо сейчас, сеньор? Я сэкономлю время и силы, а вы спасете себе жизнь.

Глубоко внутри у Эдди Дийна — хоть он и был торчком — скрывался стальной стержень... Генри знал это; что более важно, знал это и Балазар. Поэтому Эдди и послали. Большинство из них считало, что он поехал, потому что прочно сидит на крючке. Он знал это, и Генри знал, и Балазар тоже. Но только он и Генри знали, что он бы все равно поехал, даже если бы на дух не переносил наркоту. Ради Генри. Балазар в своих расчетах до этого не допер, но к ебаной матери Балазара.

— Почему бы тебе прямо сейчас не убрать эту штуку, гаденыш? — спросил Эдди. — Или, может, ты хочешь, чтобы Балазар прислал сюда кого-нибудь выковырять у тебя глаза ржавым ножом?

Гаденыш улыбнулся. Пистолет исчез, как по волшебству; на его месте оказался маленький конвертик. Гаденыш вручил его Эдди.

— Я, знаете ли, просто пошутил.

— Ну, допустим.

— Увидимся в воскресенье вечером.

Он направился к двери.

— Я думаю, тебе лучше подождать.

Гаденыш обернулся и поднял брови:

— Вы думаете, я не уйду, если захочу?

— Я думаю, если ты уйдешь, а товар окажется говном, меня завтра здесь не будет. И тогда ты окажешься в глубокой жопе.

Гаденыш помрачнел. Он сел в единственное в номере кресло и стал ждать, а Эдди вскрыл конвертик и высыпал из него немного коричневого порошка. Вид у порошка был зловещий. Эдди взглянул на гаденыша.

— Я знаю, как он выглядит, он с виду похож на говно, но это только с виду, — сказал гаденыш. — А качество отличное.

Эдди оторвал листок от лежавшего на письменном столе блокнота и отделил от кучки коричневого порошка щепотку. Он потер ее в пальцах, потом втер в небо. Через секунду он сплюнул в мусорную корзинку.

— Ты что, подохнуть хочешь? Жизнь надоела?

— Это все, что есть. — У гаденыша сделался еще более мрачный вид.

— У меня на завтра заказан билет, — сказал Эдди. Это было вранье, но он не думал, что у гаденыша хватит ума проверить. — На Трансмировые Авиалинии. Я это сделал по собственной инициативе, на случай, если связной вдруг окажется такой разъебай, как ты. Я ничего не имею против. Мне так даже легче, я не создан для такой работы.

Гаденыш сидел и размышлял. Эдди сидел, собрав все силы, чтобы не двигаться. Ему хотелось двигаться; хотелось извиваться, дергать плечами и вилять бедрами, танцевать би-боп и плясать джайв, трещать суставами и чесать, где чешется. Он даже чувствовал, что его глазам все время хочется скользнуть к кучке коричневого порошка, хотя знал, что это — отрава. Он вмазался нынче утром, в десять; с тех пор прошло десять часов. Но если он сделает хоть что-нибудь из того, чего ему хочется, ситуация изменится: ведь смугловатый гаденыш не просто размышляет, он наблюдает за Эдди, пытается вычислить, насколько он силен.

— Может, я сумею найти что-нибудь, — сказал он наконец.

— Да уж постарайся, — сказал Эдди. — Но ровно в одиннадцать я выключу свет и вывешу на двери табличку «ПРОШУ НЕ БЕСПОКОИТЬ», и если после этого кто-нибудь постучится, я тут же позвоню дежурному и скажу: ко мне кто-то ломится, пришлите охранника.

— Сука ты ебаная, — с безукоризненным британским выговором сказал гаденыш.

— Нет, — сказал Эдди, — просто ты надеялся меня ебнуть. А я приехал, скрестив ноги. Так что придется тебе заявиться до одиннадцати с чем-нибудь, что мне подойдет — или будешь ты не простой гаденыш, а дохлый.

Гаденыш вернулся задолго до одиннадцати: он вернулся к девяти тридцати. Эдди догадался, что другой товар все это время лежал у него в машине.

На этот раз порошка было чуть побольше. Он был, правда, не белый, но все же цвета потускневшей слоновой кости, что обнадеживало, хотя и слабо.

Эдди попробовал на вкус. Как будто ничего. По правде говоря, даже больше, чем ничего. Вполне прилично. Он свернул бумажную трубочку и втянул порошок ноздрями.

— Ну, значит, до воскресенья, — бодро сказал гаденыш, поспешно вставая.

— Обожди, — сказал Эдди, словно это у него в кармане лежал пистолет. В некотором роде так оно и было. Его пистолет назывался Балазар. В удивительном нью-йоркском мире наркотиков Эмилио Балазар был важной шишкой, орудием крупного калибра.

— Обождать? — Гаденыш обернулся и уставился на Эдди так, будто думал, что тот сошел с ума. — Чего ждать-то?

— Да я, собственно, о тебе беспокоюсь, — ответил Эдди. — Если мне от того, что я сейчас задвинул, станет по-настоящему плохо, то бизнес наш отменяется. Если я загнусь, то он, конечно, отменяется. Но если мне только малость похужеет, то я тебе, может, и дам еще один шанс. Знаешь, как в сказке про того огольца, что потер лампу и вышли ему три желания.

— От этого тебе не похужеет. Это — «китайский белый».

— Если это «китайский белый», — сказал Эдди, — то я — Дуайт Гуден.

— Кто?

— Неважно.

Гаденыш сел. Эдди сидел у письменного стола, на котором рядом с ним лежала кучка белого порошка (коричневое говно он уже давно спустил в сортир). В телевизоре, благодаря любезности компании NTBS и здоровенной тарелке антенны спутниковой связи на крыше отеля «Акинас», «Металлисты» давали жару «Молодцам». Эдди испытывал слабое ощущение покоя, исходившее, казалось, из глубины его сознания... вот только на самом-то деле, как он узнал из медицинских журналов, оно исходило из пучка нервов у основания позвоночника — места, где локализуется героиномания, вызывающая патологическое утолщение нервного отдела.

«Хочешь по-быстрому вылечиться? — спросил он однажды Генри. — Сломай себе позвоночник. Ноги у тебя работать перестанут, палка — тоже, но зато с иглы тут же слезешь».

Генри это не показалось смешным.

По правде говоря, Эдди это тоже не казалось таким уж смешным. Если единственный способ избавиться от сидящей на тебе верхом обезьяны состоит в том, чтобы перервать себе спинной мозг над этим самым пучком нервов, стало быть, ты имеешь дело с очень тяжелой обезьяной. Не с какой-нибудь там макакой, не с симпатичной мартышкой шарманщика, а со здоровенным, злобным старым павианом.

Эдди начал шмыгать носом.

— Порядок, — сказал он наконец. — Сойдет. Можешь мотать отсюда, срань.

Гаденыш встал.

— У меня есть друзья, — сказал он. — Они могут придти сюда и начать делать с тобой всякое разное. Ты еще их умолять будешь, чтобы тебе позволили сказать мне, где ключ.

— Не-а, кореш, я-то не буду, — сказал Эдди. — Кто-то, но не я. — И улыбнулся. Он не знал, как выглядела эта улыбка, но, должно быть, не ах как жизнерадостно, потому что гаденыш смотался, смотался в темпе, смотался без оглядки.

Когда Эдди Дийн убедился, что гаденыш смотался, он приготовил себе дозняк.

Вмазался.

Уснул.

Так же, как спал сейчас.

Стрелок, каким-то образом пребывавший внутри сознания этого человека (человека, чьего имени он так и не узнал; холоп, которого невольник мысленно называл гаденышем, его не знал и потому ни разу не произнес), смотрел его сон, как когда-то, ребенком, до того, как мир сдвинулся с места, смотрел спектакли... или так он думал, потому что ему никогда в жизни не довелось видеть ничего, кроме спектаклей. Если бы он когда-нибудь видел кинофильм, он бы прежде всего подумал об этом. То, чего он не видел, он сумел выхватить из сознания невольника, потому что ассоциации были близкими. Но вот с именем было странно. Он узнал имя брата невольника, но не самого невольника. Но, конечно, имена — вещи тайные, полные могущества.

И имя этого человека не входило в число двух вещей, имевших значение. Одна из них была его слабость, его пристрастие к наркотикам. Другая — стальной стержень, скрытый в глубине этой слабости, как хороший револьвер, погружающийся в зыбучие пески.

Этот человек до боли напоминал ему Катберта.

Кто-то приближался. Невольник спал и не слышал. Стрелок не спал и поэтому услышал и опять выдвинулся вперед.

«Замечательно, — подумала Джейн. — Наговорил мне, до чего он голоден, я ему приготовила поесть, потому что он довольно симпатичный, а он взял и заснул».

В этот момент пассажир — парень лет двадцати, высокий, в чистых, слегка выгоревших синих джинсах и в рубашке в узорчатую полоску — слегка приоткрыл глаза и улыбнулся ей.

«Благодарствую, саи», — сказал он; во всяком случае, его слова прозвучали именно так. Почти, как на древнеанглийском... или на иностранном языке. «Бормочет во сне, вот и все», — подумала Джейн.

— Пожалуйста. — Она улыбнулась своей лучшей улыбкой стюардессы, уверенная, что он опять заснет, и сэндвич так и будет лежать несъеденным до тех пор, пока по расписанию не придет время подавать еду.

Ну, да ведь им же на курсах говорили, что так бывает всегда, правда?

Она вернулась на кухню, чтобы быстренько покурить. Чиркнула спичкой и, не донеся ее до сигареты, забыла о ней и замерла, потому что на курсах им не говорили, что бывает и так.

«Я подумала, что он довольно симпатичный. В основном из-за его глаз. Из-за его зеленовато-карих глаз».

Но когда человек в кресле №3-А несколько секунд назад открыл глаза, они были не зеленовато-карие; они были голубые. И не сладко-узывно-голубые, как у Пола Ньюмена, а цвета айсберга. Они...

Ой!

Спичка догорела до самых ее пальцев. Джейн погасила ее.

— Джейн? — спросила Пола. — Ты в норме?

— В полной. Замечталась.

Она зажгла вторую спичку и на этот раз сделала все, как надо. Она успела затянуться только один раз — и тут ей пришло в голову совершенно разумное объяснение. Он носит контактные линзы. Ну, конечно. Такие, которые изменяют цвет глаз. Он ходил в туалет. Он пробыл там так долго, что она забеспокоилась, не укачало ли его — он был какой-то мутно-бледный, так выглядят люди, когда им нехорошо. А он просто снимал контактные линзы, чтобы они не мешали ему спать. Вполне разумно.

«Может быть, вы что-то почувствуете, — послышался ей вдруг голос из ее собственного, не столь далекого прошлого. — Словно что-то чуть-чуть кольнет. Может быть, вам покажется, что что-то самую чуточку не так».

Цветные контактные линзы.

Джейн Доринг лично знала не менее двадцати пяти человек, носивших контактные линзы. Большинство из них работало на этой же авиалинии. Никто никогда ничего такого не говорил, но, как она полагала, одной из причин могло быть чувство (которое испытывали они все), что пассажирам неприятно видеть кого-то из экипажа самолета в очках — это их слегка пугало.

Из всех этих людей она знала, пожалуй, четырех, носивших цветные линзы. Обычные контактные линзы стоят дорого; цветные — баснословно дорого. Все знакомые Джейн, кто не пожалел потратить такие деньги, были женщины; и все они уделяли своей внешности необычайно много внимания.

«Ну и что? Мужики тоже могут заботиться о своей внешности. А почему бы и нет? Он интересный».

Нет. Нисколько. Симпатичный — пожалуй, но не более того, да и до симпатичного-то он с этой своей бледностью еле дотягивает. Так почему цветные линзы?

Пассажиры самолетов часто боятся летать.

В мире, где угоны самолетов и контрабанда наркотиков стали обыденным явлением, персонал авиалиний часто боится пассажиров.

Голос, вызвавший к жизни, эти мысли, принадлежал инструкторше авиашколы, крутой старухе, выглядевшей так, словно она летала еще на почтовых рейсах Уайли. Голос говорил: «Не отмахивайтесь от своих подозрений. Даже если вы забудете все остальное, чему вас здесь научили, о том, как управляться с потенциальными или действительными террористами, помните вот что: не отмахивайтесь от своих подозрений. Иногда вам может достаться экипаж, который на отчете будет говорить, что у них ничего такого и в мыслях не было, пока этот малый не выхватил гранату и не сказал, мол, бери левей, на Кубу, а то щас все, сколько вас здесь есть, через сопло повылетаете. Но в большинстве случаев в нем окажутся два-три человека — большей частью из обслуги (а меньше, чем через месяц, это станет и вашей профессией) — которые скажут, что они что-то почувствовали. Вроде как что-то чуть-чуть кольнуло. Ощущение, что с парнем в кресле 91-С или с молодой женщиной в 5-А что-то немножко не так. Они что-то почувствовали, но ничего не сделали. Что же, их за это уволили? Да Боже упаси, нет! Нельзя надеть на человека наручники только за то, что вам не нравится, как он расчесывает свои прыщи. Суть проблемы в том, что они что-то почувствовали... а потом забыли».

Крутая старуха подняла толстый палец. Джейн Дорнинг вместе со всей группой слушала, как зачарованная. Инструкторша продолжала: «Если вы ощутите этот слабенький укол, не делайте ничего... в том числе и не забывайте о нем. Потому что всегда есть шанс — пусть один, пусть ничтожный — что вы сумеете остановить что-то еще до того, как оно начнется... что-то вроде незапланированной посадки на двенадцать дней на аэродром какой-нибудь задрипанной арабской страны».

Просто цветные линзы, но...

Благодарствую, саи.

Бормотал во сне? Или спросонья заговорил на каком-то другом языке?

Джейн решила, что будет следить.

И не забудет.

«Сейчас, — подумал стрелок. — Сейчас увидим, да?»

Он сумел через дверь на пляже перейти из своего мира в этот, перейти в это тело. Теперь ему было нужно выяснить, сможет ли он пронести что-нибудь отсюда туда. Не себя, нет; он был совершенно уверен, что сможет в любую минуту, как только захочет, пройти через дверь назад и вновь войти в свое собственное, отравленное, больное тело. Ну, а другие вещи? Материальные предметы? Здесь, например, перед ним стоит еда: то, что женщина в форме назвала сэндвичем с рыбой-дудцом. Стрелок не имел ни малейшего понятия, что такое рыба-дудец, но когда он видел бопкин, он его прекрасно узнавал, хотя этот выглядел странно сырым, необжаренным.

Его телу нужно было поесть, а потом его телу будет нужно напиться, но больше, чем в еде, больше, чем в питье, его тело нуждается в каком-нибудь лекарстве. Без лекарства оно умрет от укуса омароподобного чудовища. Быть может, в этом мире есть такое лекарство; в мире, где вагоны летают по воздуху, гораздо выше, чем мог бы взлететь самый сильный орел, казалось возможным все, что угодно. Но если он не сможет пронести через дверь ничего материального, не все ли равно, сколько здесь есть самых сильных лекарств?

«Ты мог бы жить в этом теле, стрелок, — шептал в глубине его мозга голос человека в черном. — Оставь этот кусок дышащего мяса на съедение омароподобным тварям. Все равно это всего лишь оболочка».

Нет, он этого не сделает. Во-первых, это было бы самым убийственным, наиподлейшим воровством, потому что он ведь не сможет долго довольствоваться только ролью пассажира, выглядывать из глаз этого человека, как путешественник смотрит из окна дилижанса на проносящийся мимо пейзаж.

Во-вторых, он — Роланд. Если от него требуется, чтобы он умер, он намерен умереть Роландом. Если нужно, он умрет, ползком добираясь до Башни.

Потом в нем взяла верх та странная, жесткая практичность, что жила в его нутре бок о бок с романтизмом, подобно тигру рядом с ланью. Пока эксперимент не проведен, нечего думать о смерти.

Он взял бопкин. Бопкин был разрезан пополам. Роланд взял по половинке в каждую руку. Он открыл глаза невольника и выглянул из них. Никто на него не смотрел (хотя в кухне Джейн Дорнинг неотступно думала о нем).

Роланд повернулся к двери и прошел в свой мир, держа в руках половинки бопкина.

Сперва он услышал скрежещущий рев набегающей волны; затем — галдеж множества морских птиц, взлетевших с ближайших камней, когда он с трудом приподнялся и сел («сволочи трусливые, уже подбирались поближе, — подумал он, — они бы скоро стали из меня куски выклевывать, все равно, дышал бы я еще или уже нет, они ж просто-напросто стервятники, только красиво раскрашенные»); потом он заметил, что одна половинка бопкина — та, что он держал в правой руке, — упала на жесткий серый песок, потому что, проходя через дверь, он держал ее в здоровой руке, а теперь держит — или держал — в руке, претерпевшей сокращение на сорок процентов.

Он неуклюже подобрал ее, ухватив большим и безымянным пальцами, смахнул, как сумел, песок и осторожно откусил кусочек. В следующий миг он уже жадно пожирал ее, не обращая внимания на скрипевшие на зубах песчинки. Через несколько секунд он принялся за вторую половинку и управился с ней в три укуса.

Стрелок не имел ни малейшего понятия, что такое рыба-дудец. Он понял только, что она невероятно вкусна. Этого ему было довольно.

В самолете никто не заметил, как исчез сэндвич с тунцом. Никто не заметил, как Эдди Дийн вцепился в него так крепко, что на белом хлебе остались глубокие ямки от пальцев.

Никто не заметил, как сэндвич становился все более прозрачным, а потом исчез, и от него осталось лишь несколько крошек.

Секунд через тридцать после того, как это случилось, Джейн Дорнинг погасила сигарету и пошла в салон. Она достала из своей сумки блокнот, но на самом деле ей хотелось еще раз взглянуть на 3-А.

Он, казалось, спал глубоким сном... но сэндвич исчез.

«Мама дорогая, — подумала Джейн. — Он же его не съел; он его целиком проглотил. А теперь опять заснул? Так не бывает...»

То, что покалывало ее касательно пассажира 3-А, мистера То-Карий-Глаз-То-Голубой, что бы это ни было, продолжало покалывать. Что-то с ним было не так. Что-то.

3. КОНТАКТ И ПОСАДКА

Эдди разбудил второй пилот, объявлявший, что минут так через сорок пять они совершат посадку в международном аэропорту Кеннеди, где видимость неограниченная, ветер — западной четверти, десять миль в час, а температура просто прекрасная — семьдесят градусов [по Фаренгейту, соответствует 21 градусу по Цельсию]. Он сказал пассажирам, что, если у него потом не будет такой возможности, он хотел бы сейчас поблагодарить их — всех вместе и каждого в отдельности — за то, что они выбрали «Дельту».

Эдди осмотрелся и увидел, что пассажиры проверяют свои таможенные декларации и документы, подтверждающие гражданство — считалось, что, когда летишь из Нассау, достаточно иметь при себе водительские права и кредитную карточку, на которой фигурирует один из банков США, но большинство пассажиров до сих пор брали с собой паспорта — и ощутил, что внутри у него начинает туго закручиваться стальная проволочка. Он все еще никак не мог поверить, что заснул, да так крепко.

Он встал и пошел в туалет. Судя по ощущению, пакеты с марафетом у него подмышками лежали удобно и держались крепко, повторяя контуры его боков, так же хорошо, как и в номере отеля, где их укрепил на Эдди американец с тихим и вежливым голосом, по имени Уильям Уилсон. По окончании процедуры прикрепления человек, чье имя прославил Эдгар По (когда Эдди что-то сказал на эту тему, Уилсон только непонимающе взглянул на него), подал ему рубашку. Самую обыкновенную рубашку в узорчатую полоску, чуть выгоревшую, какую может надеть в самолет любой студентик, возвращающийся с коротких предэкзаменационных каникул... только эта была специально скроена и сшита так, чтобы скрывать некрасивые выпуклости.

— Перед посадкой на всякий случай проверь все еще раз, — сказал Уилсон. — Но все у тебя будет в ажуре.

Эдди не знал, будет ли у него все в ажуре, или нет, но у него была и другая причина воспользоваться туалетом, прежде чем вспыхнет надпись ПРИСТЕГНИТЕ РЕМНИ. Несмотря на искушение — а большую часть прошлой ночи это было даже не искушение, а отчаянная, бешеная потребность — он сумел сохранить последнюю щепотку того, что у смугловатого гаденыша хватило нахальства назвать «китайским белым».

Таможенный досмотр рейсов из Нассау был не тот, что на рейсах с Гаити, или из Кинкона, или из Боготы, но все же следить было кому. И люди эти были специально обучены. Поэтому Эдди было необходимо использовать любое преимущество, которое было в его возможностях. Если он сумеет выйти из самолета, хоть немного успокоившись, хотя бы капельку, может, это-то как раз и поможет ему взять этот барьер.

Он втянул ноздрями порошок, спустил в унитаз клочок бумаги, в который он был завернут, потом вымыл руки.

«Конечно, если все пройдет хорошо, ты никогда и не узнаешь, так ведь?» — подумал он. Да. Не узнает. Да ему и ни к чему будет.

Возвращаясь на свое место, он увидел ту стюардессу, что раньше принесла ему джин с тоником, который он так и не допил. Она улыбнулась ему. Он ответил ей улыбкой, сел, пристегнул ремень, взял иллюстрированный журнал и стал переворачивать страницы, глядя на картинки и слова. Ни то, ни другое не производило на него никакого впечатления. Стальная проволочка все туже закручивалась вокруг его внутренностей, и когда надпись ПРИСТЕГНИТЕ РЕМНИ наконец вспыхнула, она сделала еще два оборота и затянулась намертво.

Героин подействовал — это доказывали сопли, которые у него потекли — но он никак не мог почувствовать этого.

Единственное, что он почувствовал незадолго до посадки, был очередной странный провал сознания... недолгий, но несомненный.

Боинг-727 заложил вираж над проливом Лонг-Айленд и пошел на посадку.

Когда парень, похожий на студента колледжа, прошел в туалет первого класса, Джейн Дорнинг в кухне второго класса помогала Питеру и Энн убирать последние стаканы от напитков, которые подавали после закуски.

Парень шел обратно как раз в тот момент, когда она, проходя, придержала портьеру, отделявшую второй класс от первого, и она бессознательно ускорила шаг, зацепив его своей улыбкой, заставив его поднять глаза и улыбнуться в ответ.

Глаза у него опять были зеленовато-карие.

Ну ладно, пускай. Перед сном он пошел в сортир и снял их; потом опять пошел в сортир и надел их. Да ради Бога, Джейни! Ты просто нагоняешь на себя панику, как дурочка!

Вовсе нет. Она не нагоняла на себя панику, как дурочка, хотя и не могла сформулировать ничего конкретного.

Он слишком бледный.

Ну и что? Тысячи людей слишком бледны, включая твою собственную маму — с тех пор, как у нее забарахлил желчный пузырь.

У него необыкновенно притягательные голубые глаза — может, не такие симпатичные, как эти зеленовато-карие линзы, но безусловно очень интересные. Так зачем ему вся эта канитель и такие расходы?

Потому что ему нравятся глаза от дизайнера. Разве этого не достаточно?

Нет.

Незадолго до сигнала ПРИСТЕГНИТЕ РЕМНИ и последней проверки она сделала одну вещь, которой раньше никогда не делала, потому что вспомнила крутую старуху-инструкторшу. Она наполнила красный термос горячим кофе и надела на горлышко пластмассовую крышку, не закрыв его пробкой, и завинтила крышку только на первую нитку резьбы.

Сьюзи Дуглас делала последнее объявление перед посадкой, велела этим дурачкам погасить сигареты и убрать все свои вещи, которые они вынули во время полета, объясняла, что рейс встретят представители компании «Дельта», напоминала, чтобы они проверили свои таможенные декларации и документы, удостоверяющие гражданство, говорила, что сейчас придется забрать все чашки, блюдца и наушники.

«Удивляюсь я, что нас не заставляют проверять, сухие ли у них штаны», — рассеянно подумала Джейн. Она чувствовала, как вокруг ее внутренностей, туго их захлестнув, все крепче обвивается ее собственная стальная проволочка.

— Займись моей стороной, — сказала Джейн, когда Сьюзи повесила микрофон.

Сьюзи взглянула на термос, потом в лицо Джейн.

— Джейн? Тебе плохо? Ты вся белая, как...

— Мне не плохо. Займись моей стороной. Объясню, когда вернешься. — Джейн бросила короткий взгляд на откидные сиденья рядом с левым выходом. — Я не хочу выпускать из рук оружия.

— Джейн...

— Обслужи мою сторону.

— Ладно, — сказала Сьюзи. — Ладно, Джейн. Не проблема.

Джейн Дорнинг села на ближайшее к проходу откидное сиденье. Она держала термос в руках и не притрагивалась к ремням безопасности. Она хотела держать термос наготове, а для этого были нужны обе руки.

«Сьюзи думает, я чокнулась».

Джейн надеялась, что и вправду чокнулась.

«Если капитан Макдоналд совершит жесткую посадку, у меня все руки будут в пузырях».

Она пойдет на этот риск.

Самолет снижался. Человек в кресле 3-A, человек с двухцветными глазами и белым лицом, вдруг нагнулся и вытащил из-под сиденья свою дорожную сумку.

«Вот оно, — подумала Джейн. — Вот тут-то он и достанет гранату или автомат, или какая там у него еще пакость».

И как только она это увидит, в ту же самую секундочку она сорвет с термоса, который держит чуть дрожащими руками, красную пластмассовую крышку, и в проходе борта 901 авиакомпании «Дельта» начнет кататься по полу один очень даже изумленный Друг Аллаха, а с ошпаренного лица у него будет облезать кожа.

3-А расстегнул на сумке молнию.

Джейн приготовилась.

Стрелок подумал, что этот человек — невольник он или не невольник — по части изящного искусства выживания, пожалуй, обскакал всех остальных мужчин, которых он видел в этом воздушном вагоне. Остальные были большей частью жирными, но даже и те, кто, казалось, был более или менее в форме, тоже выглядели открытыми, ненастороженными, у них были лица избалованных и заласканных детей, лица людей, которые в конце концов будут драться, но перед этим почти до бесконечности будут ныть; им можно выпустить кишки так, что они на башмаки вывалятся — и на лицах у них перед смертью отразится не ярость, не мука, а тупое удивление.

Невольник — лучше... но все же недостаточно хорош. Совсем недостаточно.

«Военная женщина. Она что-то заметила, что — не знаю, но заметила, что что-то неладно. Она обратила на него внимание, не так, как на других».

Невольник сел. Посмотрел на книгу в мягкой обложке, которую мысленно называл «Шур-гнал», хотя, что это за Шур и куда он кого гнал, Роланду было предельно безразлично. Стрелок не хотел смотреть на книгу, хотя вещь это была, конечно, удивительная; он хотел смотреть на женщину в военной форме. Желание выдвинуться на передний план и начать управлять невольником было очень сильно. Но он сопротивлялся ему... по крайней мере, пока.

Невольник куда-то ездил и получил там снадобье. Не то снадобье, какое нужно ему самому, и не то, которое могло бы помочь исцелить больное тело стрелка, но то, за которое люди платят уйму денег, потому что оно запрещено законом. Он собирается отдать это снадобье своему брату, а тот, в свою очередь, отдаст его человеку по имени Балазар. Сделка будет завершена, когда Балазар в обмен на это снадобье даст им то, которым пользуются они — то есть, если невольник сумеет правильно выполнить неизвестный стрелку обряд (в столь странном мире, как этот, неминуемо должно быть много странных обрядов); он называется Пройти Таможенный Досмотр.

«Но эта женщина его видит».

Может она помешать ему Пройти Таможенный Досмотр? По мнению Роланда, вероятно, сможет. И что тогда? Темница. А если невольника заточат в темницу, стрелку негде будет достать то лекарство, в котором так нуждается его зараженное, умирающее тело.

«Он должен Пройти Таможенный Досмотр, — подумал Роланд. — ДОЛЖЕН. И должен отправиться со своим братом к этому Балазару. Это не входит в план, брату это не понравится, но он должен это сделать».

Потому что тот, кто торгует снадобьями, должен либо знать человека, который исцеляет больных, либо сам быть таким человеком. Человеком, который выслушает рассказ о том, что болит, и тогда... быть может...

Стрелок подумал, что Пройти Таможенный Досмотр должен он сам.

Ответ был так огромен и прост, лежал так близко к нему, что он едва не проглядел его. Конечно же, невольнику будет так трудно Пройти Таможенный Досмотр именно из-за снадобья, которое он хочет пронести с собой; быть может, у них есть какой-нибудь Оракул, с которым советуются, когда кто-то вызывает подозрения. Иначе, насколько сумел понять Роланд, церемония Прохождения была бы проще простого, все равно, что в его мире — пересечь границу дружественного королевства. Присягнешь на верность монарху этого королевства — жест чисто символический — и тебя пропускают.

Ведь он может переносить предметы из мира невольника в свой мир. Это доказал бопкин с рыбой-дудцом. Он заберет пакеты со снадобьем, как забрал бопкин. Невольник Пройдет Таможенный Досмотр. И тогда Роланд принесет пакеты со снадобьем назад.

А сможешь?

Ох, вот это — вопрос достаточно тревожный, чтобы отвлечь его от вида воды внизу... они пролетели, похоже, над бескрайним океаном и теперь как раз поворачивали назад, к берегу. Вода при этом становилась все ближе. Воздушный вагон снижался (Эдди взглянул коротко, безразлично; стрелок смотрел зачарованно, как ребенок, впервые увидевший снегопад). Он может выносить предметы из этого мира, это он знает. А переносить их обратно? Вот об этом ему пока ничего не известно. Придется выяснить.

Стрелок сунул руку в карман невольника и сомкнул его пальцы на монете.

И прошел через дверь обратно в свой мир.

Когда он приподнялся и сел, птицы улетели. На этот раз они не посмели подобраться так близко. У него все болело, его лихорадило, он плохо соображал... но поразительно, сколько сил ему придала эта малая толика еды.

Он взглянул на монету, которую взял с собой на этот раз. Она казалась серебряной, но по красноватому оттенку на ребре можно было подумать, что в действительности она сделана из какого-то менее благородного металла. На одной стороне был профиль мужчины, в чьем лице угадывалось благородство, мужество, упрямство. Его волосы, завивавшиеся на затылке и собранные в косичку ниже, там, где начиналась шея, позволяли думать и о некотором тщеславии. Стрелок повернул монету и увидел нечто столь изумившее его, что он вскрикнул хриплым каркающим голосом.

На обратной стороне монеты был орел, изображение, украшавшее некогда его собственное знамя — в те полузабытые дни, когда существовали еще королевства и символизировавшие их знамена.

«Времени мало. Возвращайся. Поспеши».

Но он помедлил еще секунду, задумавшись. Думать, находясь внутри этой головы, было трудно. У невольника голова тоже была далеко не ясной, но все же, по крайней мере временно, она была более чистым сосудом, чем его собственная.

Пронести монету туда и обратно — это ведь только половина эксперимента, не так ли?

Роланд достал из своей патронной ленты еще один патрон и стиснул его в руке, прижав к монете.

И шагнул через дверь обратно.

Монета невольника была на месте, крепко сжатая в засунутой в карман руке. Чтобы проверить патрон, Роланду не надо было выдвигаться вперед; он знал, что патрон сюда не прошел.

Но он все равно шагнул вперед, на минутку, потому что ему было необходимо узнать одну вещь. Было необходимо увидеть.

Поэтому он повернулся, словно для того, чтобы поправить маленькую бумажную штучку на спинке своего кресла (в этом мире бумага повсюду — свидетели тому все боги, какие только были и есть), и посмотрел за дверь. Он увидел свое тело, лежащее бессильно, как и раньше, только теперь на щеке появилась свежая ссадина, и из нее текла струйка крови — должно быть, его тело расшиблось о камень, когда он покинул его и перешел сюда.

Патрон, который он нес вместе с монетой, лежал у низа двери, на песке.

Все же ответ был достаточно полным. Невольник сможет Пройти Таможенный Досмотр. Пусть их стража обыскивает его с ног до головы, от дырки, в которую еда входит, до дырки, из которой она потом выходит, а потом наоборот.

Они ничего не найдут.

Стрелок отступил назад, довольный, не подозревая — по крайней мере, в тот момент, — что он еще не осознал всю проблему в целом.

Боинг низко и плавно прошел над затопленной морской водой низиной Лонг-Айленда, оставляя за собой черный шлейф отработанного горючего. Грохот, глухой удар — это шасси коснулось земли.

3-А, человек с двухцветными глазами, выпрямился, и Джейн увидела — по самому настоящему увидела — у него в руках короткоствольный «узи» и тут же поняла, что это всего-навсего его таможенная декларация и маленькая сумочка на молнии, в каких мужчины иногда держат паспорта.

Самолет сел, плавно, как в пух.

С долгим, прерывистым вздохом, вздрагивая, она завинтила на термосе красную крышку.

— Можешь обозвать меня жопой с ручкой, — тихо сказала она Сьюзи, пристегивая ремни, хотя это было уже ни к чему. Когда заходили на посадку, она сказала Сьюзи, в чем дело, чтобы та была готова. — Имеешь полное право.

— Нет, — возразила Сьюзи. — Ты сделала совершенно правильно.

— Я слишком остро прореагировала. И обед — за мой счет.

— Фигушки. И не смотри на него. Смотри на меня. Улыбайся, Джейни.

Джейн улыбнулась. Кивнула. Подумала: «Сейчас-то что происходит, Господи?»

— Ты все время смотрела ему на руки, — сказала Сьюзи и засмеялась. Джейн тоже засмеялась. — А я смотрела, что делается с его рубашкой, когда он нагнулся за сумкой. У него там столько всего, что можно у Вулворта целый отдел мелкой галантереи укомплектовать. Только не думаю я, что он везет то, что можно купить у Вулворта.

Джейн запрокинула голову и опять расхохоталась, чувствуя себя марионеткой.

— И что нам теперь делать?

Сьюзи работала на пять лет дольше, чем Джейн, и Джейн, которой минуту назад казалось, что она, хоть из последних сил, но контролирует ситуацию, теперь была только рада, что Сьюзи — рядом.

— Нам — ничего. Пока будем катиться по посадочной полосе, скажи капитану. Капитан свяжется с таможенниками. Этот твой друг встанет в очередь, как все пассажиры, только потом его выдернут из очереди и отведут в одну такую маленькую комнатку. Я думаю, для него это будет первая из очень длинного ряда маленьких комнаток.

— Мамочки. — Джейн улыбнулась, но ее бросало то в жар, то в холод.

Когда реверсы отключились, она нажала на своих ремнях безопасности кнопку автоматического расстегивания, отдала термос Сьюзи, встала и постучала в дверь кабины пилотов.

Не террорист, а контрабандист, перевозчик наркотиков. Что ж, и на том спасибо. Но ей было как-то неприятно. Он все-таки был симпатичный.

Не очень, но немножко.

«Он все еще не видит, — подумал стрелок со злостью и зарождающимся отчаянием. — О боги!»

Невольник нагнулся, чтобы достать бумаги, нужные ему для обряда, а когда выпрямился, военная женщина уставилась на него, выпучив глаза, щеки у нее стали белые, как бумажные штучки на спинках кресел. Серебряная трубка с красной крышкой, которую он сперва принял за флягу или что-то в этом роде, по-видимому, была оружием. Сейчас женщина держала ее, прижав к груди. Роланд подумал, что через пару секунд она либо швырнет эту штуку в невольника, либо сорвет красную крышку и пристрелит его из нее.

Вдруг она расслабилась и застегнула ремни, хотя по толчку и стрелок, и невольник поняли, что воздушный вагон уже приземлился. Она повернулась к военной женщине, рядом с которой сидела, и что-то сказала. Та засмеялась и кивнула, но стрелок подумал, что если это — искренний смех, то он — речная жаба.

Стрелка удивляло, как тот человек, чье сознание стало для него временным пристанищем, может быть таким глупым. Конечно, отчасти это вызвано снадобьем, которое он вводит в свое тело... одним из здешних вариантов бес-травы. Отчасти, но не только. Он не такой мягкотелый и ненаблюдательный, как остальные, но со временем, возможно, станет таким.

«Они такие, какие есть, потому что живут при свете, — подумал вдруг стрелок. — При свете цивилизации, перед которым тебя научили преклоняться больше, чем перед всем остальным. Они живут в мире, что не сдвинулся с места».

Роланд подумал, что если в таком мире люди становятся такими, как эти, то он, возможно, предпочел бы тьму. «Это было до того, как мир сдвинулся с места», — говорили люди в его собственном мире, причем всегда — скорбным тоном утраты... но, быть может, эта печаль была бездумной, необдуманной.

«Когда я/он нагнулся за бумагами, она подумала, что я/он хочу достать оружие. Когда она увидела бумаги, она расслабилась и сделала то, что все остальные сделали до того, как вагон опустился на землю. А теперь она и ее подруга болтают и смеются, но их лица — особенно ее лицо, лицо женщины с металлической трубкой — не такие, как должны быть. Они действительно разговаривают, но только притворяются, что смеются... и это потому, что разговаривают они о нем».

Теперь воздушный вагон ехал по длинной дороге, по-видимому, бетонной, одной из многих. Стрелок в основном следил за военными женщинами, но краем глаза видел, как по некоторым другим дорогам движутся другие воздушные вагоны. Одни ехали медленно, неуклюже, другие мчались с неимоверной скоростью, не как вагоны, а как выстреленные пули или снаряды — готовились прыгнуть в воздух. Каким бы отчаянным ни стало сейчас его положение, часть его сознания испытывала сильнейшее желание выдвинуться вперед и повернуть голову, чтобы увидеть, как эти экипажи уходят в небо. Они были сделаны руками человека, но казались такими же легендарными, как истории о Великом Пернатце, жившем некогда, как рассказывали, в далеком (и, надо полагать, мифическом) королевстве Гарлан — может быть, даже более легендарными, просто потому, что эти были созданы человеком.

Женщина, которая принесла ему бопкин, расстегнула ремни (а ведь не прошло и минуты, как она их застегнула) и подошла к какой-то маленькой двери. «Здесь сидит возница», — подумал стрелок, но когда дверь открылась и она вошла, Роланд увидел, что для управления воздушным вагоном нужны, по-видимому, три возницы, и даже короткого взгляда ему хватило, чтобы понять, почему: насколько он успел заметить, там был чуть ли не миллион всяких ручек, циферблатов и огоньков.

Невольник смотрел на все, но ничего не видел — Корт сначала высмеял бы его, а потом прошиб бы им ближайшую стену. Сознание невольника было полностью поглощено мыслями о том, чтобы выхватить сумку из-под сиденья и легкую куртку из ячейки над головой... и пройти предстоящее ему мучительное испытание — обряд Прохождения Таможенного Досмотра.

Невольник не видел ничего; стрелок видел все.

«Женщина думала, что он — вор или безумец. Он — а может быть, не он, а я, да, это очень возможно — сделал что-то такое, что заставило ее так подумать. Потом она перестала так думать, а потом опять начала, из-за второй женщины... только теперь, по-моему, они точно знают, в чем дело. Они знают, что он хочет попытаться профанировать обряд».

И тут он мгновенно, как в свете молнии, увидел всю остальную часть своей проблемы. Во-первых, она не сводилась лишь к тому, чтобы забрать пакеты в его мир, как он забрал монету; монета не была приклеена к телу невольника клейкой веревкой, которую невольник много раз обмотал вокруг верхней части своего туловища, чтобы мешочки плотно прилегали к коже и крепко держались. Невольник не обратил внимания на исчезновение одной из многих монет, но когда он заметит внезапное исчезновение того — что бы это ни было — ради чего он рисковал жизнью, с ним непременно сделается родимчик... и что тогда?

Скорее всего, тогда невольник начнет вести себя так странно, что его запрут в темницу так же быстро, как если бы его поймали на профанации обряда. Лишиться пакетов было бы достаточно скверно; но если бы эти пакеты у него подмышками просто-напросто рассосались, обратились в ничто, он бы, наверно, подумал, что и вправду сошел с ума.

Воздушный вагон, ставший на земле медлительным, как вол, тяжело поворачивал влево. Стрелок понял, что не может позволить себе роскошь раздумывать дальше. Теперь ему мало просто выдвинуться вперед; теперь он должен установить контакт с Эдди Дийном.

Прямо сейчас.

Эдди засунул свою декларацию и паспорт в нагрудный карман. Стальная проволочка все туже и туже закручивалась вокруг его внутренностей, врезалась все глубже и глубже, так что нервы у него искрили и потрескивали. И вдруг у него в голове раздался голос.

Не мысль; голос.

Слушай меня, ты. Слушай внимательно. И если хочешь, чтобы все обошлось, не допускай, чтобы на твоем лице было заметно хоть что-нибудь, что могло бы усилить подозрения этих военных женщин. Видит Бог, они уже и так подозревают достаточно.

Сначала Эдди подумал, что забыл снять принадлежащие авиакомпании наушники и слышит какой-то дурацкий разговор из пилотской кабины. Но наушники собрали у пассажиров пять минут назад.

Вторая мысль была, что кто-то стоит рядом и разговаривает. Он хотел было резко повернуть голову влево, но это было нелепо. Как ни неприятно, а неприкрытая правда состояла в том, что голос исходил у него из головы, изнутри.

Может, он принимает какую-то радиопередачу — АМ, ЧМ, УКВ — пломбами в зубах? Он слышал о таких шту...

Выпрямись, червь! Они и так тебя подозревают, а если у тебя еще будет такой вид, будто ты рехнулся!..

Эдди выпрямился, резко, словно от пощечины. Это был не голос Генри, но он так походил на давний голос Генри, когда они были еще пацанами, подрастали в микрорайоне «Проекты»; Генри был на восемь лет старше, а сестру, которая была между ними, Эдди почти не помнил — Селину насмерть сбило машиной, когда ему было два года, а Генри — десять. Этот резкий, командирский тон слышался всякий раз, когда Генри видел, что Эдди делает такое, что может уложить его в длинный сосновый ящик задолго до старости... как это случилось с Селиной.

Да что же это такое, едрена вошь?

Ты не слышишь голосов, которых нет, — ответил голос. Нет, это не голос Генри — старше, суше... более властный. Но он похож на голос Генри... и не верить невозможно. — Это во-первых. Ты не сходишь с ума. Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО другой человек.

Это телепатия?

Эдди смутно сознавал, что его лицо абсолютно ничего не выражает. Он подумал, что в данных обстоятельствах его следовало бы за это объявить победителем Академического Конкурса на Звание Лучшего Актера Года. Он посмотрел в окно и увидел, что самолет подруливает к сектору авиакомпании «Дельта» терминала международного аэропорта Кеннеди.

Я не знаю этого слова. Но вот что я знаю точно: эти две военные женщины знают, что ты везешь...

Пауза. Чувство — невыразимо странное — что призрачные пальцы роются у него в мозгу, словно он — живая картотека.

...героин или кокаин. Я не могу сказать, который из них, но... не думаю, кокаин, потому что ты везешь то, чем не пользуешься, чтобы купить то, что употребляешь.

— Какие военные женщины? — тихим голосом пробормотал Эдди. Он совершенно не сознавал, что говорит вслух. — Ты о чем, черт возьми, гово...

Опять это ощущение, что ему дали пощечину... такое реальное, что он почувствовал, как у него зазвенело в голове.

Заткнись, осел проклятый!

Да ладно, ладно! Ой, мама!

Теперь опять ощущение роющихся пальцев.

Военные стюардессы, ответил чужой голос. Ты меня понимаешь? У меня нет времени копаться в каждой твоей мысли, невольник.

— Как ты... — начал было Эдди, потом закрыл рот. Как ты меня назвал?

Неважно. Ты давай слушай. Времени очень-очень мало. Они знают. Военные стюардессы знают, что у тебя есть этот кокаин.

Откуда они могут знать? Это чушь!

Я не знаю, каким образом они узнали, и это неважно. Одна из них сказала возницам. Возницы скажут тем жрецам, которые совершают эту церемонию, это Прохождение Таможенного Досмотра...

Голос у него в голове говорил каким-то странным, таинственным языком, выражения были такими нелепыми, что это было почти мило... но смысл сказанного Эдди понял очень и очень отчетливо. Хотя лицо Эдди по-прежнему ничего не выражало, зубы его, больно стукнув, сжались, и он тихонько, зло присвистнул сквозь них.

Голос говорил, что игра окончена. Он еще даже из самолета не вышел, а игра уже закончилась.

Но это же не взаправду. Это никак не может быть взаправду. Это просто его мозг в последний момент решил сплясать ему эдакую маленькую параноидную джигу, вот и все. Он не будет обращать на это внимания. Просто будет игнорировать, и оно прекра...

«Ты НЕ будешь это игнорировать, иначе ты отправишься в темницу, а я умру!» — проревел голос.

«Да кто ты, черт возьми, такой?» — неохотно, со страхом спросил Эдди — и услышал, как у него в голове кто-то (или что-то?) испустил глубокий, шумный вздох облегчения.

«Поверил, — подумал стрелок. — Благодарение всем богам, какие только есть или когда-нибудь были, поверил!»

Самолет остановился. Надпись ПРИСТЕГНИТЕ РЕМНИ погасла. Трап подкатился к самолету и глухо стукнулся о левую переднюю дверь.

Прибыли.

«Есть одно место, где ты сможешь все оставить, пока будешь совершать обряд Прохождения Таможенного Досмотра, — сказал голос. — Надежное место. А потом, когда уйдешь отсюда, сможешь снова взять и отнести этому Балазару».

Пассажиры начали вставать с мест, доставать вещи из ячеек наверху, пытались пристроить куда-то куртки, надевать которые, как объявили из пилотской кабины, не стоило из-за жары.

Возьми куртку. Возьми сумку. А потом опять пойди в нужник.

Нуж...

Ах, да. В туалет. В переднем отсеке.

Если они считают, что я везу марафет, они подумают, что я хочу его скинуть.

Но Эдди понимал, что это-то как раз не имеет значения. Они не станут прямо так ломать дверь, потому что это может напугать пассажиров. И они понимают, что невозможно спустить два фунта кокаина в самолетный унитаз и не оставить какого-то следа. Если, конечно, голос говорит правду... что есть какое-то безопасное место. Но как же это может быть?

Не твое дело, будь ты проклят! ПОШЕВЕЛИВАЙСЯ!

И Эдди зашевелился. Потому что до него, наконец, дошло, каково положение вещей. Он не видел всего того, что было видно Роланду при его возрасте и школе, которую он прошел — смеси пыток и точности; но ему видны были лица стюардесс — их настоящие лица, скрытые за улыбками и услужливостью, с которой они подавали пассажирам чехлы с одеждой и картонки, сложенные в стенном шкафу переднего отсека. Он видел, как они то и дело украдкой бросают на него быстрые, словно удары бича, взгляды.

Он достал свою сумку. Достал куртку. Дверь к трапу была открыта, и пассажиры уже шли по проходу. Дверь пилотской кабины была распахнута, и там стоял капитан... и тоже улыбался, но тоже смотрел на пассажиров в салоне первого класса, которые еще собирали вещи, взглядом нашел его — нет, прицелился в него взглядом — а потом снова отвел глаза, кивнул кому-то, взъерошил какому-то мальчугану волосы.

Эдди стало холодно. Не из-за ломки. Просто холодно. И этот голос у него в голове был тут ни при чем. Холодно — иногда это бывает даже кстати. Вот только надо следить, чтобы от этого холода не превратиться в ледышку.

Эдди пошел вперед, дошел до места, где, чтобы попасть к трапу, надо было свернуть налево — и вдруг зажал рот рукой.

— Мне нехорошо, — пробормотал он. — Извините. — Он прикрыл дверь кабины, которая слегка загораживала дверь в передний отсек первого класса, и открыл дверь туалета справа.

— Боюсь, что вам придется выйти из самолета, — резко сказал пилот, когда Эдди открывал дверь туалета. — Уже...

— По-моему, меня сейчас вырвет, и я не хочу, чтобы все попало вам на ботинки, — сказал Эдди. — Да и на мои.

Через секунду он уже был в туалете, за запертой дверью. Капитан что-то говорил. Эдди не мог разобрать, что именно, он не хотел разбирать. Главное, что тот говорил спокойно, а не орал. Эдди был прав, никто не станет орать, когда около двухсот пятидесяти пассажиров еще ждут своей очереди, чтобы выйти из самолета через единственную переднюю дверь. Он в туалете, временно — в безопасности, но какой ему от этого толк?

«Если ты здесь, — подумал он, — так давай делай что-нибудь, да побыстрее, кто бы ты ни был».

В течение одной страшной секунды ничего не происходило. Это была короткая секунда, но в сознании Эдди Дийна она растянулась, казалось, почти до вечности, как «Турецкие Тянучки Бономо», которые Генри иногда покупал ему в детстве; если он вел себя плохо, Генри лупил его, как сидорову козу, а если хорошо, то Генри покупал ему «Турецкие Тянучки». Таким образом Генри во время летних каникул справлялся со своей возросшей ответственностью.

«О, Господи Иисусе, я это все себе вообразил, о, Боже, как я мог быть таким сума...»

Приготовься, — сказал угрюмый голос. — Мне одному не справиться. Я могу ВЫДВИНУТЬСЯ ВПЕРЕД, но не могу заставить тебя ПРОЙТИ НА ТУ СТОРОНУ. Ты должен сделать это вместе со мной. Повернись.

Вдруг Эдди стал видеть двумя парами глаз, ощущать двумя комплектами нервов (но не все нервы этого другого были на месте; у другого не хватало каких-то частей тела, он потерял их недавно, ему было больно до крика), чувствовать десятью чувствами, думать двумя мозгами, гнать кровь двумя сердцами.

Он повернулся. В боковой стенке туалета была дыра, дыра, похожая на дверной проем. Через нее Эдди увидел морской берег с крупным серым песком и разбивающиеся на нем волны цвета старых физкультурных носков.

Ему был слышен шум этих волн.

Его нос чуял запах соли, запах, горький, как слезы.

Проходи.

Кто-то колотил в дверь туалета, говорил, чтобы он вышел, чтобы он немедленно покинул самолет.

Проходи же, чтоб тебя!

Эдди со стоном шагнул в дверной проем... споткнулся... и упал в другой мир.

Он медленно поднялся на ноги и заметил, что порезал ладонь краем ракушки. Он тупо смотрел на кровь, заливающую линию жизни, потом увидел, что справа от него медленно встает с песка какой-то человек.

Эдди попятился; чувство потери ориентировки и сонной растерянности внезапно вытеснил острый ужас: этот человек был мертв, но не знал этого. Лицо у него было изможденное, кожа лица обтягивала кости, как полоски материи, обернутые вокруг острых металлических углов так туго, что, казалось, еще чуть-чуть — и они разорвутся. Он был иссиня-бледен, за исключением пятен лихорадочного румянца высоко на скулах, красных пятен на шее, под углами челюсти с обеих сторон, и одного круглого пятна между глазами, словно нарисованного ребенком, пытавшимся изобразить индусский знак касты.

Но глаза у него были живые — голубые, с твердым взглядом, не безумные, полные грозной и упрямой жизненной силы. На человеке была темная одежда из какой-то домотканой материи — черная, выгоревшая почти до серого цвета рубашка с закатанными рукавами, синие штаны, похожие на джинсы. Он был накрест опоясан патронными лентами, но почти все гнезда были пусты. В кобурах лежали револьверы, вроде бы сорок пятого калибра — но невероятно старинные. Гладкое дерево их рукояток, казалось, светилось собственным внутренним светом.

Эдди не знал, что собирается заговорить — что у него есть, что сказать, — но, тем не менее, услышал свой голос: «Ты кто — привидение?»

— Пока нет, — прохрипел человек с револьверами. — Бес-трава. Кокаин. Или как ты его называешь. Снимай рубаху.

— У тебя руки... — Эдди их увидел. Руки человека, выглядевшего, как какой-то нелепый стрелок, какого можно увидеть только в самом паршивом вестерне, были испещрены яркими, зловещими багровыми полосами. Эдди отлично знал, что это за полосы. Они означали заражение крови. Они означали, что дьявол не просто дышит тебе в задницу, а уже ползет по канализационным трубам, которые ведут к твоему насосу.

— Отъебись от моих рук, понял? — сказало ему бледное видение. — Снимай рубаху и отцепляй эти штуки!

Эдди слышал шум волн; слышал тоскливый вой ветра, не ведающего преград; видел этого умирающего безумца, а кроме него — только запустение; но позади себя он слышал негромкие голоса пассажиров, выходящих из самолета, и непрерывный глухой стук.

— Мистер Дийн! — «Этот голос — в другом мире», — подумал он. Не то, чтобы он в этом сомневался; он просто старался вбить это себе в голову, как вбивают гвоздь в толстый кусок красного дерева. — Вам все-таки придется...

— Можешь оставить это здесь, заберешь потом, — прохрипел стрелок. — О боги, неужели ты не понимаешь, что здесь я должен разговаривать? А это больно! И времени же нет, болван!

Были люди, которых Эдди убил бы за такое слово... но он подумал, что убить этого человека ему будет не так-то просто, хотя вид у него такой, словно убийство, возможно, пошло бы ему на пользу.

Однако в этих голубых глазах он ощущал истину; их лихорадочный блеск делал ненужными все вопросы.

Эдди начал расстегивать рубашку. Первым его порывом было просто сорвать ее, как сделал Кларк Кент, когда Лоис Лэйн привязали к рельсам или к чему-то такому, но в реальной жизни это никуда не годилось: рано или поздно пришлось бы объяснять, почему столько пуговиц оторвано. Так что он стал расстегивать их, а стук позади него продолжался.

Он рывком вытащил рубашку из джинсов, стащил ее и бросил на песок, открыв обмотавшую грудь клейкую ленту. Он был похож на человека на окончательном этапе выздоровления после тяжелого перелома ребер.

Он бросил быстрый взгляд назад и увидел открытую дверь... ее нижний край прочертил на сером песке веерообразный след, когда кто-то — надо полагать, этот умирающий — ее открыл. Сквозь проем двери Эдди был виден туалет первого класса, раковина, зеркало... а в нем — его собственное лицо, полное отчаяния, черные волосы, упавшие на лоб, на зеленовато-карие глаза. На заднем плане он увидел стрелка, берег и парящих над ним морских птиц, которые галдели и дрались неизвестно над чем.

Эдди теребил ленту, не зная, как начать, как найти свободный конец, и его охватила растерянность и безнадежность. Так, наверное, чувствует себя олень или кролик, когда до половины перейдет шоссе и повернет голову — и оцепенеет в безжалостном ослепительном свете приближающихся фар.

Уильяму Уилсону, человеку, чье имя прославил По, понадобилось двадцать минут, чтобы обмотать его липучкой. Чтобы открыть дверь в туалет первого класса, им понадобится пять минут, самое большое — семь.

— Мне не снять это говно, — сказал он человеку, который, шатаясь, стоял перед ним. — Я не знаю, кто ты и где я, но я тебе говорю — ленты слишком много, а времени слишком мало.

Когда капитан Макдоналд, раздосадованный тем, что 3-А не реагирует на его слова, начал колотить в дверь, Дийр, второй пилот, посоветовал ему бросить это дело.

— Да куда он денется? — спросил Дийр. — Что он может сделать? В унитаз сам себя спустить? Крупноват он для этого.

— Но если он везет... — начал Макдоналд.

Дийр, который сам не раз и не два нюхал кокаин, сказал:

— Если везет, то везет много. Ему от него не избавиться.

— Отключить воду, — вдруг резко приказал Макдоналд.

— Уже, — ответил штурман (который тоже любил при случае понюхать — только не табак). — Но не думаю, чтобы это имело значение. Можно растворить в бачке столько, сколько войдет, но сделать, чтобы его там не оказалось, невозможно.

Они столпились у двери туалета, на которой издевательски светилась надпись ЗАНЯТО; все говорили вполголоса. «Ребята из УБН [Управление по борьбе с наркобизнесом] сольют из бачков воду, возьмут пробу — и малый спекся».

— Он всегда сможет сказать, что кто-то заходил до него и скинул эту штуку, — возразил Макдоналд. Голос у него становился все более раздраженным. Ему хотелось не разговаривать об этом, а что-то с этим делать, принимать какие-то меры, хотя он отчетливо сознавал, что пассажиры все еще выходят гуськом, и многие с особенным любопытством поглядывают на пилотов и стюардесс, собравшихся у двери туалета. Экипаж, со своей стороны, отчетливо сознавал, что какие-либо слишком откровенные, открытые действия могут разбудить страшный призрак террориста, который в наше время таится в глубине сознания каждого авиапассажира. Макдоналд знал, что его штурман и бортинженер правы, знал, что наркотик, скорее всего, упакован в пластиковые пакеты, на которых остались отпечатки пальцев этого говнюка, и все равно он слышал, как у него в мозгу звучит сигнал тревоги. Что-то у него внутри кричало: «Жулик! Жулик!», словно этот малый из кресла 3-А был пароходным шулером и держал наготове полный рукав тузов.

— Он не пытается спустить воду, — сказала Сьюзи Дуглас. — Он даже не пытается открыть краны умывальника, а то мы бы услышали, как в них хлюпает воздух. Я слышу что-то, но...

— Уходите, — коротко приказал Макдоналд. Его взгляд скользнул по Джейн Дорнинг. — Вы тоже. Мы здесь сами справимся.

Джейн повернулась, чтобы уйти; щеки ее горели.

Сьюзи спокойно сказала:

— Джейн его вычислила, а я заметила выпуклости у него под рубашкой. Мы, пожалуй, останемся, капитан Макдоналд. Если хотите подать на нас рапорт о неподчинении командиру — подавайте. Но я хочу, чтобы вы не забывали, что можете сорвать УБН, возможно, очень крупную операцию.

Их взгляды столкнулись, точно сталь с кремнем, высекая искры.

Сьюзи сказала:

— Мак, я летала с вами раз семьдесят-восемьдесят. Я вам добра желаю.

Макдоналд еще секунду смотрел на нее, потом кивнул.

— Можете остаться. Но я хочу, чтобы вы отошли на шаг назад, к кабине.

Он приподнялся на цыпочки, оглянулся назад и увидел конец очереди, который как раз переходил из третьего класса во второй. Еще две минуты, ну, три.

Капитан повернулся к встречающему пассажиров агенту компании, который стоял у люка и внимательно смотрел на них. Как видно, он понял, что возникли какие-то сложности, потому что достал из футляра свою переносную рацию и держал ее в руке.

— Скажи ему, чтобы он прислал мне сюда таможенников, — тихо сказал Макдоналд штурману. — Троих или четверых. Сейчас же.

Штурман, беспечно усмехаясь и извиняясь, протолкался через очередь и тихонько поговорил с агентом, который поднес рацию ко рту и что-то тихо сказал в нее.

Макдоналд — который ни разу в жизни не принимал ничего более сильнодействующего, чем аспирин, да и то очень редко — повернулся к Дийру. Губы его были сжаты в тонкую, белую, как шрам, черту.

— Как только выйдет последний пассажир, мы взломаем дверь этой сральни, — сказал он. — И мне плевать, будут здесь таможенники или нет. Ясно?

— Вас понял, — ответил Дийр и стал смотреть, как хвост очереди проходит в первый класс.

— Достань мой нож, — сказал стрелок. — Он у меня в кошеле.

Он показал рукой на потрескавшийся кожаный мешок, лежавший на песке. Мешок был похож не столько на кошель, сколько на большой рюкзак; такие, должно быть, несли хиппи, когда шли по аппалачскому маршруту, тащась от красоты природы (а время от времени, может, и от косячка), только этот выглядел, как настоящий, а не как бутафория, помогающая какому-нибудь торчку поддерживать свое собственное представление о себе; как вещь, которая много-много лет сопутствовала хозяину в трудных — быть может, невыносимо трудных — странствиях.

Показал рукой, а не пальцем. Он не мог показать пальцем. Эдди понял, почему правая рука у этого человека была обмотана грязным обрывком рубахи: у него были оторваны несколько пальцев.

— Возьми нож, — сказал незнакомец. — Перережь ленту. Постарайся не порезаться. Это не трудно. Тебе надо быть осторожным, но все равно придется управляться быстрее. Времени мало.

— Знаю, — сказал Эдди и стал на колени на песок. Все это происходило не на самом деле. Вот в чем штука, вот чем все объясняется. Как сформулировал бы Генри Дийн, великий мудрец и выдающийся торчок, прыг да скок, туда-сюда, крыша едет — не беда; жизнь — лишь сон, а мир — фуфло. Это, братец, западло, только ты не унывай, а лучше вмажемся давай.

Все это не взаправду, это все — необычайно живой глюк, так что самое лучшее — не дергаться, а плыть по течению.

Но глюк был до невозможности живой. Эдди потянулся к «молнии» — или, может, кошель застегивался на липучки — и увидел, что он крест-накрест зашнурован сыромятными ремешками; некоторые порвались и были тщательно связаны, и узелки были такими маленькими, чтобы не застревать в окруженных металлическими колечками отверстиях.

Эдди расшнуровал мешок, растянул горловину и нашел нож под сыроватым свертком — обрывком рубахи, в который были увязаны патроны. От одного только вида рукоятки у него захватило дух... она была из настоящего серебра, глубокого, мягкого серо-белого цвета, и на ней был выгравирован замысловатый узор, привлекавший взгляд, приковывавший его...

В ухе у Эдди взорвалась боль, с ревом пронизала голову насквозь, на миг застлала глаза красным туманом. Он неуклюже споткнулся о раскрытый кошель, упал на песок и снизу вверх взглянул на бледного человека в сапогах с отрезанными голенищами. Это был совсем даже не глюк. Голубые глаза, пылавшие на этом умирающем лице, были глазами самой истины.

— Любоваться будешь после, невольник, — сказал стрелок. — Сейчас воспользуйся им — и только.

Эдди чувствовал, как ухо у него пульсирует, распухает.

— Почему ты меня все время так называешь?

— Разрежь ленту, — мрачно сказал стрелок. — Если они вломятся в оный нужник, пока ты еще здесь, то ты — такое у меня чувство — останешься здесь очень надолго. И вскоре — в обществе трупа.

Эдди вытащил нож из ножен. Не старинный; больше, чем старинный; больше, чем древний. Лезвие, отточенное почти до невидимости, казалось, впитало в металл все века.

— Да, видать, острый, — сказал он, и голос у него дрогнул.

Последние пассажиры гуськом выходили на трап. Одна из них, дама весен эдак семидесяти, остановилась возле Джейн Дорнинг с тем мучительно-растерянным выражением лица, какое, кажется, свойственно только людям, которые впервые летят на самолете в очень немолодом возрасте или очень плохо зная английский язык, и стала показывать ей свои билеты. «Как же я найду свой самолет на Монреаль? — спрашивала она. — И что будет с моим багажом? Когда мне проходить досмотр — здесь или там?»

— На верхней площадке трапа будет стоять агент нашей авиакомпании, который сообщит вам все необходимые сведения, мэм, — сказала Джейн.

— Ну, уж не знаю, почему вы не можете дать мне все необходимые сведения, — возразила старушка. — На этом вашем трапе все еще полно народу.

— Проходите, пожалуйста, сударыня, не задерживайтесь, — сказал капитан Макдоналд. — У нас тут возникла проблема.

— Что ж, прошу прощения, что я вообще еще не умерла, — обиженно сказала старушка. — Я, как видно, просто свалилась с катафалка.

И прошествовала мимо них, задрав нос, как собака, учуявшая еще довольно далекий костер, зажав в одной руке дорожную сумку, а в другой — папку с билетами (из нее торчало такое множество корешков посадочных талонов, что впору было подумать, что эта леди облетела почти весь земной шар, меняя самолеты в каждом аэропорту).

— А эта дамочка, пожалуй, больше не станет летать на реактивных лайнерах компании «Дельта», — пробормотала Сьюзи.

— А мне насрать, пусть хоть у Супермена в портках летает, — ответил Макдоналд. — Она последняя.

Джейн метнулась мимо них, огляделась места во втором классе, потом заглянула в главный салон. Там никого не было.

Она вернулась и доложила, что самолет пуст.

Макдоналд обернулся к трапу и увидел, что сквозь толпу проталкиваются два таможенника в форме, извиняясь, но не давая себе труда оглядываться на людей, которых они оттолкнули. Последней из этих людей была та самая старушка; она уронила свою папку с билетами, бумажки рассыпались и летали вокруг, а она с пронзительными криками гонялась за ними, как рассерженная ворона.

— Ладно, — сказал Макдоналд, — вы, ребята, здесь и оставайтесь.

— Сэр, мы — служащие федеральной Таможни...

— Правильно, и я вас вызвал, и я рад, что вы прибыли так быстро. А теперь вы стойте, где стоите, потому что это — мой самолет, и тип, который там засел, — один из моих пассажиров. Как только он выйдет из самолета и ступит на трап, он станет вашим, и можете делать с ним, что хотите. — Он кивнул Дийру. — Я дам этому сукину сыну еще один шанс, а потом будем ломать дверь.

— Я не против, — ответил Дийр.

Макдоналд заколотил ладонью по двери туалета и заорал:

— А ну, друг, выходи! Я больше просить не буду!

Ответа не было.

— Ладно, — сказал Макдоналд. — Поехали.

Эдди смутно слышал, как старуха говорила: «Что ж, прошу прощения, что я вообще еще не умерла! Я, как видно, просто свалилась с катафалка!»

Он разрезал уже половину клейкой ленты. Когда старуха заговорила, у него дрогнула рука, и он увидел, что по животу у него течет тоненькая струйка крови.

— Зараза! — выругался он.

— Теперь ничего не поделаешь, — сказал стрелок своим хриплым голосом. — Заканчивай скорей. Или при виде крови тебе становится дурно?

— Только при виде своей, — ответил Эдди. Лента начиналась у него над самым животом. Чем выше он резал, тем хуже ему было видно. Он разрезал еще около трех дюймов и чуть не порезался еще раз, когда услышал, как Макдоналд говорит таможенникам: «Ладно, вы, ребята, здесь и оставайтесь».

— Я могу закончить и, может, разрезать себе все до кости, — сказал Эдди, — или можешь попробовать ты. Мне не видно, что я делаю. Подбородок, блядь, мешает.

Стрелок взял нож в левую руку. Рука тряслась. При виде того, как дрожит этот клинок, отточенный до самоубийственной остроты, Эдди стало очень не по себе.

— Может, я лучше сам попро...

— Подожди.

Стрелок устремил на свою левую руку напряженный, неподвижный взгляд. Эдди не то, чтобы не верил в телепатию, но не очень-то и верил в нее. Тем не менее, сейчас он уловил нечто... нечто столь же реальное и ощутимое, как жар, пышущий от духовки. Через несколько секунд он понял, что это такое; концентрация воли этого странного человека.

«Какой же он, к черту, умирающий, если я так мощно чувствую его силу?»

Дрожь в руке стала ослабевать. Вскоре рука только еле-еле вздрагивала. Через десять секунд, не больше, она была неподвижна, как скала.

— Ну, так, — сказал стрелок. Он шагнул вперед, поднял нож, и Эдди почувствовал другой жар, исходивший от него — зловещий жар лихорадки.

— Ты левша? — спросил Эдди.

— Нет, — ответил стрелок.

— О, Господи, — сказал Эдди и решил, что, может, почувствует себя получше, если на минуточку закроет глаза. Он слышал жесткий шорох расходящейся под ножом ленты.

— Ну, вот, — сказал стрелок и отступил на шаг. — Теперь отлепляй, сколько сможешь. А я займусь спиной.

В дверь туалета перестали вежливо стучать и заколотили кулаками. «Пассажиры вышли, — подумал Эдди. — Китайским церемониям конец. Ох, мать твою...»

— А ну, друг, выходи! Я больше просить не буду!

— Дерни как следует, — негромко прорычал стрелок.

Эдди ухватил каждой рукой толстый слой пластыря и рванул, что было сил. Больно было до чертиков. «Кончай ныть, — подумал он. — Могло быть хуже. Вдруг бы у тебя грудь была волосатая, как у Генри».

Он опустил глаза и увидел, что у него на коже поперек грудины тянется красная полоса раздражения, шириной дюймов примерно семь. Над самым солнечным сплетением, там, где он укололся ножом, кровь взбухала в проколе и красной струйкой сбегала к пупку. Пакеты с наркотиками теперь болтались у него подмышками, как плохо притороченные переметные сумы.

— Ладно, — сказал кому-то приглушенный голос за дверью туалета. — Поеха...

Остального Эдди не расслышал из-за неожиданно рванувшей боли в спине — это стрелок бесцеремонно сорвал с него остаток ленты.

Он стиснул зубы, чтобы не вскрикнуть.

— Надевай рубаху, — сказал стрелок. Его лицо (раньше Эдди думал, что живой человек не может быть бледнее этого) теперь стало цветом, как старый пепел. Несколько секунд он держал в руке опояску из клейкой ленты (теперь она слипалась в бессмысленную паутину, и большие пакеты с белым порошком казались странными коконами), потом отбросил ее в сторону. Эдди увидел, что через тряпку, которой была замотана правая рука стрелка, просачивается свежая кровь. — Да пошевеливайся.

Послышался глухой удар. Это был не просто сильный стук в дверь. Эдди поднял глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как задрожала дверь туалета, как замигали в нем лампы. Он понял, что они ломают дверь.

Он взял рубашку пальцами, ставшими, как ему показалось, слишком большими, слишком неуклюжими. Левый рукав был вывернут наизнанку. Он попытался пропихнуть его через пройму, рука у него застряла, и он выдернул ее так резко, что опять вывернул рукав наизнанку.

Бух, — и дверь туалета опять затряслась.

— О, боги, как же ты неуклюж! — простонал стрелок и сам засунул кулак в левый рукав рубашки Эдди. Когда стрелок стал вытаскивать кулак, Эдди ухватил манжету. После этого стрелок подал ему рубашку, как дворецкий подает хозяину фрак. Эдди надел ее и потянулся к нижней пуговице.

— Погоди! — рявкнул стрелок и оторвал еще кусок от своей рубашки, которой оставалось все меньше и меньше. — Вытри брюхо!

Эдди вытер, как сумел. Из дырочки в коже, проколотой ножом, все еще сочилась кровь. Да, клинок оказался острым. И даже очень.

Он бросил на песок окровавленный лоскут рубахи стрелка и застегнул свою рубашку.

Бух! На этот раз дверь не только затряслась; она прогнулась. Взглянув сквозь проем двери на берегу, Эдди увидел, как стоявший возле раковины флакон с жидким мылом упал прямо на его сумку.

Он хотел заправить рубашку, которая была уже застегнута (и, как ни странно, застегнута правильно) в штаны, но вдруг его осенило. Вместо этого он расстегнул пояс.

— На это нет времени! — Стрелок понял, что хочет заорать, но не может. — Эта дверь выдержит еще один удар, не больше!

— Я знаю, что делаю, — ответил Эдди, надеясь, что это действительно так, и шагнул назад, через дверь между двумя мирами, на ходу расстегивая на джинсах кнопки и молнию.

Спустя секунду, полную отчаяния и безнадежности, стрелок последовал за ним, миг назад — тело, страдающее и переполненное жгучей физической болью, миг спустя — лишь холодно-спокойное ка в голове Эдди.

— Еще разок, — мрачно сказал Макдоналд, и Дийр кивнул. Теперь, когда все пассажиры сошли не только с самолета, но и с трапа, таможенники достали оружие.

Ну!

Оба летчика с размаха ударили в дверь. Она распахнулась, обломок ее на мгновение повис в замке, потом упал на пол.

Перед ними на унитазе восседал мистер 3-А. Штаны у него были спущены до колен, полы выгоревшей рубашки в узорчатую полоску едва прикрывали срам. «Да, застукать-то мы его застукали, — устало подумал капитан Макдоналд. — Вот только беда-то в том, что дело, за которым мы его застукали, насколько мне известно, не противозаконное». Внезапно он ощутил, как ноет у него плечо, которым он бил в дверь — сколько раз? три? четыре?

Вслух он рявкнул:

— Какого дьявола вы здесь делаете, мистер?

— Ну, вообще-то я облегчался, — сказал Эдди, — но, если вам всем сразу приспичило, то я могу подтереться и в здании аэровокзала...

— А нас ты, умник, конечно, не слышал?

— А мне до двери было не дотянуться. — 3-А вытянул руку, чтобы продемонстрировать и, хотя дверь сейчас висела на одной петле у стены слева от него, капитан Макдоналд видел, что он прав. — Наверно, я мог бы встать, но я, понимаете, оказался лицом к лицу с кошмарной ситуацией, правда, не то, чтоб лицом, если вы понимаете, о чем я. И не то, чтобы мне хотелось попасть в это лицом, опять же, если вы понимаете, о чем я. — 3-А улыбнулся обаятельной, чуть глуповатой улыбкой, которая показалась капитану Макдоналду такой же фальшивой, как девятидолларовая бумажка. Послушать его, так подумаешь, что ему никто никогда в жизни не объяснил и не показал, как нужно наклоняться вперед.

— Вставайте, — сказал Макдоналд.

— С удовольствием. Вы только попросите дам малость отойти, а? — 3-А очаровательно улыбнулся. — Я знаю, что в наше время это уже отжило свой век, но ничего не могу поделать. Я застенчив. И, по правде сказать, мне есть чего стесняться, ох, есть. — Он приподнял левую руку, раздвинув большой и указательный пальцы примерно на полдюйма, и подмигнул Джейн Дорнинг, которая залилась ярким румянцем и мгновенно вылетела на трап, а за ней по пятам умчалась Сьюзи.

«Вид-то у тебя не застенчивый, подумал капитан Макдоналд. — Вид-то у тебя, как у кошки, которая только что добралась до сливок, вот какой у тебя вид».

Когда стюардессы скрылись из вида, 3-А встал и подтянул трусы и джинсы. Потом он потянулся в кнопке спуска воды, а капитан Макдоналд сразу же оттолкнул его руку, схватил его за плечи и резко повернул к проходу. Дийр сзади запустил руку за пояс его штанов.

— Не надо переходить на личности, — сказал Эдди. Тон у него был легкий и точно соответствовал ситуации — во всяком случае, он так думал — но внутри у него все было, словно в свободном падении. Он ощущал того, другого, отчетливо чувствовал его. Другой был внутри его сознания, внимательно следил за ним, был наготове, чтобы вмешаться, если Эдди фраернется. Боже милостивый, это все должно ему сниться, ведь правда? Ведь правда?

— Стоять тихо, — сказал Дийр.

Капитан Макдоналд заглянул в унитаз.

— Говна не видать, — сказал он и, когда штурман непроизвольно заржал, бросил на него свирепый взгляд.

— Ну, знаете, как бывает, — сказал Эдди. — Иногда примчишься, сядешь, а окажется ложная тревога. Но я дал парочку таких залпов — куда там болотному газу. Если бы вы здесь три минуты назад зажгли спичку, тут можно было бы рождественскую индейку зажарить. Должно быть, я что-то съел перед посадкой, так я ду...

— Уберите его, — сказал Макдоналд, и Дийр, все еще держа Эдди сзади за штаны, вытолкал его из самолета на трап, где таможенники взяли его под руки, один — с одной стороны, другой — с другой.

— Але! — воскликнул Эдди. — А где моя сумка? И куртка?

— О, мы как раз хотим, чтобы все ваши вещи были при вас, — сказал один из таможенников. Его дыхание било Эдди в лицо. Изо рта у него пахло маалоксом и повышенной кислотностью. — Ваши вещи нас очень интересуют. Пошли, дружочек, пошли.

Эдди все время говорил им, чтобы они не волновались, успокоились, что он прекрасно может идти сам, но, как он подумал позже, носки его ботинок коснулись трапа всего раза два-три на всем расстоянии от люка до выхода в аэровокзал, где стояли еще три таможенника и с полдюжины ментов из аэропортовской охраны; таможенники ждали Эдди, а менты сдерживали небольшую толпу, которая, пока его уводили, пялила на него глаза с испугом и жадным любопытством.

4. БАШНЯ

Эдди Дийн сидел на стуле. Стул стоял в маленькой белой комнатке. Это был единственный стул в маленькой белой комнатке. В маленькой белой комнатке было полно народу. В маленькой белой комнатке было накурено. Эдди был в одних трусах. Эдди хотелось курить. Остальные шесть — нет, семь — человек в маленькой белой комнатке были одеты. Эти люди стояли вокруг него, окружая его плотным кольцом. Трое — нет, четверо — из них курили сигареты.

Эдди хотелось дергаться и извиваться. Эдди хотелось поводить плечами и притопывать ногами.

Эдди сидел спокойно, расслабившись, и смотрел на окружавших его людей с веселым интересом, будто его не сводило с ума желание вмазаться, будто он не сходил с ума от клаустрофобии.

Причиной этому был другой в его сознании. Сперва он панически боялся этого другого. Теперь он благодарил Бога, что другой — здесь, с ним.

Может, другой и болен, и даже умирает, но стали в нем еще хватит, чтобы одолжить немного этому перепуганному двадцатилетнему торчку.

— До чего же интересная красная полоса у тебя на груди, Эдди, — сказал один из таможенников. В углу рта у него торчала сигарета. В кармане его рубашки лежала пачка сигарет. У Эдди было такое чувство, что если бы он взял из этой пачки штук пять сигарет, набил бы ими рот от угла до угла, зажег бы их все и глубоко затянулся, может, на душе у него стало бы легче. — Она похожа на след от пластыря. Сдается, у тебя тут что-то было приклеено пластырем, а потом ты вдруг решил, что хорошо бы эту штуку отодрать и избавиться от нее.

— У меня на Багамах сделалась аллергия, — сказал Эдди. — Я ж вам говорил. В смысле, мы уже несколько раз все это проговаривали. Я пытаюсь не терять чувства юмора, но мне это дается все труднее.

— Заебись ты со своим чувством юмора, — яростно сказал другой таможенник; этот тон был знаком Эдди. Такой тон делался у него самого, когда ему случалось полночи на холоду прождать сбытчика, а тот так и не появлялся. Потому что эти мужики тоже были наркашами. Единственная разница заключалась в том, что для них наркотой были такие, как он и Генри.

— А как насчет дырки у тебя в пузе? Она-то у тебя откуда, Эдди? А? — третий таможенник показывал на то место, куда Эдди ткнул себя ножом. Кровь, наконец, унялась, но там еще был темно-красный застывший пузырек, который, казалось, лопнет сразу же — только тронь.

Эдди показал на красный след от клейкой ленты.

— Чешется, — сказал он. Это была правда. — Я в самолете заснул — если не верите мне, спросите стюардессу...

— Чего бы это мы тебе не верили, Эдди?

— Не знаю, — сказал Эдди. — Много вы видели контрабандистов, которые дрыхнут, когда везут товар? — Он секунду помолчал, чтобы они могли задуматься об этом, потом вытянул вперед руки. Некоторые ногти были обгрызаны, другие — обломаны. Он когда-то сделал открытие: в подходняке любимым лакомством вдруг становятся собственные ногти. — Я все время старался сдерживаться, не чесаться, но, как видно, пока спал, здорово разодрался.

— Или пока торчал. Это может быть след укола. — Эдди было ясно, что ни один из них так не думает. Если ширнуться так близко к солнечному сплетению (а оно для нервной системы — что панель управления), то больше тебе уже никогда не придется ширяться.

— Дайте передохнуть, — сказал Эдди. — Вы ко мне так близко придвинулись, что я уж думал — взасос целовать меня собрались. Не торчал я, и вы это знаете.

На лице третьего таможенника выразилось отвращение.

— Для невинного ягненочка, Эдди, ты что-то уж очень много знаешь про наркоту.

— Чего я не набрался из «Майами Вайс», то прочел в «Ридерз Дайджест». А теперь скажите мне правду — сколько раз мы еще будем в этом копаться?

Четвертый таможенник показал ему маленький пластиковый пакетик. В нем было несколько волоконец.

— Это — волокна. Мы их отправим в лабораторию, они нам подтвердят, но мы и так знаем, от чего они. Это волокна лейкопластыря.

— Я перед уходом из отеля не успел принять душ, — в четвертый раз сказал Эдди. — Я лежал у бассейна, загорал. Пытался избавиться от этой сыпи. От аллергической сыпи. И заснул. Мне еще чертовски повезло, что я вообще успел на самолет. Пришлось бежать, как угорелому. А был ветер. И откуда я знаю, что у меня прилипло к коже, а что — нет.

Еще один таможенник протянул к Эдди руку и провел пальцем по коже левой руки, на три дюйма вверх от локтевого сгиба.

— И это — не следы уколов.

Эдди оттолкнул его руку.

— Москиты покусали, говорил же я вам. Почти что зажили. Да что вы, елки-палки, сами не видите, что ли?

Они видели. Это дело было задумано далеко не вдруг. Эдди уже месяц, как перестал ширяться в руку. Генри был на это не способен, и в этом заключалась одна из причин, почему послали Эдди, почему пришлось послать Эдди. Когда он уже никак не мог терпеть, он задвигался высоко-высоко в левое бедро, где к коже ноги прилегало левое яичко... так, как он сделал в ту ночь, когда смугловатый гаденыш наконец принес ему приличную наркоту. Большей же частью Эдди только нюхал, а Генри этого теперь было мало. Это вызывало чувства, которым Эдди не мог дать точного определения... смесь гордости и стыда. Если они посмотрят там, если они отодвинут яички, у него могут возникнуть серьезные проблемы. Анализ крови мог бы стать причиной еще более серьезных проблем, но этого они не могут потребовать, не имея хоть каких-нибудь доказательств — а доказательств-то у них как раз и нет. Никаких. Они все знают, но ничего не могут доказать. Хотеть не вредно, как сказала бы его любимая старушка-мать.

— Москиты покусали.

— Да.

— А красная полоса — аллергия.

— Да. Она у меня уже была, когда я летал на Багамы, только не такая сильная.

— Она у него уже была, когда он летал туда, — сказал один из таможенников другому.

— Ага, — ответил тот. — Ты в это веришь?

— А как же!

— Ты и в Санта-Клауса веришь?

— А как же! Я, когда еще пацаном был, с ним один раз даже сфотографировался. — Он посмотрел на Эдди. — Эдди, а у тебя есть фотка этой знаменитой красной полосочки до того, как ты съездил на Багамы?

Эдди ничего не ответил.

— Если ты в порядке, почему бы тебе не согласиться на анализ крови? — Это сказал первый таможенник, с сигаретой в углу рта. Она скурилась уже почти до самого фильтра.

Эдди вдруг разозлился — до белого каления. Он прислушался к тому, что было внутри.

«Валяй», — сразу же ответил голос, и Эдди почувствовал нечто большее, чем согласие, он ощутил что-то вроде окончательного одобрения. От этого он почувствовал себя так же, как в детстве, когда Генри обнимал его, взъерошивал ему волосы, хлопал его по плечу и говорил: «Ты молоток, парень, ты только не задавайся, но ты молоток».

— Вы же знаете, что я в порядке. — Он резко встал — так резко, что они попятились. Он взглянул на курильщика, стоявшего к нему ближе всех. — И вот что я тебе скажу, детка, если не уберешь от моего лица этот гвоздь от гроба, я его щас у тебя вышибу.

Таможенник отшатнулся.

— Вы уже вычерпали до дна бак под унитазом в самолетном сортире. Едрена вошь, вы за это время могли в нем три раза все перебрать. Вы перерыли все мои вещи. Я нагнулся и позволил одному из вас засунуть мне в задницу самый длинный в мире палец. Да если проверка простаты — это медосмотр, так это было ебаное сафари. Я вниз глянуть боялся, думал, увижу, как ноготь этого мужика у меня из хера торчит.

Он обвел их злым взглядом.

— В жопе у меня вы побывали, в вещах моих покопались, я тут сижу в одних трусах, а вы себе покуриваете да дым мне в морду пускаете. Анализа крови вам захотелось? Ладушки. Давайте сюда кого-нибудь, кто будет брать анализ.

Они зашушукались. Начали переглядываться. Удивились. Забеспокоились.

— Но если вы хотите взять у меня анализы без постановления суда, — продолжал Эдди, — то пускай тот, кто будет брать, захватит побольше шприцов и флакончиков, потому что будь я проклят, если стану отдуваться один. Я требую, чтобы сюда пришел представитель федеральной полиции, и я требую, чтобы каждый из вас сдал те же гадские анализы, что и я, и чтобы на каждом флакончике были написаны ваши фамилии и номера удостоверений личности, и я требую, чтобы они были переданы этому представителю на хранение. И на что бы вы ни делали анализ мне — на кокаин, героин, беньки [бензедрин], да на что хотите — я требую, чтобы те же самые анализы делали и с вашими образцами. А потом чтобы результаты передали моему адвокату.

— Это ж надо, ТВОЕМУ АДВОКАТУ, — воскликнул один из них. — Со всеми вами, засранцами, всегда этим кончается, правда, Эдди? Вы будете иметь дело с моим АДВОКАТОМ. Я на вас моего АДВОКАТА напущу. Мне от этой хреновни блевать хочется.

— Собственно говоря, в данный момент адвоката у меня нет, — сказал Эдди, и это была правда. — Я не думал, что мне понадобится адвокат. Но вы меня заставили передумать. Вы ничего не нашли, потому что у меня и нет ничего, но ведь рок-н-ролл никогда не кончается, так? Хотите, значит, чтобы я плясал под вашу дудку? Отлично. Буду плясать. Только не один. Вам, мужики, тоже придется плясать.

Наступило тяжелое, напряженное молчание.

— Мистер Дийн, я хочу вас попросить, снимите, пожалуйста, трусы еще раз, — сказал один из них. Этот был старше остальных. Этот, судя по виду, был их начальником. Эдди подумал, что, может быть — не точно, но может быть — этот, наконец, догадался, где могут быть свежие следы. До сих пор они там не смотрели. Руки, плечи, ноги... но не там. Слишком они были уверены, что дело в шляпе.

— Мне надоело снимать трусы, спускать трусы, жрать дерьмо, — сказал Эдди. — Хватит. Позовите сюда, кого следует, и будем делать всем анализ крови — или я ухожу. Ну? Что вы предпочитаете?

Опять такое же молчание. И, когда они начали переглядываться, Эдди понял, что победил.

Мы победили, — поправился он. — Как тебя зовут, парень?

Роланд. А тебя — Эдди. Эдди Дийн.

Ты хорошо умеешь слушать.

Слушать и наблюдать.

— Отдайте ему его одежду, — очень недовольным тоном сказал старший. Он взглянул на Эдди. — Я не знаю, что у вас было и куда вы его дели, но я вас предупреждаю: мы это выясним.

Старый хрен оглядел его с ног до головы.

— Вот вы здесь сидите. Сидите и чуть ли не ухмыляетесь. От того, что вы говорите, меня не тошнит. А тошнит меня от того, что вы такое.

— Так это вас тошнит от меня?

— Именно так.

— Вот это да, — сказал Эдди. — Вот это мне нравится. Я здесь сижу, в этой комнатенке, в одном исподнем, а вокруг меня — семеро мужиков при пушках, и вас от меня тошнит? Ну, мил-человек, проблема у вас серьезная.

Эдди шагнул к нему. Секунду таможенник держался, но потом что-то в глазах Эдди — какой-то сумасшедший цвет, казалось, наполовину карий, наполовину голубой — заставил его против воли отступить.

— ДА ПУСТОЙ Я! ПУСТОЙ, ЯСНО?! — заорал Эдди. — И ОТВАЛИТЕ ОТ МЕНЯ, НУ! ОТВАЛИТЕ НА ХРЕН! ОТВЯЖИТЕСЬ!

Опять — молчание. Потом старший повернулся к Эдди спиной и закричал на кого-то: «Вы что, не слышали, что я сказал? Принесите его одежду!»

Тем дело и кончилось.

— Вы думаете, что за нами хвост? — спросил таксист. Похоже, ему было смешно.

Эдди повернулся вперед.

— Почему вы так решили?

— Вы все смотрите в заднее окно.

— Я не думаю, что за нами хвост, — ответил Эдди. Это была чистая правда. Он этого не думал, он увидел хвосты в первый же раз, как обернулся. Хвосты, а не хвост. Ему незачем было оборачиваться, чтобы вновь и вновь убеждаться в их присутствии. В этот поздний послеполуденный час майского дня потерять такси, в котором ехал Эдди, было бы затруднительно даже амбулаторным пациентам лечебницы для умственно отсталых: машин на Лонг-Айлендской Эстакаде почти не было. — Я просто изучаю дорожное движение, только и всего.

— Ах, вон что, — сказал таксист. В некоторых кругах столь странное заявление вызвало бы расспросы, но нью-йоркские таксисты редко задают вопросы; вместо этого они высказываются сами — категорически и, как правило, величественным тоном. Большая часть этих высказываний начинается фразой: «Уж этот город!», точно эти слова — религиозная формула, произносимая перед началом проповеди... и обычно так и оказывается. Этот таксист тоже ни о чем не спросил, а сказал:

— Потому что если вы и подумали, что за нами — хвост, то ничего подобного. Я бы заметил. Уж этот город! Господи! Я в свое время много за кем следил. Вы себе не представляете, сколько людей впрыгивают в мое такси и говорят: поезжайте вон за той машиной. Я знаю, это звучит, как в кино, правильно? Правильно. Но, как говорится, искусство имитирует жизнь, а жизнь имитирует искусство. Так бывает на самом деле! А что касается того, как оторваться от хвоста, так нет ничего проще, если знать, как это делается. Надо...

Эдди отключился от тирады таксиста, так что она стала лишь фоном, и прислушивался лишь настолько, чтобы в нужных местах кивать. Если вдуматься, то трепотня таксиста была очень забавна. Одним из хвостов был темно-синий лимузин. Эдди догадался, что он — с таможни. Вторым был фургон с надписью на боках «Пицца Джинелли». Там была нарисована пицца в виде улыбающейся мальчишеской мордашки, и улыбающийся мальчик облизывался, а под картинкой была подпись: «МММММ! Какая ВКУУУСНАЯ пицца!» Но какой-то юный дизайнер-любитель, обладатель баллончика-спрэя с краской и рудиментарного чувства юмора, зачеркнул в слове «пицца» обе буквы «ц» и написал сверху «з» и «д».

Джинелли. Эдди знал одного Джинелли; он держал ресторан под названием «Четыре Предка». Но торговля пиццей была чисто побочным делом, так, для отвода глаз, на радость ревизорам. Джинелли и Балазар. Они были неразлучны, как сосиски и горчица.

Согласно первоначальному плану, перед аэровокзалом должен был ждать лимузин с водителем, готовый умчать его в один салун в центре города — там была штаб-квартира Балазара. Но, разумеется, в первоначальный план не входили два часа в маленькой белой комнатке, два часа непрерывного допроса, который вела одна группа таможенников, а вторая группа сначала слила содержимое сантехнических баков борта 901, а потом перерыла его, ища большую партию наркотиков, существование которой они тоже подозревали, такую большую, что ее невозможно было ни смыть, спустив воду, ни растворить.

Когда он вышел, никакого лимузина, естественно, не было. Водителю, конечно, были даны инструкции: если челнок не выйдет из аэровокзала минут так через пятнадцать после всех пассажиров, сваливай по-быстрому. У водителя, конечно, хватило ума не звонить из машины по телефону, потому что в ней стоит радиотелефон, и перехватить разговор по нему можно запросто. Балазар, надо думать, связался кое с кем, узнал, что у Эдди неприятности, и сам подготовился к неприятностям. Балазар, может, и не сомневается, что в Эдди есть стальной стержень, но при всем том Эдди как был наркашом, так и остался. А надеяться, что наркаш будет держаться до бесконечности, не приходится.

Значит, не исключена возможность, что фургон с пиццей вдруг притормозит в соседнем с такси ряду, кто-нибудь высунет из окна кабины автомат, и задняя стенка такси вдруг станет похожа на залитую кровью терку для сыра. Эдди беспокоился бы сильнее, если бы его продержали не два часа, а четыре, а если бы его продержали не четыре, а шесть часов, он был бы очень встревожен. Но всего два... Эдди подумал, что Балазар не усомнится, что уж два-то часа он молчал. И захочет узнать насчет товара.

А настоящей причиной того, что Эдди оглядывался назад, была дверь. Она его завораживала.

Когда таможенники наполовину снесли, наполовину сволокли его вниз по трапу в административный сектор аэропорта Кеннеди, он оглянулся через плечо и увидел, что дверь — там, несомненно, неоспоримо реальная, хоть это и было невероятно; она плыла за ним на расстоянии примерно трех футов. Он видел, как волна за волной накатывается и разбивается на песке; видел, что там, за дверью, начинает смеркаться.

Эта дверь напоминала «загадочную картинку», в которой замаскировано какое-то изображение; сначала ты никак, хоть умри, не можешь его увидеть, но потом, когда ты его уже углядел, то никак не можешь перестать его видеть, как ни старайся.

Дверь исчезала дважды — оба раза, когда стрелок возвращался в свой мир без него, и это было страшновато: Эдди чувствовал себя, как ребенок, у которого перегорел ночник. Первый раз это случилось во время допроса на таможне.

Мне придется уйти. — Голос Роланда отчетливо прорезался сквозь очередной вопрос, который ему задавали. — Всего на несколько минут. Не бойся.

Почему? — спросил Эдди. — Почему тебе придется уйти?

— Что случилось? — спросил его один из таможенников. — У тебя вдруг сделался испуганный вид.

Эдди и вправду вдруг почувствовал, что испугался, но чего именно — этому придурку все равно было бы не понять.

Он оглянулся назад, через плечо, и таможенники тоже обернулись. Они видели только голую белую стену, обшитую белыми панелями с высверленными для приглушения звука дырочками; а Эдди видел дверь, как обычно — на расстоянии трех футов (теперь она была вмонтирована в стену этой комнаты — запасный выход, который не мог видеть никто из допрашивающих). Но он видел не только дверь. Он видел, как из волн выходят чудища, чудища, словно сбежавшие из фильма ужасов, где эффекты немного более натуральны, чем хотелось бы зрителю, настолько натуральны, что реальным кажется все. Они были похожи на омерзительную и страшную помесь креветки, омара и паука. Они издавали какие-то странные, жуткие звуки.

— Что, Эдди, ломать начало? — спросил один из таможенников. — Мерещится, что по стене букашки-таракашки ползают?

Это было так близко к истине, что Эдди чуть не рассмеялся. Зато теперь он понял, почему этому Роланду пришлось уйти: сознание Роланда было — по крайней мере, в данный момент — в безопасности, но эти твари приближались к его телу, и Эдди подозревал, что если Роланд в ближайшее время не уберет его с того места, где оно находится сейчас, то очень может быть, что вскорости ему будет некуда вернуться — никакого тела не останется.

Внезапно он словно услышал, как Дэвид Ли Рот распевает во все горло: «О, у меняааа... нет никогооо...», и тут он действительно рассмеялся. Он не мог удержаться от смеха.

— Что это тебя так рассмешило? — спросил тот таможенник, что интересовался, не видит ли он букашек-таракашек.

— Вся эта ситуация, — ответил Эдди. — Хотя она не столько смешная, сколько странная. Я хочу сказать, если бы это был фильм, то не Вуди Аллена, а Феллини, если вы меня понимаете.

Ты тут справишься? — спросил Роланд.

Будь спок. Иди, парень, ЗСД.

Не понимаю.

Занимайся своими делами.

Ага. Ладно. Я ненадолго.

И вдруг этот другой исчез. Как струйка дыма, такая жиденькая, что легчайший ветерок мог бы унести ее прочь. Эдди снова оглянулся, не увидел ничего, кроме белых панелей с дырочками — ни двери, ни океана, ни жутких чудовищ — и почувствовал, как у него внутри все начинает сжиматься. Теперь уже не осталось никаких подозрений, что это все-таки, может быть, галлюцинация. Наркотик исчез, и этого доказательства Эдди вполне хватило. Но Роланд как-то... помогал. С ним было легче.

— Хочешь, чтобы я там картину повесил? — спросил кто-то из таможенников.

— Нет, — с тяжелым вздохом ответил Эдди. — Я хочу, чтобы вы меня отсюда выпустили.

— Как только скажешь нам, что ты сделал с героином, — ответил другой, — или это был «снежок»? — И все началось сначала: опять двадцать пять, снова-здорово, сказка про белого бычка.

Спустя десять минут — десять очень длинных минут — Роланд вдруг вновь оказался в сознании Эдди. Только что его не было — и вот он опять здесь. Эдди ощутил, что стрелок обессилен.

Управился? — спросил он.

Да. Извини, что так долго. — Пауза. — Мне пришлось ползти.

Эдди снова оглянулся. Дверь вернулась на место, но теперь вид на тот мир в ее проеме был немного другой, и он понял, что, как здесь дверь перемещается с ним, так там она перемещается с Роландом. От этой мысли его слегка передернуло. Получалось, будто он связан с этим другим некой странной, жутковатой пуповиной. Тело стрелка, как и прежде, беспомощно валялось перед дверью, но теперь перед глазами Эдди простиралась длинная полоса песка до прибрежной полосы, где, урча и жужжа, бродили чудовища. Всякий раз, как о берег разбивалась волна, они все, как одно, вздымали вверх клешни. Было похоже на толпу в старых документальных фильмах, когда Гитлер говорит речь, а все дружно вскидывают руки и орут «зиг-хайль!», точно это для них — вопрос жизни и смерти — да, если задуматься, скорее всего, так и было. Эдди увидел на песке следы мучительного продвижения стрелка.

Пока Эдди смотрел, одна из кошмарных тварей с быстротой молнии вскинула клешню вверх и цапнула морскую птицу, которая спикировала слишком близко к берегу. На песок упали два брызжущих кровью куска — то, во что превратилась птица. Оба куска еще не перестали дергаться, а на них уже набросились покрытые панцирем чудовища. Вверх взлетело одно-единственное бело перо. Его тут же стащила вниз клешня.

«Мать честная, — тупо подумал Эдди. — Ты только глянь на эти клещи».

— Почему вы все время оглядываетесь на стену? — спросил главный.

— Мне время от времени требуется противоядие, — сказал Эдди.

— Против чего?

— Против вашей физиономии.

Таксист высадил Эдди у одного из зданий в «Кооперативном городке», поблагодарил за полученный на чай доллар и уехал. Эдди несколько секунд постоял, держа в руке сумку на молнии; куртку он подцепил одним пальцем другой руки и перекинул через плечо. В это доме, в квартире с двумя спальнями, он жил вместе с братом. Он постоял, глядя снизу вверх на дом — монолит, изящный и красивый, как кирпичная банка от сардинок. Множеством окон дом напоминал Эдди тюремный корпус, и эта картина угнетала его так же сильно, как Роланда — другого — изумляла.

Никогда, даже в детстве, не видывал я столь высоких строений, — сказал Роланд. — А здесь их так много!

Ага, — согласился Эдди. — Мы живем, как муравьи в муравейнике. Тебе этот дом, может, и нравится, но я тебе говорю, Роланд, он стареет. Стареет в страшном темпе.

Синий лимузин медленно проехал мимо них; фургон с рекламой пиццы повернул и стал приближаться к ним. Эдди замер и почувствовал, как внутри него замер Роланд. Может, они все-таки собираются его убрать?

Дверь? — спросил Роланд. — Хочешь, мы уйдем через нее? — Эдди чувствовал, что Роланд готов — ко всему — но его голос был спокоен.

Пока нет, — ответил Эдди. — Возможно, они только хотят поговорить. Но приготовься.

Он чувствовал, что говорить это не было необходимости; ощущал, что Роланд, даже когда спит самым глубоким сном, больше готов двигаться и действовать, чем когда-либо, даже в минуту самого напряженного бодрствования, удастся Эдди.

Фургон с улыбающимся мальчиком на боковой стенке подъехал почти что вплотную. Окошко кабины со стороны пассажирского сиденья, а Эдди стоял перед входом в свой дом, и перед ним, от носков его кроссовок, тянулась его длинная тень; Эдди ждал, что высунется из окошка: лицо или ствол.

Во второй раз Роланд покинул Эдди не более, чем через пять минут после того, как таможенники, наконец, сдались и отпустили его.

Стрелок поел, но слишком мало; ему было необходимо утолить жажду; а больше всего ему было нужно лекарство. Эдди пока еще не мог помочь ему, дать ему то лекарство, которое действительно требовалось Роланду (хотя и подозревал, что стрелок прав, и Балазар мог бы сделать это... если бы захотел), но обыкновенный аспирин мог хотя бы сбить жар, который Эдди ощутил, когда стрелок подошел к нему вплотную, чтобы разрезать верхнюю часть пластыря. Он остановился перед газетным киоском в главном зале аэровокзала.

У вас, там, есть аспирин?

Никогда о нем не слышал. Что это — колдовство или лекарство?

Пожалуй, и то, и другое.

Эдди зашел в киоск и купил жестянку анацина усиленного действия. Потом подошел к стойке с закусками и купил пару «горячих собак» длиной в фут и двойную порцию пепси-колы. Он уже начал мазать сосиски горчицей и кетчупом (Генри называл такие длинные «горячие собаки» «горячими Годзиллами») и вдруг вспомнил, что эта еда — не для него. А Роланд, может, вообще вегетарианец, кто его знает. Как знать, может, Роланд от этой штуки вообще отправится на тот свет.

Что ж, теперь уже поздно, — подумал Эдди. Когда Роланд говорил, когда Роланд действовал, Эдди знал, что все это происходит на самом деле. Когда Роланд не давал о себе знать, у Эдди опять упорно появлялось дурацкое чувство, что это — сон, необычайно живой и похожий на явь, который ему снится в самолете (борт 901 компании «Дельта», пункт назначения — аэропорт Кеннеди).

Роланд говорил ему, что может унести еду в свой мир. Что один раз он уже сделал это, пока Эдди спал. Эдди никак не мог в это поверить, но Роланд уверял, что это — правда.

Но нам все равно надо быть до фига осторожными, — сказал Эдди. — Они ко мне приставили двоих с таможни. Или к нам. Вот черт, я уж теперь и сам не знаю, кто я и что я.

Я знаю, что мы должны быть осторожны, — ответил Роланд. — И их не двое, а пятеро.

Внезапно Эдди испытал одно из самых странных в своей жизни ощущений: он почувствовал, что кто-то водит его глазами. Ими водил Роланд.

Мужчина в культуристской майке разговаривал по телефону.

Женщина сидела на скамье и рылась в сумочке.

Молодой негр (он был бы потрясающе красив, если бы не заячья губа, которую операция исправила лишь частично) разглядывал футболки, выставленные в киоске, из которого недавно вышел Эдди.

С виду все они были в порядке, но Эдди, тем не менее, распознал, что они собой представляют, и это было как с детскими загадочными картинками — когда найдешь скрытое в такой картинке изображение, больше уже ни за что не сможешь от него отделаться. Он почувствовал, что краснеет, потому что другому пришлось показать ему то, что он должен был сразу же увидеть сам. Он засек только двоих. Эти трое были чуть получше, но уж не настолько; взгляд говорившего по телефону был не пустым, как бывает, когда представляешь себе собеседника, а живым; этот тип явно смотрел, его глаза, будто случайно, все время возвращались к месту, где стоял Эдди. Женщина с сумкой не находила в ней то, что искала, но и не бросала поисков, а без конца все рылась и рылась в ней. А покупатель мог бы за это время не меньше десяти раз пересмотреть все до единой футболки, висевшие на вращающейся стойке.

Эдди вдруг почувствовал себя так, словно ему снова пять лет, и он боится переходить улицу, если Генри не держит его за руку.

Ничего, — сказал Роланд. — И насчет еды тоже не беспокойся. Мне доводилось есть жуков, притом живых, так что они мне по горлу вниз сами бежали.

Так-то оно так, — ответил Эдди, — да только это — Нью-Йорк.

Он отнес булочки и газировку на дальний конец прилавка и сел спиной к главному вестибюлю аэровокзала. Потом поднял взгляд на левый угол. Там, подобно выпученному глазу, торчало выпуклое зеркало. В нем Эдди были видны все, кто следил за ним, но ни один из них не стоял настолько близко, чтобы разглядеть еду и стакан с пепси, и это было очень кстати, потому что Эдди не имел ни малейшего понятия, что со всем этим будет.

Положи астин на эти мясные штуки. Потом возьми в руки все вместе.

Аспирин.

Ладно, нев... Эдди, зови его хоть флютергорком, если хочешь. Только делай, что я говорю.

Эдди достал анацин из пакета, который раньше сунул в карман, и уже положил было его на булочки, но вдруг сообразил, что Роланд не сумеет не только открыть жестянку, но даже снять с нее защитную оболочку.

Он сделал все это сам, вытряхнул три таблетки на бумажную салфетку, подумал и добавил еще три.

Три сейчас, три потом, — сказал он. — Если будет какое-нибудь «потом».

Хорошо. Спасибо.

А теперь что?

Держи все вместе.

Эдди снова взглянул в выпуклое зеркало. Двое из агентов не спеша, словно бы бесцельно, шли по направлению к буфету; возможно, им не понравилось, как Эдди повернулся спиной, может быть, они учуяли, что готовится какой-то фокус-покус, и им захотелось посмотреть поближе. Если что-то должно было произойти, то надо, чтобы оно произошло поскорее.

Он обхватил все руками, чувствуя тепло, исходившее от сосисок в мягких белых булочках, холод пепси-колы. В этот момент он был похож на отца семейства, который собирается отнести еду своим ребятишкам... и тут все это начало таять.

Он опустил взгляд, и глаза у него раскрывались все шире и шире, пока ему не показалось, что они сейчас вывалятся из глазниц и будут болтаться на ниточках.

Сквозь булочки ему стали видны сосиски, через картонный стакан — пепси; жидкость с кубиками льда повторяла форму предмета, которого уже не было видно.

Потом сквозь булочки с сосисками он увидел красный пластиковый прилавок, а сквозь пепси — белую стену. Его руки стали сближаться, сопротивление между ними все уменьшалось... а потом они сомкнулись, ладонь к ладони. Еда... салфетки... пепси-кола... шесть таблеток анацина... все, что он только что держал, обхватив обеими руками, исчезло.

Эдди тупо подумал: «Ах, едрить твою налево...» Он вскинул взгляд к выпуклому зеркалу.

Та дверь исчезла... точно так же, как Роланд исчез из его сознания.

«Приятного аппетита, друг мой», — подумал Эдди... но действительно ли это странное, чужое существо, называющее себя Роландом, друг ему? Это еще далеко не доказано, так? Он, правда, спас Эдди шкуру, ничего не скажешь, но это еще не значит, что он — бойскаут.

И тем не менее ему-то Роланд нравится. Он его, правда, боится, но все равно, Роланд ему нравится.

Эдди подозревал, что со временем он, возможно, полюбит Роланда, как любит Генри.

«Ешь на здоровье, незнакомец, — подумал он. — Ешь на здоровье, не помирай... и возвращайся».

Рядом валялось несколько испачканных горчицей салфеток, оставленных кем-то из покупателей. Эдди скомкал их и, выходя, бросил в мусорную корзину у двери и задвигал челюстями, притворяясь, будто дожевывает последний кусок. Подойдя к молодому негру по дороге к указателям «БАГАЖ» и «К ГОРОДСКОМУ ТРАНСПОРТУ», он даже сумел изобразить отрыжку.

— Так и не нашли подходящей футболки? — спросил Эдди.

— Простите? — негр отвернулся от расписания вылета самолетов компании «Американ Эйрлайнз», которое он внимательно изучал, вернее, делал вид, что изучает.

— Я думал, может, вы ищете футболку с надписью «Подайте на пропитание государственному служащему США», — сказал Эдди и зашагал дальше.

Спускаясь с лестницы, он увидел, как сумковладелица поспешно закрыла сумочку и вскочила на ноги.

«Ух ты, это будет почище парада цирка Мэйси в День Благодарения».

Денек выдался блядски интересный, и, по мнению Эдди, был еще далеко не вечер.

Когда Роланд увидел, что из моря опять вылезают омароподобные монстры (значит, прилив здесь ни при чем; они появляются, как стемнеет), он покинул Эдди Дийна, чтобы перетащить свое тело, пока чудовища не успели отыскать и сожрать его.

Боль он предвидел, к боли он был готов. Он прожил бок-о-бок с болью уже столько времени, что она стала для него почти старым другом. А вот то, как быстро у него усиливался жар и убывали силы, ужаснуло его. Раньше, может, смерть и не была так близка, но теперь-то он точно умирает. Есть ли в мире невольника средство, достаточно сильное, чтобы до этого не дошло? Быть может. Но если он не найдет его в ближайшие шесть-восемь часов, то, надо полагать, оно уже не понадобится. Если болезнь будет развиваться, то ни в этом мире, ни в каком-либо другом не найдется ни лекарства, ни колдовства, которое смогло бы его исцелить.

Идти он не в состоянии. Придется ползти.

Он уже собрался двинуться в путь, как вдруг его взгляд остановился на перекрученной полосе той липкой штуки и на пакетах с бесовым порошком. Если он оставит все это здесь, чудища почти наверняка разорвут пакеты. Бриз развеет порошок на все четыре стороны. «И туда ему и дорога», — угрюмо подумал стрелок, но допустить это было нельзя. Если Эдди Дийн, когда придет время, не сможет предъявить этот порошок, он окажется в глубокой луже. Блефовать с такими людьми, каким, насколько он мог догадаться, является Балазар, удается редко. Он захочет видеть то, за что заплатил, и пока не увидит, на Эдди будет направлено столько револьверов, что хватило бы на небольшую армию.

Стрелок подтянул к себе перекрученную клейкую веревку и повесил ее себе на шею. Потом начал карабкаться вверх по берегу.

Он прополз ярдов двадцать — почти достаточно, чтобы считать себя в безопасности — когда его осенила страшная (и в то же время в космических масштабах — смешная) мысль: что он уползает все дальше от двери. Во имя Бога, зачем тогда все эти муки?

Он обернулся и увидел дверь — не внизу, на краю берега, а в трех футах позади себя. Секунду Роланд лишь тупо смотрел на нее, воспринимая, как бред, то, что понял бы уже давно, если бы не жар и не звук голосов инквизиторов, беспрестанно твердивших Эдди: Как ты, почему ты, где ты, когда ты (эти вопросы, казалось, странно сливаются с вопросами чудовищ, выползающих из волн, отвратительно изгибаясь: Дад-э-чок? Дад-э-чам? Дид-э-чик?). Нет, это был не бред.

«Теперь я тяну ее за собой всюду, куда ни пойду, — подумал он. — Теперь она всюду следует за нами, словно проклятие, от которого вовеки не избавиться».

Он ощущал, что все это — непреложная истина... как и еще одна вещь.

Если дверь между ними закроется, она закроется навсегда.

«Когда это случится, — с мрачной решимостью подумал стрелок, — он должен быть по эту сторону. Со мной».

«Какой ты образец добродетели, стрелок! — захохотал человек в черном. Казалось, он навеки поселился в голове у Роланда. — Ты убил мальчишку; это была жертва, благодаря которой ты сумел поймать меня и, как я полагаю, создать дверь между мирами. Теперь ты намереваешься перетащить сюда этих троих и обречь их на такое, чего сам для себя не хотел бы: остаться на всю жизнь в чужом мире, где погибнуть им так же легко, как зверям из зоосада, выпущенным на волю в диком лесу».

«Башня, — мелькнула у Роланда безумная мысль. — Когда я доберусь до Башни и сделаю то, что должен сделать (если б знать, что!), совершу какой-то основополагающий акт восстановления или искупления, в котором мое предназначение, тогда они, быть может...»

Но визгливый хохот человека в черном, человека, который умер, но продолжал жить, став запятнанной совестью стрелка, не дал ему додумать до конца.

Но и заставить его свернуть с пути мысль о задуманном им предательстве тоже не могла.

Он сумел преодолеть еще десять ярдов, обернулся и увидел, что даже самое крупное из ползучих чудовищ не рискует заходить за линию прилива выше, чем на двадцать футов. А он уже прошел в три раза больше.

Вот и хорошо.

«И ничего хорошего, — весело возразил человек в черном, — и ты это знаешь».

«Заткнись», — подумал стрелок, и — о, чудо! — голос умолк.

Роланд затолкал пакеты с бесовым порошком в расщелину между двумя камнями и прикрыл их несколькими горстями скудной травы-зубчатки. Покончив с этим, он чуть-чуть отдохнул; голова у него горела, в ней стучало, его бросало то в жар, то в холод; потом он, перекатываясь с боку на бок, вернулся через дверной проем в тот, другой мир, в то, другое тело, ненадолго оставив позади все усиливающуюся смертоносную инфекцию.

Когда Роланд вернулся в свое тело во второй раз, оно было охвачено таким глубоким сном, что на миг он подумал, что у него началась кома... состояние, в котором все функции организма снижены до такой степени, что минутами он ощущал, как его собственное сознание начинает соскальзывать в глубокую тьму.

Но он заставил свое тело проснуться, тычками и тумаками выгнал его из темной норы, в которую оно забилось. Он заставил свое сердце биться чаще, заставил свои нервы вновь воспринимать боль, которая, как пламенем, обжигала его кожу и вернула его плоть в мучительную действительность.

Уже наступила ночь. Высыпали звезды. Те штуки, похожие на бопкины, что ему принес Эдди, были, как маленькие комочки тепла в окружавшем его знобком холоде.

Ему не хотелось, но он решил, что обязательно их съест. Но сначала...

Он взглянул на белые таблетки, которые держал в руке. Астин, как назвал их Эдди. Нет, не совсем так, но Роланд не мог произнести это слово так, как его выговорил невольник. Главное, что это — лекарство. Лекарство из того, другого мира.

«Если что-нибудь из твоего мира, Невольник, меня прикончит, — невесело подумал Роланд, — то, я думаю, скорее твои снадобья, чем твои бопкины».

Но попробовать все равно придется. Это не то лекарство, которое ему действительно нужно — во всяком случае, по мнению Эдди — но оно должно сбить ему жар.

«Три сейчас, три потом. Если будет какое-нибудь «потом».

Роланд положил в рот три таблетки, потом сдвинул с картонного стакана с питьем крышку, сделанную из какого-то странного белого материала — не из стекла и не из бумаги, а из чего-то, немного похожего и на то, и на другое — и запил их.

Первый глоток совершенно ошеломил его, ошеломил до такой степени, что он некоторое время полулежал, прислонившись к камню, и глаза его были так широко раскрыты, так неподвижны и так полны отраженного света, что любой прохожий, несомненно, принял бы его за мертвеца. Потом он стал жадно пить, держа стакан обеими руками, почти не замечая гнилой, пульсирующей боли в искалеченных пальцах — так он был потрясен вкусом напитка.

«Сладко! Боги, такая сладость! Такая сладость! Такая...»

В горле у него застрял один из маленьких кубиков льда, лежавших в питье. Он закашлялся, постучал себя кулаком по груди, и кубик выскочил. Теперь голова болела по-другому: это была та серебристая боль, что появляется, когда слишком быстро пьешь что-нибудь чересчур холодное.

Он лежал неподвижно, ощущая, как сердце у него колотится, гоняет кровь, словно разогнавшийся мотор, чувствуя, как новая энергия вливается в его тело так быстро, что ему показалось, будто он вот-вот взорвется. Он машинально оторвал от рубашки еще один лоскут — скоро от нее останется только висящая у него на шее тряпица — и расстелил его у себя на ноге. Когда питье кончится, он вытряхнет на нее лед и приложит к раненой руке. Но мысли его блуждали далеко.

«Сладко! — снова и снова твердил он про себя, пытаясь понять смысл происходящего или хотя бы убедить себя, что в нем есть смысл, почти так, как Эдди пытался убедить себя, что другой реально существует, что это не какая-то психическая судорога, не какая-то другая часть его сознания, которая силится его обмануть. — Сладко! Сладко! Сладко!»

В темный напиток был щедро добавлен сахар, даже больше сахара, чем Мартен — а за его суровой внешностью аскета скрывался изрядный чревоугодник — сыпал себе в кофе.

Сахар... белый... порошок...

Взгляд стрелка упал на пакеты, едва видные под травой, которую он на них накидал, и у него промелькнула мысль: быть может, то, что добавлено в питье, и то, что лежит в пакетах — одно и то же? Он знал, что здесь, где они находились в двух разных телах, Эдди прекрасно понимал его; он предполагал, что, если бы он перешел в мир Эдди в своем собственном теле (а Роланд инстинктивно понимал, что это выполнимо... хотя, если дверь закроется, пока он будет там, он останется там навсегда, как Эдди навсегда остался бы здесь, если бы они оба в этот момент находились здесь), он так же хорошо понимал бы язык его мира. Побывав в сознании Эдди, он узнал, что языки обоих миров прежде всего сходны. Сходны, но не идентичны. Здесь сэндвич зовется «бопкин». Там «подкинуть» означает найти какую-нибудь еду. Так что... разве не может быть, что вещество, которое Эдди называет «кокаин», здесь, в мире стрелка, называется сахар?

Подумав, он отверг это предположение. Эдди купил питье открыто, зная, что за ним следят слуги Жрецов Таможенного Досмотра. Кроме того, у Роланда было впечатление, что он заплатил за него сравнительно мало. Даже меньше, чем за бопкины с мясом. Нет, сахар — не кокаин, но Роланд не мог понять, зачем людям может быть нужен кокаин — да, коли на то пошло, любое другое запрещенное законом снадобье — в мире, где такое сильнодействующее средство, как сахар, стоит так дешево и его так много.

Он еще раз взглянул на мясные бопкины, почувствовал, что ему начинает хотеться есть... и с изумлением и растерянной благодарностью понял, что чувствует себя лучше.

Питье? Это оно помогло? Сахар в питье?

Возможно, отчасти — но часть эта невелика. Когда человек теряет силы, сахар может восстановить их; это ему известно еще с детства. Но сахар не может притупить боль или угасить огонь лихорадки в твоем теле, когда какая-нибудь инфекция превратила его в пылающую печь. А ведь с ним-то произошло именно это... и все еще происходит.

Судорожная дрожь прекратилась. На лбу у него выступил пот. Впившиеся ему в горло рыболовные крючки, похоже, стали исчезать. Это было невероятно, и в то же время это был неоспоримый факт, а не просто игра воображения и не самовнушение (по правде говоря, стрелок не был способен на такую легкомысленную вещь, как самовнушение, уже десятки неисчислимых и непознаваемых лет). Отсутствующие пальцы руки и ноги еще дергало, но, по его мнению, даже и эта боль стала не такой острой.

Роланд запрокинул голову, закрыл глаза и возблагодарил Бога.

Бога и Эдди Дийна.

«Смотри, Роланд, не клади свое сердце возле его руки, это было бы ошибкой, — проговорил голос из более дальних глубин его сознания (это был не нервный, хихикающий, стервозный голос человека в черном, и не грубый, хриплый голос Корта; Роланду показалось, что это — голос его отца). — Ты ведь знаешь: то, что он сделал для тебя, он сделал потому, что это нужно для него самого, так же, как ты знаешь, что эти люди — пусть они и Инквизиторы — отчасти или даже полностью правы насчет него. Он слабый сосуд, и причина, по которой они его забрали, не была ни лживой, ни низкой. Не спорю, в нем есть сталь. Но в нем есть и слабость. Он как Хэкс, повар. Хэкс подсыпал яд неохотно... но от этого вопли умирающих, когда у них лопались кишки, не становились тише. И есть еще одна причина остерегаться...»

Но Роланд и без всяких голосов знал, что это за вторая причина. Он видел ее раньше, в глазах Джейка, когда мальчик, наконец, начал понимать, какая у стрелка цель.

«Не клади свое сердце возле его руки; это было бы ошибкой».

Добрый совет. Хорошо относясь к тем, кому придется со временем причинить зло, ты причиняешь зло себе.

«Помни свой долг, Роланд».

— Я никогда его не забывал, — прохрипел он; а звезды лили на землю свой безжалостный свет, а волны со скрежетом накатывались на берег, а чудовища, похожие на омаров, выкрикивали свои идиотские вопросы. — Мой долг — мое проклятие. А проклятым незачем сворачивать с пути!

Он принялся есть мясные бопкины, которые Эдди называл «собаками».

Мысль о том, чтобы есть собачатину, не слишком прельщала Роланда, да и вкус у этих штук по сравнению с рыбой-дудцом был, как у помоев, но разве он имеет право жаловаться после этого дивного напитка? Он решил, что нет. И потом, игра зашла слишком далеко, чтобы вникать в такие тонкости.

Он съел все, а потом вернулся туда, где сейчас находился Эдди, в какой-то волшебный экипаж, мчавшийся по сделанной из металла дороге, полной других таких же экипажей... их там были десятки, быть может, сотни, и ни один из них не был запряжен ни единой лошадью.

Когда фургон с рекламой пиццы затормозил возле них, Эдди был наготове; Роланд у него внутри был еще сильнее наготове.

«Это просто очередной вариант Сна Дианы, — подумал Роланд. — Что там, в шкатулке? Золотая чаша или кусачая змея? И как раз в тот миг, когда она поворачивает ключик и кладет руки на крышку, она слышит голос матери: «Просыпайся, Диана! Доить пора!»

«Ну, так, — подумал Эдди. — Кто высунется? Красотка или тигр?»

Из пассажирского окошка фургона выглянул человек с бледным прыщавым лицом и большими, торчащими вперед, как у зайца, зубами. Это лицо было знакомо Эдди.

— Привет, Коль, — без особого энтузиазма сказал Эдди. Рядом с Колем Винсентом, за рулем, сидел Джек Андолини, он же, как его называл Генри, Старое Чучело.

«Но в лицо Генри его никогда так не называет», — подумал Эдди. Еще бы, конечно, нет. Обозвать Джека в лицо чем-нибудь подобным было бы прекрасным способом самоубийства. Джек был здоровенный мужик с выпуклым лбом троглодита и такой же выпирающей вперед челюстью. Он был женат на родственнице Энрико Балазара... племяннице, двоюродной сестре, хрен ее знает. Его огромные ручищи вцепились в руль фургона, как лапы мартышки, уцепившейся за ветку. Из ушей у него торчали пучки толстых волос. Сейчас Эдди было видно только одно ухо Джека Андолини, потому что он сидел в профиль и не поворачивался.

Старое Чучело. Но даже Генри (который, как был вынужден признать Эдди, далеко не всегда оказывался самым проницательным человеком на свете) ни разу не пришло в голову назвать его Старым Дураком. Это было бы ошибкой. Колин Винсент был, по существу, всего лишь шестеркой, хотя и главной шестеркой. А вот у Джека в его неандертальском черепе хватало мозгов на то, чтобы быть правой рукой Балазара. Эдди не понравилось, что Балазар прислал такую важную персону. Совсем не понравилось.

— Привет, Эдди! — сказал Коль. — Слышно, у тебя неприятности были.

— Ничего такого, с чем я не сумел бы справиться, — ответил Эдди. Он заметил, что чешет то одну руку, то другую — одно из типичных для торчков движений, от которых он изо всех сил старался воздерживаться, пока его держали на таможне. Но Коль улыбался, и Эдди захотелось двинуть по этой улыбке кулаком, да так, чтобы он из затылка вылез. Может быть, он бы так и сделал, если бы не Джек. Джек все еще смотрел, не мигая, прямо перед собой; казалось, что в голове у него ворочаются свойственные только ему рудиментарные мысли; что он видит мир окрашенным в простые цвета спектра и воспринимает лишь элементарные побуждения, и что ничего другого человек с таким интеллектом и не способен воспринять (во всяком случае, так можно было подумать, глядя на него). Но Эдди считал, что за один день Джек видит больше, чем Коль Винсент сможет увидеть за всю свою жизнь.

— Вот и хорошо, — сказал Коль. — Это хорошо.

Молчание. Коль смотрел на Эдди, улыбался и ждал, когда Эдди опять начнет исполнять Танец Торчка — чесаться, переминаться с ноги на ногу, как ребенок, которому надо в туалет; ждал, главным образом, когда же Эдди спросит, что случилось и, кстати, нет ли у них случайно с собой дознячка.

А Эдди только смотрел на него и больше не чесался, вообще не делал ни единого движения.

Слабый ветерок тащил по паркингу кусок яркой фольги. Только ее шорох, да задыхающийся звук разболтанных клапанов в моторе фургона нарушали тишину.

Понимающая ухмылка Коля стала менее уверенной.

— Садись давай, Эдди, — не оборачиваясь, сказал Джек. — Прокатимся.

— Это куда же? — спросил Эдди, зная ответ заранее.

— К Балазару. — Джек не обернулся, только один раз разжал и снова сжал пальцы на баранке. При этом на среднем пальце блеснул большой перстень литого золота с выпиравшим, как глаз гигантского насекомого, ониксом. — Он хочет узнать насчет товара.

— Его товар у меня. Он в надежном месте.

— Отлично. Значит, можно ни о чем не беспокоиться, — сказал Джек Андолини и не обернулся.

— Я хочу сперва подняться к себе, — сказал Эдди. — Переодеться, поговорить с Генри...

— И вмазаться, не забудь про это, — сказал Коль и ухмыльнулся своей широкой желтозубой ухмылкой. — Вот только вмазаться-то тебе нечем, ясно тебе, голуб... ты... мой... чик?

«Дид-э-чик?» — подумал стрелок в мозгу Эдди, и их обоих слегка передернуло.

Коль заметил это, и его ухмылка стала шире. Зубы, которые открылись при этом, оказались не краше тех, что были видны раньше. «Ага, все-таки начинается, — говорила эта ухмылка. — Добрый старый Танец Торчка. А я, Эдди, уж было забеспокоился».

— Это еще почему?

— Мистер Балазар подумал, что будет лучше, если у вас в квартире, ребята, все будет чистенько, — сказал Джек, не оборачиваясь. Он продолжал наблюдать мир, который, по мнению стороннего наблюдателя, такой человек наблюдать не способен. — На случай, если бы кто-нибудь вдруг заявился.

— Например, с федеральным ордером на обыск, — сказал Коль. Его лицо торчало из окна кабины и мерзко ухмылялось. Теперь Эдди чувствовал, что Роланду тоже хочется выбить кулаком гнилые зубы, делавшие эту ухмылку такой возмутительной, такой в некотором роде непростительной. Это единодушие его слегка подбодрило. — Он прислал бригаду из фирмы по уборке квартир, и они вымыли все стены и пропылесосили все ковры, и он с вас за это не возьмет ни копья, Эдди!

«Вот теперь ты спросишь, что у меня есть, — говорила ухмылка Коля. — Да, Эдди, мальчик мой, вот теперь-то ты спросишь. Потому как кондитера-то ты, может, и не любишь, да конфеты любишь, правда? А теперь, когда ты знаешь, что Балазар позаботился, чтобы твоей личной заначки не осталось...»

Внезапная мысль, страшная, отвратительная, вспыхнула в мозгу Эдди. Если заначки больше нет...

— Где Генри? — спросил он вдруг, так резко, что Коль удивленно втянул голову в окно.

Джек Андолини наконец обернулся. Медленно, точно ему приходилось делать это редко и с величайшим трудом. Казалось, вот-вот станет слышно, как на шее у него скрипят старые немазаные шарниры.

— В надежном месте, — сказал он и повернул голову обратно, в прежнее положение, опять так же медленно.

Эдди стоял рядом с фургоном, борясь с паникой, которая норовила подняться в его сознании и, нахлынув, подавить способность связно мыслить. Внезапно потребность задвинуться, которую он до сих пор довольно успешно сдерживал, стала непреодолимой. Ему было необходимо вмазаться. После дозняка он сможет думать, взять себя в руки...

Прекрати! — прорычал Роланд у него в голове, так громко, что Эдди поморщился (и Коль, приняв эту гримасу боли и удивления за очередное па Танца Торчка, снова начал ухмыляться). — Прекрати! Я сам, черт возьми, буду держать тебя в руках, так, как потребуется!

Ты не понимаешь! Он мой брат! Брат он мне, понял, мать твою?! Мой брат у Балазара!

Ты говоришь так, словно я никогда не слышал этого слова. Ты за него боишься?

Да! До хрена боюсь!

Тогда делай то, чего они от тебя ждут. Плачь. Хнычь. Умоляй. Проси у них этот твой дозняк. Я уверен, что они этого ждут, и уверен, что он у них есть. Сделай все это, веди себя так, чтобы они в тебе не усомнились, и можешь быть уверен, что все твои опасения оправдаются.

Я не понимаю, что ты имеешь в виду.

Я имею в виду, что если ты покажешь им, что струсил, это будет очень способствовать тому, что твоего драгоценного брата убьют. Ты хочешь этого?

Ладно. Я буду спокоен. Выглядеть это, может, будет не так, но я буду спокоен.

Ты это так называешь? Ну, тогда ладно. Будь спокоен.

— Договаривались по-другому, — сказал Эдди прямо в волосатое ухо Джека Андолини, мимо Коля. — Я не для этого берег товар Балазара и не раскололся, когда другой на моем месте уже давно выложил бы по пять имен за каждый год, сбавленный со срока.

— Балазар считает, что у него твоему брату будет безопаснее, — ответил Джек, не оборачиваясь. — Он взял его под охрану.

— Прекрасно, — сказал Эдди. — Вот вы его от меня и поблагодарите и скажите, что я вернулся, что товар его в порядочке и что я могу позаботиться о Генри точно так же, как Генри всегда заботился обо мне. Вы ему скажите, что у меня во льду стоит упаковка — шесть банок пива, — и как только Генри войдет в квартиру, мы ее уговорим, а потом сядем в свою машину и приедем, и закончим сделку так, как предполагалось. Как договаривались.

— Эдди, Балазар хочет тебя видеть, — сказал Джек. Тон его был непримирим, непреклонен. Он не повернул головы. — Полезай в фургон.

— Хуй тебе! И можешь его засунуть себе в ту дырку, где солнышко не светит, — сказал Эдди и направился к своему подъезду.

Расстояние было невелико, но Эдди не прошел и половины, как пальцы Андолини с парализующей силой, как тиски, сжали его руку повыше локтя. Он жарко, как бык, дышал Эдди в затылок. Все это Джек успел сделать за то время, которое — как можно было бы предположить по его виду — понадобилось бы его мозгу, чтобы дать руке сигнал повернуть вверх ручку дверцы фургона.

Эдди обернулся.

Спокойно, Эдди, — прошептал Роланд.

Я — спокойно, — ответил Эдди.

— Я ж тебя убью за это, — сказал Андолини. — Я никому не позволю говорить мне, чтобы я его совал себе в жопу, а тем более — такому маленькому сраному торчку, как ты.

— Хуй убьешь! — пронзительно завизжал на него Эдди, но это был рассчитанный визг. Хладнокровный визг, если вам это понятно. Они стояли возле дома — темные фигуры в золотых лучах позднего весеннего заката в Кооперативном Городке Бронкса [непрестижный район Нью-Йорка], на пустыре среди новостроек, и люди слышали этот визг, и слышали слово убьешь, и если радио у них было включено, они делали звук погромче, а если радио было выключено, то они его включали и уж тогда делали звук погромче, потому что так было лучше, безопаснее.

— Рико Балазар не сдержал слово! Я за него стеной стоял, а он за меня — нет! Вот я тебе и говорю — сунь себе хуй в жопу! И ему говорю, чтобы он засунул его себе в жопу! И ему говорю, и вообще кому хочу, тому говорю!

Андолини смотрел на него. Глаза у Джека были карие, такие темные, что, казалось, окрасили и роговицу в желтоватый цвет старого пергамента.

— Да если мне и президент Рейган даст слово и нарушит его, я и ему скажу, чтобы он засунул себе хуй в жопу и заебся в доску, ясно тебе, козел?!

Эхо его слов, отражаясь от кирпича и бетона, постепенно замерло. Один-единственный ребенок, кожа которого казалась особенно черной на фоне белых баскетбольных трусов и высоких кроссовок, стоял на детской площадке по другую сторону улицы и смотрел на них, локтем неплотно прижимая к боку баскетбольный мяч.

— Все? — спросил Андолини, когда замерли последние отголоски.

— Да, — совершенно нормальным тоном ответил Эдди.

— Отлично, — сказал Андолини. Он растопырил свои обезьяньи пальцы и улыбнулся... а когда он улыбался, одновременно происходили две вещи: во-первых, становилось видно его обаяние, такое удивительное и неожиданное, что человек нередко становился беззащитным перед ним; и во-вторых, становилось видно, до чего он на самом деле умен. — Теперь можно начать сначала?

Эдди обеими руками взъерошил себе волосы и пригладил их, на несколько секунд скрестил руки, чтобы можно было почесать оба плеча сразу, и сказал:

— Я думаю, да, потому что так мы ни до чего не договоримся.

— Отлично, — сказал Андолини. — Никто никому ничего такого не сказал, и никто никого не материл. — И, не поворачивая головы, в том же ритме добавил: — А ты, придурок, полезай обратно в фургон.

Коль Винсент, осторожно вылезший из кабины через дверь, которую Андолини оставил открытой, ретировался так поспешно, что стукнулся головой. Он подвинулся на сиденье и, ссутулившись, уселся на прежнем месте, потирая ушибленную голову и надувшись.

— Ты должен понять, что условия сделки изменились, когда на тебя наложила лапу таможня, — рассудительно сказал Андолини. — Балазар — большой человек. У него свои интересы, и он должен о них заботиться. И у него есть люди, о которых он должен заботиться. И так уж вышло, что один из этих людей — твой брат Генри. Ты считаешь, что это — херня? Если так, подумай о том, в каком состоянии Генри сейчас.

— Генри в полном порядке, — возразил Эдди, но в глубине души он знал, что это не так, и, несмотря на все усилия, в его тоне слышался отзвук этого знания. Он слышал этот отзвук и понимал, что Джек Андолини тоже слышит его. В последнее время Генри то и дело вроде как вырубался. Рубашки у него были до дыр прожжены сигаретами. Один раз, открывая жестянку с кошачьим кормом для их кота Поца, он до кости разрезал себе руку электрической открывалкой. Эдди не понимал, как можно порезаться электрической открывалкой, но Генри сумел. Иногда кухонный стол после Генри бывал весь засыпан крошками и объедками, или Эдди находил в ванной, в раковине, почерневшие обгорелые завитки.

«Генри, — говорил он, — Генри, ты давай поосторожнее, ты уже не справляешься, ты ж на ходу разваливаешься».

«Ага, братишка, ладно, — отвечал Генри, — не дрейфь, у меня все под контролем»; но иногда, глядя на серое, как пепел, лицо и потухшие глаза Генри, Эдди понимал, что у Генри уже больше никогда ничего не будет под контролем.

Но то, что он хотел и не мог сказать Генри, не имело никакого отношения к тому, что Генри может засыпаться или засыпать их обоих. Вот что он хотел сказать: «Генри, по тебе похоже, что ты ищешь место, где бы лечь и умереть. Такое у меня впечатление, и я хочу, чтобы ты, едрена вошь, это дело бросил. Потому как, если ты умрешь, то для чего ж я тогда жил?»

— Генри в полном непорядке, — ответил Джек Андолини. — Ему нужен... как это в песне-то поется? Мост над бурными водами. Вот что нужно Генри. И этот мост — Il Roche.

Il Roche — мост к аду, — подумал Эдди. Вслух он сказал:

— Так Генри там? У Балазара?

— Да.

— Я отдам ему товар — он отдаст мне Генри?

— И твой товар, — сказал Андолини, — не забудь об этом.

— Иначе говоря, сделка вернется к норме.

— Правильно.

— Ну, а теперь скажи мне, что ты веришь, что так оно и будет вправду. Давай, Джек. Скажи. Я хочу посмотреть, сможешь ли ты это сделать, не усмехнувшись. И если сможешь, то я хочу посмотреть, на сколько у тебя вырастет нос.

— Эдди, я тебя не понимаю.

— Очень даже понимаешь. Балазар думает, что его товар при мне? Если он так думает, значит, он дурак, а я знаю, что он совсем не дурак.

— Что он думает, я не знаю, — безмятежно ответил Андолини. — Знать, что он думает, в мои обязанности не входит. Он знает, что, когда ты вылетел с Багамских островов, его товар был при тебе, он знает, что таможенники тебя свинтили, а потом отпустили, он знает, что ты здесь, а не на пути в Райкерс, он знает, что его товар должен где-то быть.

— И он знает, что таможенники до сих пор от меня не отлипли, как банный лист от задницы, потому что это знаешь ты, и ты ему это передал каким-то кодом по радио из фургона. Что-нибудь вроде «Сыра двойную порцию, а анчоусов не надо», так, Джек?

Джек Андолини молчал с безмятежным видом.

— Только ты сообщил ему то, что он уже и так знал. Как когда соединяешь точки на картинке, на которой уже разглядел, что там такое.

Андолини стоял в золотом закатном свете, который медленно становился оранжевым, как пламя в топке, и по-прежнему не говорил ни словечка, и вид у него по-прежнему был безмятежный.

— Он думает, они меня вербанули? Он думает, я у них на веревочке? Он думает, я настолько глуп, что меня можно держать на веревочке? Я его особо-то и не осуждаю. Я хочу сказать — а почему бы и нет? Наркаш на все способен. Хочешь проверить, посмотреть, есть ли на мне датчик?

— Знаю, что нету, — сказал Андолини. — У меня в фургоне есть такая штучка. Вроде ментовской рации, только она ловит передачи на коротких волнах. И уж так ли, нет ли, а только не думаю я, что ты работаешь на ФБРовцев.

— Ну да?

— Ну да. Так что — садимся в машину и едем в город, или как?

— А у меня что, есть выбор?

Нет, — сказал Роланд у него в голове.

— Нет, — сказал Андолини.

Эдди вернулся к фургону. Мальчишка с баскетбольным мячом все еще стоял на той стороне улицы, и его тень теперь была длинной, как стрела портового крана.

— Мотай отсюда, пацан, — сказал Эдди. — Тебя здесь сроду не было, ты никого и ничего в глаза не видел. Давай, уебывай.

Мальчишка бегом кинулся прочь.

Коль ухмылялся Эдди в лицо.

— Ну, ты, подвинься, — сказал Эдди.

— Я думаю, Эдди, тебе лучше сесть посередке.

— Подвинься, — повторил Эдди. Коль взглянул на него, потом на Андолини, который не посмотрел на него, а только захлопнул дверцу со стороны водителя и продолжал безмятежно смотреть прямо перед собой, точно Будда в свой выходной, предоставляя им самим разбираться, кто где сядет. Коль снова перевел взгляд на лицо Эдди и решил подвинуться.

Они направлялись в Нью-Йорк — и хотя стрелок (который мог только изумленно разглядывать шпили, еще более прекрасные и изящные, чем мосты, подобно стальной паутине переброшенные через широкую реку, и воздушные вагоны с винтами наверху, зависавшие в воздухе, словно странные рукотворные насекомые) не знал этого, местом, куда они направлялись, была Башня.

Как и Андолини, Энрико Балазар не думал, что Эдди Дийн работает на ФБРовцев; как и Андолини, Балазар это знал.

Бар был пуст. На двери висела табличка: «ЗАКРЫТО ТОЛЬКО СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ». Балазар сидел в своем кабинете и ждал, когда приедут Андолини и Коль Винсент с младшеньким Дийном. Оба его личные телохранителя, Клаудио Андолини (брат Джека) и Чими Дретто, находились при нем. Они сидели на диване слева от огромного письменного стола Балазара и зачарованно смотрели, как растет здание, которое строил Балазар. Дверь была открыта. За дверью был короткий коридор. Справа он кончался в задней части бара, за которой лежала маленькая кухонька, где готовили простые блюда из макарон. Слева была бухгалтерия и кладовая. В бухгалтерии еще трое балазаровских «джентльменов» — так их было принято называть — играли с Генри Дийном в «Счастливый случай».

— Чудно, — говорил в эту минуту Джордж Бьонди, — вот легкий вопросик, Генри. Генри? Генри, ты меня слышишь? Земля вызывает Генри. Генри, ты нужен на Земле. Генри, перехожу на прием, ответь. Повторяю: ответь, Ге...

— Да слышу я, слышу, — сказал Генри. Говорил он нечетко, с трудом ворочая языком, как человек, который все еще спит, но говорит жене, что проснулся, чтобы она еще хоть пять минут его не трогала.

— Ладно. Раздел «Искусство и развлечения». Вопрос такой... Генри? Ты мне тут, жопа, давай не отключайся, к едрене матери!

— Да не отключаюсь я! — жалобно воскликнул в ответ Генри.

— О'кэй. Вопрос такой: в каком необычайно популярном романе Вильяма Питера Блэтти, действие которого происходит в Джорджтауне — шикарном пригороде Вашингтона, округ Колумбия, рассказывается, как в маленькую девочку вселился бес?

— Джонни Кэш, — ответил Генри.

— Твою душу! — заорал Трюкач Постино. — У тебя на все один ответ! Джонни Кэш да Джонни Кэш, ты ж это на все отвечаешь, мать твою растудыть!

— Джонни Кэш и есть все, — серьезно ответил Генри, и на момент наступила тишина, почти осязаемая — так она была полна задумчивого удивления... а потом — хриплый взрыв смеха; смеялись не только те, кто сидел в комнате с Генри, но и два других «джентльмена», сидевших в кладовой.

— Закрыть дверь, мистер Балазар? — негромко спросил Чими.

— Нет, и так хорошо, — ответил Балазар. Он был сицилиец второго поколения, но говорил без малейшего акцента и не так, как разговаривают люди, получившие образование только на улицах. В отличие от многих своих соплеменников и коллег по бизнесу, он окончил среднюю школу. Более того, он два года занимался в школе бизнеса Нью-Йоркского Университета. Голос у него, как и его манера вести дела, был тихим, культурным и чисто американским, и из-за этого его наружность была такой же обманчивой, как наружность Джека Андолини. У тех, кто впервые слышал его ясный, без акцента, чисто американский голос, всегда делался растерянный вид, словно они слушали необычайно искусного чревовещателя. Балазар был похож на фермера, или на владельца небольшой гостиницы, или на мелкого мафиозо, достигшего успеха благодаря не столько своим умственным способностям, сколько тому, что в нужный момент оказался в нужном месте. У него была внешность того типа, который остряки предыдущего поколения окрестили «Усатым Питом». Он был толстый и одевался, как крестьянин. В этот вечер на нем была белая хлопчатобумажная рубашка с открытым воротом (подмышками расползались пятна пота) и простые серые твидовые брюки. На жирных ступнях красовались коричневые мокасины на босу ногу, такие старые, что напоминали больше домашние туфли, чем ботинки. По щиколоткам извивались синие и лиловые варикозные вены.

Чими и Клаудио, как зачарованные, не отрывали от него глаз.

В прежние времена его прозвали Il Roche — Скала. Некоторые из ветеранов все еще называли его так. В правом верхнем ящике письменного стола, где другие бизнесмены обычно держат блокноты, ручки, скрепки и тому подобные вещи, Энрико Балазар всегда держал три колоды карт. Но не для того, чтобы играть в карты.

Он из них строил.

Он брал две карты и прислонял их одну к другой, так что получалось А без перекладины. Рядом с ним он делал такую же штуковину. На эти две фигуры он клал сверху одну карту, чтобы получилась крыша. И так он строил одно А за другим и накрывал их крышами, пока на письменном столе не оказывался карточный домик.

Если нагнуться и заглянуть в него, можно было увидеть нечто вроде сот, построенных из треугольников. Чими сотни раз видел, как эти домики обрушивались (Клаудио тоже время от времени видел это, но не так часто, потому что был на тридцать лет моложе Чими, который собирался вскорости уйти на покой и уехать со своей стервозой-женой на собственную ферму в северной части штата Нью-Джерси и там посвящать все свое время саду... и надеялся пережить эту стерву, на которой он женат; не тещу, нет, он уже давно оставил всякую надежду — если и питал ее когда-нибудь — поесть фетуччини на поминках по La Monstra [La Monstra (итал., исп.) — чудовище (женского пола)]. La Monstra была бессмертна, но на то, что удастся пережить ту, другую стерву, хоть какая-то надежда была; его отец любил присловье, в переводе звучавшее примерно так: «Бог писает тебе за шиворот каждый день, но утопит тебя только один раз»; и Чими полагал, хотя и не был вполне уверен, что это означает, что Бог — в общем неплохой малый и он, Чими, может надеяться, что уж одну-то из этих двух он все ж таки переживет), но всего лишь раз видел, чтобы это вывело Балазара из себя. Чаще всего домики обрушивались по чистой случайности — от того, что кто-нибудь хлопнул дверью в соседней комнате или пьяный налетел на стену; бывали случаи, когда на глазах у Чими здание, которое мистер Балазар (Чими до сих пор называл его «Иль Боссо», как в комиксе Честера Гоулда) воздвигал часами, разваливалось только из-за слишком громкого рева баса в музыкальном автомате. А бывало и так, что эти воздушные конструкции рушились без всяких видимых причин. Однажды — Чими рассказывал эту историю не менее пяти тысяч раз, и она успела надоесть всем (за исключением самого Чими) — Иль Боссо поднял на него взгляд от развалин и сказал: «Видишь, Чими, это — ответ каждой матери, что проклинает Бога за то, что ее дитя лежит мертвое на дороге, каждому мужчине, что проклинает человека, который уволил его с завода и оставил без работы, каждому ребенку, что родился на муки и спрашивает, зачем.

Наша жизнь — как эти карточные домики, что я строю. Иногда она ломается по какой-то причине, а иногда — без всяких причин».

Карлочими Дретто считал, что это — самое глубокое из всех слышанных им суждений о человеческой жизни.

В тот единственный раз Балазар вышел из себя из-за того, что одно из его строений рухнуло, лет двенадцать, может быть, четырнадцать, назад. К нему пришел один мужик насчет спиртного. Невоспитанный мужик, как есть хам. Пахло от него так, будто он моется в ванне раз в год, надо — не надо. Короче, мик [оскорбительное прозвище ирландцев], один из этих, с кудрявыми рыжими волосами и с таким белым лицом, будто у них чахотка или еще чего, из этих, у которых фамилия начинается на О, а между О и настоящей фамилией стоит такая закорючка. Ну, и, конечно, насчет спиртного. Им, микам, всегда выпивку подавай, наркота им на дух не нужна. И вот, этот мик вообразил, что постройка на столе у Иль Боссо — так себе, шуточки. После того, как Иль Боссо ему объяснил, вежливо, как джентльмен джентльмену, почему никакая сделка между ними невозможна, этот мик вдруг как заорал: «Загадывай желание!» Да как подул на письменный стол Иль Боссо, точно ниньо [Ниньо (исп.) — ребенок], задувающий свечи на именинном пироге, и карты так и разлетелись вокруг головы Балазара, и Балазар открыл левый верхний ящик письменного стола, ящик, где другие бизнесмены обычно держат писчую бумагу со своим личным штампом, или свои личные записные книжки, или еще что-нибудь в этом роде, и достал пистолет калибра . 45, и выстрелил этому мику прямо в голову, и выражение лица у Балазара ни капельки не изменилось, и после того, как Чими и еще один малый по имени Трумэн Элигзандер, который четыре года назад помер от сердечного припадка, закопали этого мика под курятником где-то на окраине Сидонвилля (штат Коннектикут), Балазар сказал Чими: «Строить всякие вещи — дело людей, paisan [Paisan (искаж. исп.) — земляк]. А разрушать их — дело Бога. Ты согласен с этим?»

«Да, мистер Балазар», — ответил тогда Чими. Он действительно был с этим согласен.

Балазар удовлетворенно кивнул. «Вы сделали, как я велел? Положили его где-нибудь, где на него смогут срать куры, или утки, или еще что-нибудь такое?»

«Да».

«Это очень хорошо», — спокойно сказал Балазар и вынул из правого верхнего ящика письменного стола новую колоду карт.

Для Балазара, «Скалы», одного этажа было мало. На крыше первого этажа он строил второй, только не такой широкий; на втором — третий; на третьем — четвертый. Он строил и дальше, но после четвертого этажа ему приходилось для этого встать. Чтобы заглянуть в домик, уже не надо было так сильно нагибаться, а нагнувшись, человек видел уже не ряды треугольников, а хрупкий, ошеломляющий и неимоверно прекрасный зал из ромбов. Если смотреть туда слишком долго, начинала кружиться голова. Однажды Чими на Кони-Айленд зашел в «Зеркальный Лабиринт» и у него вот так же закружилась голова. Больше он туда никогда не заходил.

Чими рассказывал (он думал, что никто ему не верит, а на самом деле всем было глубоко безразлично), что он однажды видел, как Балазар построил такое... уже не карточный домик, а карточную башню, которая рухнула только после девятого этажа. Что всем на это было положить с прибором, Чими не знал, потому что все, кому он об этом рассказывал, изображали глубокое изумление, поскольку Чими был близок к Иль Боссо. Но слушатели изумлялись бы по-настоящему, если бы у него нашлись слова, чтобы описать эту башню — какая она была изящная и хрупкая, как высотой она была почти в три четверти расстояния от крышки письменного стола до потолка, кружевное строение из тузов, и королей, и двоек, и валетов, и десяток, и красно-черная конструкция из бумажных ромбов, бросавшая вызов всему миру, который, кружась, несется сквозь вселенную, состоящую из бессвязных движений и сил; башня, представлявшаяся изумленному взору Чими громогласным отрицанием всех несправедливых парадоксов жизни.

Если бы он умел, он сказал бы: «Я смотрел на то, что он построил, и оно объяснило мне звезды».

Балазар понимал, как должны обстоять дела. ФБРовцы засекли Эдди — быть может, он вообще сделал глупость, послав Эдди, может быть, его инстинкт начал его подводить, но Эдди почему-то казался таким подходящим, таким абсолютно подходящим. Дядя Балазара, первый, на кого он работал в этом бизнесе, сказал однажды, что нет правил без исключений, кроме одного: никогда не доверяй наркашам. Балазар тогда промолчал — негоже пятнадцатилетнему мальчишке открывать рот, даже для того, чтобы согласиться — но про себя подумал, что единственное правило без исключений — что бывают отдельные правила, к которым это правило не относится.

«Но если бы Тио [Tio (исп.) — дядя] Вероне был сегодня жив, — подумал Балазар, — он бы засмеялся над собой и сказал бы: гляди, Рико, ты всегда был слишком уж умен, ты знал правила, ты помалкивал, когда этого требовало уважение к старшим, но глаза у тебя всегда были наглые. Ты всегда слишком хорошо знал, какой ты умный, и поэтому ты в конце концов свалился в яму собственной гордыни, и я всегда знал, что так оно и выйдет».

Он сложил «А» и накрыл его третьей картой.

Они взяли Эдди, подержали его, а потом выпустили.

Балазар забрал брата Эдди и их общую заначку. Этого достаточно, чтобы привести Эдди сюда... а Эдди ему нужен.

Эдди нужен ему, потому что они держали его только два часа, а это ни в какие ворота не лезет.

И допрашивали его не на Сорок третьей улице, а в Кеннеди, а это тоже ни в какие ворота не лезет. Это значит, что Эдди сумел скинуть весь или почти весь марафет.

Или не сумел?

Балазар думал. Старался разобраться.

Эдди вышел из аэровокзала через два часа после того, как его сняли с самолета. Этого слишком мало для того, чтобы они успели его расколоть, но слишком много для того, чтобы они пришли к выводу, что он в порядке, что какая-то стюардесса что-то напутала.

Он думал. Старался разобраться.

Брат Эдди уже стал зомби, но Эдди еще в полном уме, Эдди еще крепкий парень. Он бы не раскололся всего за два часа... разве что из-за брата. Из-за чего-то, связанного с его братом.

И все же — почему не на Сорок третьей улице? Почему не было таможенного фургона (они выглядели совсем, как почтовые, только задние окошки затянуты проволочной сеткой)? Потому что Эдди действительно что-то сделал с товаром? Скинул? Спрятал?

В самолете спрятать товар невозможно.

И скинуть невозможно.

Конечно, невозможно и бежать из некоторых тюрем, ограбить некоторые банки, не получить срок по некоторым делам. Но некоторым людям это удается. Вон, Гарри Гудини сбрасывал смирительные рубашки, выбирался из запертых сундуков, из банковских сейфов, мать его... Но Эдди Дийн — не Гудини.

Так ли?

Он мог приказать убить Генри у них дома, мог велеть замочить Эдди на Лонг-Айлендской Эстакаде или — еще лучше — тоже у них дома, чтобы менты подумали, что два торчка доторчались до того, что забыли, что они братья, и ухлопали друг друга. Но тогда без ответов осталось бы слишком много вопросов.

Ответы он получит здесь, подготовится к будущим неприятностям или просто утолит свое любопытство, в зависимости от того, какими окажутся эти ответы, а потом убьет их обоих.

Несколькими ответами больше, двумя торчками меньше. Хоть какая-то выгода, а потеря невелика.

В другой комнате снова пришла очередь Генри отвечать на вопросы викторины.

— Ладно, Генри, — сказал Джордж Бьонди. — Будь внимателен, вопрос трудный. Раздел «География». Вопрос такой: как называется единственный материк, на котором водятся кенгуру?

Пауза. Все замерли.

— Джонни Кэш, — сказал Генри, и все заржали, как жеребцы, во все горло.

Стены задрожали.

Чими напрягся, ожидая, что карточный домик Балазара (который стал бы башней, если бы такова была воля Бога или слепых сил, что от Его имени правят вселенной) сейчас рухнет.

Карты слегка задрожали. Если хоть одна упадет, упадут и остальные.

Ни одна не упала.

Балазар поднял глаза и улыбнулся Чими.

— Piasan, — сказал он. — Il Dio est bono; il Dio est malo; tempo est poco-poco; tu est un grande peeparollo. [Земляк... Бог добр; Бог зол; времени мало-мало; а ты — дурачина (искаж. итал.)].

Чими улыбнулся.

— Si, signore, — сказал он. — Io grande peeparollo; Io va fanculo por tu [Да, синьор... Я дурачина, я умру за тебя (искаж. итал.)].

— None va fanculo, catzarro, — ответил Балазар. — Эдди Дийн va fanculo. [Тебе не надо умирать, балда... Умрет Эдди Дийн (искаж. итал.)]. — Он ласково улыбнулся и начал строить второй этаж своей карточной башни.

В тот момент, когда фургон остановился возле заведения Балазара, Коль Винсент смотрел на Эдди. Он увидел такое, чего не могло быть. Он попытался заговорить, но не смог. Язык у него прилип к небу, и он смог только сдавленно заурчать.

Он увидел, как глаза Эдди из карих стали голубыми.

На этот раз Роланд не принимал сознательного решения выдвинуться вперед. Он просто метнулся, не задумываясь, так же непроизвольно, как вскочил бы со стула и выхватил бы револьверы, если бы в комнату, где он сидел, кто-то ворвался.

«Башня! — яростно думал он. — Это Башня, боже мой, Башня, она в небе! Я вижу в небе Башню, начертанную красными огненными линиями! Катберт! Алан! Десмонд! Баш...»

Но в этот раз он почувствовал, что Эдди борется — не с ним, а старается заговорить с ним, отчаянно пытается объяснить ему что-то.

Стрелок отступил назад и стал слушать — слушать так же отчаянно, как над морским берегом, на неизвестном расстоянии отсюда по пространству и времени, его лишенное сознания тело подергивалось и вздрагивало подобно телу человека, во сне вознесшегося на высочайшую вершину экстаза или погрузившегося в глубочайшую бездну ужаса.

Вывеска! — вопил Эдди в глубину своего собственного сознания... и сознания того, другого.

Это вывеска, просто неоновая вывеска. Я не знаю, про какую башню думаешь ты, но это обыкновенный бар, заведение Балазара. Он назвал его «Падающая Башня» в честь ой, что в Пизе! Это просто вывеска, и предполагается, что на ней изображена сраная Пизанская Башня! Уймись! Успокойся! Хочешь, чтобы нас убили еще до того, как у нас будет шанс врезать им?

Пийса? — с сомнением переспросил стрелок и посмотрел еще раз.

Вывеска. Да, правильно, теперь он видит. Это не Башня, но Дорожный Знак. Он наклонен вбок, и на нем множество закругленных зубцов, и он дивен, но и только. Теперь стрелок разглядел, что знак сделан из трубок, каким-то образом заполненных ярко горящим красным болотным огнем. В некоторых местах его было как будто меньше, чем в других, и в этих местах линии пульсировали и трещали.

Теперь под башней Роланд увидел буквы, сделанные из гнутых трубок; в большинстве своем это были Великие Буквы. Он сумел прочесть «БАШНЯ» и... да, «ПАДАЮЩАЯ». Первое слово состояло из трех букв, первая была Б, вторая А, а третью он видел впервые.

Бал? — спросил он Эдди.

БАР. Неважно. Ты видишь, что это просто вывеска? Вот это — важно!

Вижу, — ответил стрелок; ему хотелось бы знать, действительно ли невольник верит в то, что говорит, или говорит это лишь для того, чтобы ситуация не вышла из-под контроля, как, казалось, вот-вот случится с башней, изображенной этими огненными линиями; хотелось бы знать, верит ли Эдди, что хоть какой-нибудь знак может не иметь значения.

Ну, так уймись! Слышишь? Уймись!

Спокойно? — спросил Роланд, и оба почувствовали, как Роланд в сознании у Эдди чуть улыбнулся.

Вот именно, спокойно. Теперь я буду действовать сам.

Да. Ладно. — Он позволит Эдди действовать самому.

Пока. До поры до времени.

Колю Винсенту наконец удалось отлепить язык от неба.

— Джек. — Голос у него был совершенно сдавленный.

Андолини выключил мотор и раздраженно посмотрел на Коля.

— У него глаза...

— Что у него с глазами?

— Да, что у меня с глазами? — спросил Эдди.

Коль посмотрел на него.

Солнце зашло, не оставив в воздухе ничего, кроме золы дня, но было еще достаточно светло, чтобы Коль мог увидеть: глаза у Эдди опять были карие.

Если они вообще когда-нибудь были другими.

Ты же видел, — настаивала часть его сознания, но действительно ли он видел? Колю было двадцать четыре года, и за последние двадцать из них никто по-настоящему не считал, что ему можно доверять. Иногда он бывал полезен. Почти всегда — послушен... если его держать на коротком поводке. Но доверять ему? Нет. Постепенно Коль и сам поверил в это.

— Ничего, — пробормотал он.

— Тогда пошли, — сказал Андолини.

Они вышли из фургона с рекламой пиццы. Между Андолини (справа от них) и Винсентом (слева от них) Эдди и стрелок вошли в «Падающую Башню».

5. РАЗБОРКА С ПЕРЕСТРЕЛКОЙ

В одном блюзе двадцатых годов Билли Холлидэй, которой впоследствии суждено было самой открыть для себя эту истину, пела: «Пригрозил мне доктор: детка, если сразу не завяжешь и еще хоть раз ширнешься, тут же ты в могилу ляжешь». Так случилось и с Генри Дийном — ровно за пять минут до того, как фургон затормозил возле «Падающей Башни» и его брата завели в нее.

Вопросы Генри задавал Джордж Бьонди (которому его друзья дали прозвище «Большой Джордж», а враги — «Большой нос»), потому что сидел справа от Генри. Сейчас Генри сидел над игровой доской, клевал носом и сонно моргал. Трюкач Постино вложил ему в руку кубик; рука у Генри уже была того пыльного оттенка, какой приобретают конечности наркоманов после длительного употребления героина, того пыльного оттенка, какой предшествует гангрене.

— Твоя очередь, Генри, — сказал Трюкач. Генри разжал пальцы и выпустил кубик, но продолжал смотреть в пространство и, как видно, не собирался передвинуть свою фишку. Это сделал за него Джимми Аспио.

— Гляди-ка, Генри, — сказал он. — Имеешь шанс отхватить кусок пирога.

— Кусочек с коровий носочек, — сонно сказал Генри и огляделся вокруг, словно просыпаясь. — Где Эдди?

— Скоро должен приехать, — успокоил его Трюкач. — Ты давай играй.

— А как насчет дознячка?

— Играй давай.

— Ладно, ладно, не дави на меня.

— Не дави на него, — сказал Джимми Кевин Блейк.

— Ладно, не буду, — ответил Джимми.

— Ну, ты готов? — спросил Джордж Бьонди и выразительно подмигнул остальным, когда подбородок Генри плавно опустился на грудь, а потом снова медленно поднялся: это напоминало мокрое бревно, которое еще не настолько намокло, чтобы утонуть окончательно.

— Ага, — сказал Генри. — Давай его сюда.

— Давай его сюда! — радостно заорал Джимми Аспио.

— Точно, давай его, суку, сюда! — согласился Трюкач, и все «джентльмены» заржали (в соседней комнате постройка Балазара, в которой было уже три этажа, опять задрожала, но не упала).

— Ладно, слушай внимательно, — сказал Джордж и снова подмигнул. Хотя Генри достался раздел «Спорт», Джордж объявил, что ему выпало «Искусство и развлечения». — У какого популярного певца в стиле «кантри» и «вестерн» были хиты «Мальчик по имени Сью», «Блюз Фолсомской тюрьмы» и другие офигенные песни?

Кевин Блейк, который — можете себе представить? — действительно умел сосчитать, сколько будет семь плюс девять (если дать ему для этого покерные фишки), взвыл от смеха, хлопая себя по коленям, и чуть не сшиб игровую доску.

Джордж, продолжая притворяться, что читает по карточке, которую держал в руке, продолжал:

— Этот популярный певец известен также, как Человек в Черном. Его имя звучит так же, как место, куда ходят пописать [Джон (john) — «сортир» (амер. слэнг)], а фамилия — как название того, что лежит у человека в бумажнике [Кэш (cash) — наличные (амер. или англ. разгов.)], если, конечно, он не какой-нибудь долбаный торчок.

Последовала долгая пауза. Все ждали молча, затаив дыхание.

Наконец Генри сказал: «Уолтер Бреннан».

Взрыв хохота. Джимми Аспио повис на Кевине Блейке. Кевин несколько раз толкнул Джимми кулаком в плечо. В кабинете Балазара карточный домик, уже начавший превращаться в карточную башню, вновь задрожал.

— Тихо, вы! — заорал Чими. — Иль Боссо строит!

Они сразу утихли.

— Правильно, — сказал Джордж. — На этот раз ты отгадал, Генри. Вопросик был еще тот, но ты справился.

— А я всегда справляюсь, — сказал Генри. — В конце концов я всегда беру верх, маманю вашу туда и обратно. Так как насчет дознячка?

— Отличная мысль! — сказал Джордж, достал у себя из-за спины коробку от сигар и вынул из нее шприц. Он воткнул иглу в руку Генри повыше локтя, в покрытую рубцами от уколов вену, и этот дозняк стал для Генри последним.

Снаружи вид у фургона с рекламой пиццы был задрипанный, но под дорожной грязью и краской из баллончика скрывались чудеса техники, каким позавидовали бы и ребята из УБН. Как не раз говорил Балазар, этих сволочей не переплюнешь, если оснащение у тебя хуже ихнего. Оснащение это стоило очень дорого, но у Балазара и его людей было одно преимущество: то, что УБН покупало по невероятно завышенным ценам, они просто-напросто крали. По всему Восточному Побережью можно было найти служащих компаний, выпускающих электронику, готовых по дешевке продать сверхсекретную продукцию. Эти каццарони (Джек Андолини называл их «Марафетчиками Силиконовой Долины») буквально навязывали свой товар.

Под щитком управления имелись: полицейская рация; СВЧ-глушитель полицейских радаров; широкодиапазонный высокочастотный радиоприемник; широкодиапазонный глушитель радиопередач; импульсный антипеленгатор, благодаря которому у всякого, кто попытался бы запеленговать фургон общепринятыми триангуляционными методами, получилось бы, что он (фургон) находится одновременно в штате Коннектикут, в Гарлеме и в Монокском заливе; радиотелефон... и маленькая красная кнопка, которую Андолини нажал сразу же, как только Эдди Дийн вышел из машины.

В комнате Балазара раздался один короткий звонок внутреннего телефона.

— Это они, — сказал он. — Клаудио, впусти их. Чими, скажи всем, чтобы заткнулись. Насколько известно Эдди Дийну, со мной нет никого, кроме тебя и Клаудио. Чими, ступай в кладовую с остальными джентльменами.

Они пошли, Чими повернул налево, Клаудио — направо.

Балазар спокойно начал строить очередной этаж своего здания.

Теперь я сам, ты только не встревай, — повторил Эдди, когда Клаудио открыл дверь.

Хорошо, — ответил стрелок, но остался настороже, готовый мгновенно выдвинуться вперед, как только сочтет это необходимым.

Загремели ключи. Стрелку ударили в нос запахи — справа от него несло застарелым потом от Коля Винсента, слева от него от Джека Андолини шел резкий, почти противный запах лосьона после бритья, а когда они вошли в полумрак бара, он ощутил кислый запах пива.

Роланду был знаком только запах пива. Это был не какой-нибудь занюханный салун с посыпанным опилками полом и положенными на козлы досками вместо стойки; по мнению стрелка, этот бар был настолько далек от заведения Шеба в Талле, насколько это вообще возможно. Всюду мягко поблескивало стекло, в одной этой комнате было больше стекла, чем он видел за все годы, еще с детства, когда начали отказывать линии доставки, отчасти из-за налетов мятежного войска Фарсонского Доброго Человека, но главным образом, как он думал, просто потому, что мир сдвинулся с места и продолжал двигаться. Фарсон был симптомом, а не причиной этого гигантского сдвига.

Он видел их отражения повсюду — на стенах, в облицованной стеклом стойке и в длинном зеркале позади нее; он даже мог различить их искривленные миниатюрные отражения в изящных винных бокалах, имевших форму колокола, перевернутых и повешенных над стойкой... бокалах, роскошных и хрупких, как праздничные украшения.

В одном углу была структура, изваянная из огней, что вспыхивали и менялись, вспыхивали и менялись. Золотые переходили в зеленые; зеленые — в желтые; желтые — в красные; красные — опять в золотые. Через всю скульптуру Великими Буквами было написано слово, которое он мог прочесть, но которое ему ничего не говорило: РОКОЛА.

Ну, неважно. Здесь у него есть дело. Он не турист; он не должен позволять себе роскошь вести себя, как турист, какими бы дивными и странными ни были все эти вещи.

Впустивший их человек явно приходился братом тому человеку, который правил тем, что Эдди назвал фургоном («что-то вроде фуры», — подумал Роланд), хотя был гораздо выше ростом и лет на пять моложе. В кобуре под мышкой у него был револьвер.

— Где Генри? — спросил Эдди. — Я хочу видеть Генри. — Он громко позвал: — Генри! Эй, Генри!

Ответа не было; лишь тишина, в которой висевшие над стойкой бокалы, казалось, вздрагивали, издавая звон, такой тихий и нежный, что человеческому уху было его не уловить.

— Сначала с тобой хотел бы поговорить мистер Балазар.

Эдди спросил:

— Он у вас где-то валяется связанный и с кляпом во рту, да? — но, не успел Клаудио и рта раскрыть для ответа, Эдди рассмеялся: — да нет, что я — вы его просто накачали до полной отключки, и все. Чего вам возиться с веревками да кляпами, если для того, чтобы Генри не вякнул, его достаточно просто ширнуть? Ладушки. Ведите меня к Балазару, надо ж от этого отделаться.

Стрелок посмотрел на карточную башню на столе у Балазара и подумал: «Еще один знак».

Балазару не пришлось поднимать взгляд — карточная башня стала уже слишком высока для этого; он посмотрел поверх нее. Выражение лица у него было довольное и ласковое.

— Эдди, — сказал он. — Рад тебя видеть, сынок. Я слышал, у тебя в аэропорту были какие-то неприятности.

— Я вам не сын, — отрезал Эдди.

Балазар сделал рукой слабый жест — одновременно комичный, грустный и не вызывавший доверия. «Ты делаешь мне больно, Эдди, — говорил этот жест, — ты делаешь мне больно, когда говоришь такое».

— Давайте короче, — сказал Эдди. — Вы сами понимаете, что все сводится к одному из двух: либо я у ФБРовцев на веревочке, либо им пришлось меня отпустить. Вы сами понимаете, что всего за два часа им не удалось меня вымотать и расколоть. А если бы удалось, то я был бы на Сорок Третьей улице и отвечал бы на вопросы, иногда прерываясь, чтобы блевануть в умывальник, и это вы тоже понимаете.

— Так все-таки, Эдди, на веревочке ты у них или нет?

— Нет. Им пришлось меня отпустить. Они идут за мной, но я их не веду.

— Значит, ты скинул товар, — сказал Балазар. — Это захватывающе. Ты должен поделиться со мной — как это человек может скинуть два фунта марафета, находясь в реактивном самолете. Это были бы очень полезные сведения. Это — как детектив про запертую комнату.

— Я его не скинул, — сказал Эдди, — но при мне его больше тоже нет.

— А у кого же он есть? — спросил Клаудио и покраснел, встретившись глазами с угрюмо-яростным взглядом брата.

— А у него, — с улыбкой ответил Эдди и показал на Энрико Балазара за карточной башней. — Товар уже доставлен.

В первый раз с того момента, как Эдди ввели в кабинет, лицо Балазара выразило непритворное чувство: удивление. Потом это выражение исчезло. Он вежливо улыбнулся.

— Да, — сказал он. — В какое-то место, которое будет названо позже, после того, как ты получишь своего брата и свой товар и отбудешь. Может быть, в Исландию. Такой предполагается расклад?

— Нет, — возразил Эдди. — Вы не понимаете. Он здесь. Доставка прямо на дом. Точно, как мы договаривались. Потому что даже в наши дни, даже в наш век, есть еще отдельные люди, которые по-прежнему считают, что как с самого начала договаривались, так сделку и надо выполнять. Невероятно — я, конечно, понимаю — но факт.

Все изумленно уставились на него.

Как у меня получается, Роланд? — спросил Эдди.

По-моему, очень хорошо. Но не давай этому Балазару придти в себя, Эдди. Я думаю, он опасен.

Ах, ты так думаешь? Ну, тут я тебя обскакал, друг. Я знаю, что он опасен. Очень. До хуя опасен.

Он опять посмотрел на Балазара и чуть заметно подмигнул ему.

— Вот поэтому сейчас о ФБРовцах надо беспокоиться вам, а не мне. Если они сюда заявятся с ордером на обыск, мистер Балазар, то может оказаться, что вы еще и ноги не раздвинули, а вас уже ебут.

Балазар взял из колоды две карты. Вдруг руки у него затряслись, и он положил их. Это длилось не более мгновения, но Роланд это увидел, и Эдди тоже увидел это. На лице Балазара мелькнуло выражение неуверенности — может быть, даже секундного страха.

— Следи за своим языком, Эдди, когда говоришь со мной. Выбирай выражения и не забывай, пожалуйста, что у меня не хватает ни времени, ни терпения, чтобы слушать вздор.

У Джека Андолини сделался встревоженный вид.

— Он с ними сговорился, мистер Балазар! Этот маленький засранец отдал им марафет, а они сделали вид, что допрашивают его там, а сами в это время подбросили товар сюда!

— Сюда никто не приходил, — сказал Балазар. — Никто не мог и близко подойти, Джек, и ты это знаешь. Сигнализация срабатывает, если голубь на крыше пернет.

— Но...

— Даже если бы они и сумели как-нибудь нас подставить, у нас в их конторе столько людей, что мы бы за три дня от их доказательств камня на камне бы не оставили. Мы бы знали, кто, когда и как.

Балазар снова перевел взгляд на Эдди.

— Эдди, — сказал он, — даю тебе пятнадцать секунд на то, чтобы ты перестал городить херню. А потом я позову сюда Чими Дретто, чтобы он начал делать тебе больно. А после того, как он некоторое время позанимается тобой, он уйдет, и ты услышишь, как в одной из соседних комнат он делает больно твоему брату.

Эдди замер.

Спокойно, — пробормотал стрелок и подумал: «Чтобы причинить ему боль, достаточно просто назвать имя его брата — и все. Все равно, что ткнуть палкой в открытую язву».

— Сейчас я войду в ваш туалет, — сказал Эдди. Он показал на дверь в дальнем левом углу комнаты, такую незаметную, что ее почти невозможно было отличить от панелей, которыми были обшиты стены. — Войду один. А потом я выйду оттуда к вам сюда с фунтом вашего кокаина. С половиной партии. Вы его проверите. Потом вы приведете Генри сюда, чтобы я мог на него посмотреть. Когда я увижу его, увижу, что с ним все в порядке, вы отдадите ему наш товар, и он поедет домой с одним из ваших джентльменов. Пока он будет ехать, я и... — он чуть не сказал Роланд — ...я и остальные ребята, которых, как мы с вами оба знаем, вы сюда нагнали, можем смотреть, как вы строите эту штуку. Когда Генри будет дома и в безопасности — а это значит, что никто не будет над ним стоять, тыча ему в ухо пистолет, — он позвонит сюда и скажет одно слово. Так мы с ним сговорились перед моим отъездом. На всякий случай.

Стрелок проверил сознание Эдди, чтобы выяснить, правда это или блеф. Это была правда, по крайней мере, Эдди считал именно так. Роланд видел: Эдди действительно верит, что Генри раньше умрет, чем скажет это слово лживо. Стрелок не был в этом так уверен.

— Ты, видно, думаешь, что я до сих пор верю в Санта-Клауса, — сказал Балазар.

— Нет, я знаю, что не верите.

— Клаудио. Обыщи его. Джек, а ты пойди и обыщи туалет. Весь.

— Там есть какое-нибудь место, про которое я не знаю? — спросил Андолини.

Балазар довольно долго молчал, внимательно разглядывая Андолини темно-карими глазами.

— На задней стенке шкафчика с лекарствами есть маленькая панель, — сказал он. — Я там держу кое-какие личные вещи. Там слишком мало места, чтобы спрятать фунт наркоты, но ты там, пожалуй, все же проверь.

Джек вышел, и, когда он входил в маленький нужник, стрелок увидел вспышку того же ледяного белого света, какой освещал нужник в воздушном вагоне. Потом дверь закрылась.

Взгляд Балазара снова метнулся к Эдди.

— Зачем тебе так нелепо врать? — почти скорбно спросил он. — Я думал, ты сообразительный парень.

— Посмотрите мне в лицо, — спокойно сказал Эдди, — и скажите мне, что я вру.

Балазар сделал, как просил Эдди. Он смотрел долго. Потом отвернулся, засунув руки в карманы так глубоко, что стало чуть-чуть заметно раздвоение на его крестьянской заднице. Поза его выражала скорбь — скорбь о блудном сыне; но прежде, чем он отвернулся, Роланд успел заметить на его лице выражение, не имевшее со скорбью ничего общего. То, что Балазар прочел в лице Эдди, вызывало у него не скорбь, а глубокую тревогу.

— Раздевайся, — сказал Клаудио и наставил на Эдди пистолет.

Эдди начал раздеваться.

«Не нравится мне это», — думал Балазар, ожидая возвращения Джека Андолини из туалета. Ему было страшно, он вдруг вспотел не только подмышками или в промежности — в этих местах он потел всегда, даже зимой, даже в самый собачий холод, — а весь. Когда Эдди уехал, он выглядел, как торчок — сообразительный торчок, но все равно торчок, которого можно подцепить за яйца рыболовным крючком наркоты и вести, куда захочешь — а когда вернулся, стал выглядеть, как... вот именно, как? Как будто он каким-то образом вырос, как-то изменился.

Точно кто-то влил в него две кварты свеженькой смелости.

Да. В этом все дело. И в наркоте. В этой блядской наркоте. Джек переворачивал вверх дном весь туалет, а Клаудио обыскивал Эдди со злобной дотошностью вертухая-садиста; Эдди стоял совершенно равнодушно (Балазар никогда раньше не поверил бы, что он или любой другой наркаш способен на такое равнодушие), даже, когда Клаудио четыре раза харкнул себе на левую ладонь, растер смешанные с соплями слюни по всей правой кисти и засунул ее Эдди в зад до самого запястья и даже на дюйм-другой подальше.

Наркоты не оказалось ни в туалете Балазара, ни на Эдди, ни в Эдди. Наркоты не было ни в одежде Эдди, ни в его куртке, ни в дорожной сумке. Значит, все это был всего лишь блеф.

Посмотрите мне в лицо и скажите мне, что я вру.

И он посмотрел. То, что он увидел, его встревожило. Он увидел, что Эдди Дийн абсолютно уверен в себе: он действительно намеревался войти в туалет и выйти из него с половиной товара Балазара.

Балазар и сам почти поверил в это.

Клаудио Андолини вытащил руку из задницы Эдди Дийна. При этом раздался хлюпающий звук. Рот Клаудио искривился, как леска, на которой завязаны узлы.

— Давай быстрей, Джек, у меня вся рука в говне этого торчка! — сердито крикнул Клаудио.

— Если б я знал, Клаудио, что ты там будешь раскопками заниматься, я б, когда в последний раз посрал, подтерся бы ножкой от стула, — незлобиво сказал Эдди. — И у тебя бы рука была чище, и мне бы не казалось, будто меня только что изнасиловал бык Фердинанд.

— Джек!

— Пойди спустись в кухню и приведи себя в порядок, — спокойно сказал Балазар. — Нам с Эдди незачем делать друг другу неприятности. Ведь так, Эдди?

— Так, — ответил Эдди.

— Да он все ж таки чистый, — сказал Клаудио. — Ну, то есть не чистый, а нету у него там ничего. Уж будьте уверочки. — Он вышел, вытянув правую руку перед собой, будто нес дохлую рыбу.

Эдди спокойно смотрел на Балазара, а Балазар опять вспоминал Гарри Гудини, и Блэкстона, и Дуга Хеннинга, и Дэвида Копперфилда. Вот, говорят, что представления фокусников так же отжили свой век, как водевиль, но Хеннинг-то — суперзвезда, а этот пацан Копперфилд в тот единственный раз, когда Балазару удалось попасть на его представление в Атлантик-Сити, буквально свел публику с ума. Балазар любил фокусников с тех самых пор, как в первый раз увидел такое представление; прямо на улице какой-то человек показывал карточные фокусы, и платили ему мелочью из кармана. А что всегда делают фокусники в первую очередь, прежде, чем достать что-нибудь неизвестно откуда — что-нибудь такое, от чего вся публика сперва ахнет, а потом зааплодирует? Вот что они делают: они приглашают кого-нибудь из публики подойти и убедиться, что место, откуда должен появиться кролик, или голубь, или гологрудая красотка, или еще что-нибудь, совершенно пустое. Больше того — убедиться, что положить туда что бы то ни было невозможно.

«Я думаю, может, он так и сделал. Не знаю, как, и мне это без разницы. Единственное, что я знаю точно — это то, что все это мне совершенно не нравится, черт возьми, вот нисколечко не нравится».

Джорджу Бьонди тоже кое-что не нравилось. И он очень сильно подозревал, что и Эдди Дийн не будет от этого в восторге.

Джордж был почти уверен, что в какой-то момент после того, как Чими вошел в бухгалтерию и погасил свет, Генри умер. Умер тихо, без шума, без суеты, без шухера. Просто отлетел, как семечко одуванчика, унесенное легким ветерком. Джордж подумал, что, может, это случилось как раз, когда Клаудио ушел в кухню отмывать испачканную дерьмом руку.

— Генри? — прошептал Джордж, придвинув губы так близко к уху Генри, что получилось, как когда сидишь с девочкой в кино и целуешь ее в ухо, и это выходило совсем, на фиг, неприлично, особенно, как подумаешь, что чувак-то, наверно, помер — вроде бы от наркофобии или как там ее, эту хуевину — но он же должен выяснить, а стенка между этой комнатой и кабинетом Балазара тонкая.

— Что случилось, Джордж? — спросил Трюкач Постино.

— Заткнитесь, — сказал Чими тихим и басовитым, как звук мотора грузовика, голосом.

Они заткнулись.

Джордж сунул руку под рубашку Генри. Ох, ему становилось все хуже и хуже. Ему не переставало представляться, что он сидит с девчонкой в кино. Вот теперь он ее щупает, только это не она, а он, это уж не просто наркофобия, а голубая наркофобия, еби ее мать, и тощая торчковая грудь Генри не поднималась и не опускалась, в ней ничего не делало «тук-тук-тук». Для Генри Дийна все было кончено, для Генри Дийна бейсбольный матч завершился на седьмой подаче. Ни хрена не тикало, кроме его часов.

Джордж придвинулся к Чими Дретто, ощутив окружавший его густой запах Исторической Родины — запах оливкового масла и чеснока — и прошептал:

— По-моему, у нас тут проблема.

Джек вышел из туалета.

— Нету там никакой наркоты, — сказал он, разглядывая Эдди своими невыразительными глазами. — А если ты подумывал насчет окна, так ты про это забудь. Там стальная сетка, проволока десятый номер.

— Насчет окна я не думал, а товар там, — спокойно ответил Эдди. — Ты просто не знаешь, где искать.

— Я извиняюсь, мистер Балазар, — сказал Андолини, — но с меня его нахальства уж вроде бы хватит.

Балазар внимательно смотрел на Эдди; Андолини он словно и не слышал. Он очень глубоко задумался.

Задумался о фокусниках, которые вытаскивают из шляп кроликов.

Вот ты вызываешь кого-нибудь из публики проверить и подтвердить, что шляпа пустая. А что еще никогда не меняется? Конечно же — то, что никто, кроме фокусника, в шляпу не заглядывает. А что сказал этот мальчишка? «Сейчас я войду в ваш туалет. Войду один».

Обычно ему совершенно не хотелось знать, как делается тот или иной фокус; когда знаешь, все удовольствие пропадает.

Обычно.

Но сейчас он дождаться не мог, когда, наконец, сможет узнать, как делается этот фокус.

— Прекрасно, — сказал он Эдди. — Если он там, иди сходи за ним. Вот так, как есть. С голой жопой.

— Ладно, — сказал Эдди и направился к двери туалета.

— Но не один, — добавил Балазар. Эдди сразу же остановился, тело его напряглось, точно Балазар всадил в него невидимый гарпун, и при виде этого на сердце у Балазара потеплело. В первый раз что-то вышло не по мальчишкиному плану. — С тобой пойдет Джек.

— Нет, — сразу же ответил Эдди. — Я так не...

— Эдди, — мягко проговорил Балазар. — Мне не говорят «нет». Это единственное, чего мне не говорили никогда.

Ничего, — сказал стрелок. — Пусть идет.

Но... но...

Эдди едва сдерживался, чтобы не сорваться, не начать требовать, просить, скандалить. Дело было не только в этом неожиданном крученом мяче, который подал ему Балазар; дело было в тревоге за Генри, которая непрерывно грызла его, и в потребности вмазаться, постепенно бравшей верх над всем остальным.

Пусть идет. Все будет в порядке. Слушай:

И Эдди стал слушать.

Балазар смотрел, как стоит Эдди — стройный голый парень, еще почти без свойственной наркоманам сутулости, голова чуть наклонена на бок — и уверенности в себе у него поубавилось. Казалось, мальчишка слушает какой-то голос, слышный только ему одному.

О том же подумал и Андолини, только по-другому: «Что это? Он похож на собачонку со старых патефонных пластинок!» [эмблема фирмы грамзаписи, на которой изображен пес, сидящий у граммофона]

Коль тогда хотел сказать ему что-то насчет глаз Эдди. Вдруг Андолини пожалел, что не стал слушать.

«Поздно теперь жалеть», — подумал он.

Если Эдди и слушал голоса у себя в голове, то сейчас либо они перестали говорить, либо он перестал обращать внимание.

— Лады, — сказал он. — Пошли со мной, Джек. Я тебе покажу Восьмое Чудо Света. — Он коротко, ослепительно улыбнулся, и эта улыбка нимало не понравилась ни Джеку Андолини, ни Энрико Балазару.

— Ну да? — Андолини вытащил пистолет из двустворчатой кобуры, висевшей у него на поясе сзади. — Удивить меня, стал-быть, стараешься?

Улыбка Эдди стала еще шире.

— Ага. Я так полагаю, что ты, в натуре, офигеешь.

Андолини вслед за Эдди вошел в туалет. Он держал пистолет наготове, потому что трусил.

— Закрой дверь, — сказал Эдди.

— Хуй тебе, — ответил Андолини.

— Либо закрой дверь, либо не получишь товара, — сказал Эдди.

— Хуй тебе, — повторил Андолини. Сейчас, когда ему было страшновато, когда он чувствовал, что происходит нечто ему непонятное, вид у него был более сообразительный, чем в грузовике.

— Он не хочет закрывать дверь, — крикнул Эдди Балазару. — Я, пожалуй, плюну на это дело, мистер Балазар. У вас же здесь, небось, полдюжины чуваков напихано, да у каждого не меньше, как по четыре пушки, а вы оба обсераетесь из-за пацана в сортире. Да еще торчка.

— Закрой эту блядскую дверь, Джек! — крикнул Балазар.

— Вот так-то, — сказал Эдди, когда Джек Андолини пинком захлопнул за собой дверь. — Мужик ты или м...

— Ох, и надоел мне этот говнюк, — сказал Андолини в пространство. Он поднял пистолет рукояткой вперед, чтобы ударить Эдди по зубам.

И замер с занесенным пистолетом; злобный оскал исчез, губы обмякли, челюсть отвисла; он увидел то, что в фургоне видел Коль Винесент.

Глаза Эдди из карих стали голубыми.

— Хватай его! — сказал тихий, повелительный голос, и, хотя этот голос исходил изо рта Эдди, он не принадлежал Эдди.

«Шизанулся, — подумал Джек Андолини. — Шизанулся к едрене бабушке, шиза...»

Но эта мысль оборвалась, когда Эдди схватил его за плечи, потому что когда он это сделал, Джек увидел, что примерно в трех футах позади Эдди в реальности вдруг появилась дыра.

Нет, не дыра. Для дыры у нее были слишком правильные пропорции.

Это была дверь.

«Радуйся, Мария, благодати полная», — тихо не то выдохнул, не то простонал Джек. Через этот дверной проем, повисший в пространстве позади персонального душа Балазара, примерно в футе над полом, ему был виден темный песчаный берег, косо уходивший вниз, к разбивавшимся с грохотом волнам. На этом берегу копошились какие-то твари. Твари.

Он все-таки ударил Эдди рукояткой пистолета, но удар, который должен был обломать Эдди все передние зубы на уровне десен, лишь расплющил и чуть-чуть раскровянил ему губы. Из Джека вытекла вся сила. Джек чувствовал, как она вытекает.

— Я же тебе говорил, что ты, в натуре, офигеешь, — сказал Эдди и дернул его. В последний момент Джек понял, что Эдди собирается сделать, и начал отбиваться, как дикая кошка, но было поздно — они уже падали сквозь эту дверь назад, и гул ночного Нью-Йорка, такой знакомый и непрерывный, что человек замечал его только тогда, когда он прекращался, сменился скрежетом волн и скрипучими, вопросительными голосами чудовищ, ползавших по берегу взад-вперед.

«Нам придется двигаться очень быстро, а то окажется, что нас поливают подливкой в горячей духовке», — предупредил Роланд, и Эдди не сомневался: стрелок имел в виду, что, если они не будут все делать со скоростью света или около того, то спекутся. И он ему верил. Если говорить о крутых мужиках, то Джек Андолини — как Дуайт Гуден: его можно заставить пошатнуться; может быть, его можно и вогнать в шок; но если дать ему увернуться в первых раундах, то позже он тебя растопчет.

— Левая рука! — завопил на себя Роланд, когда они прошли на ту сторону, и он отделился от Эдди. — Помни! Левая рука! Левая рука!

Он увидел, как Эдди и Джек пятятся, спотыкаются, падают, а потом катятся вниз по каменистой осыпи, окаймляющей берег, и Эдди силится отобрать у Андолини пистолет, который тот держит в руке.

Роланд едва успел подумать, какая будет колоссальная шуточка, если он вернется в свой мир только для того, чтобы обнаружить, что, пока его не было, его тело умерло... а потом стало слишком поздно. Поздно гадать, поздно возвращаться.

Андолини не понял, что произошло. Часть его была уверена, что он сошел с ума, часть была уверена, что Эдди подсунул ему какой-то наркотик или пшикнул в него газом или сделал еще что-то такое, часть полагала, что мстительному Богу его детства наконец надоели его грехи, и Он выдернул его из знакомого мира и посадил сюда, в это унылое чистилище.

Потом он увидел дверь, она была открыта, из нее на каменистую землю падал веер белого света — света из Балазарова сортира — и понял, что есть возможность вернуться назад. Андолини был прежде всего практичным человеком. Ломать себе голову над тем, что все это означает, он был намерен потом. А вот сейчас он собирался прикончить этого гада и вернуться через эту дверь назад.

Силы, ушедшие из него от этого испуганного изумления, теперь прихлынули обратно. Он понял, что Эдди старается вырвать у него из руки его маленький, но очень эффективный кольт-«Кобру», и ему это уже почти удалось. Джек, выругавшись, рванул пистолет обратно, попытался прицелиться, и Эдди тут же снова схватил его за руку.

Андолини уперся коленом в самую большую мышцу на правом бедре Эдди (дорогой габардин брюк Андолини теперь был заляпан грязным серым приморским песком), и Эдди пронзительно вскрикнул.

— Роланд! — закричал он. — Помоги мне! Ради Бога, помоги же!

Андолини обернулся, и от того, что он увидел, опять потерял душевное равновесие. Там стоял мужик... только он был больше похож на привидение, чем на мужика. И не то, чтобы на Каспера, Дружелюбное Привидение. Его шатало, его бледное, осунувшееся лицо заросло щетиной. Рубаха у него была изодрана, и ветер отдувал лохмотья назад, обнажая торчащие, как у умирающего от голода, ребра. Правая кисть у него была обмотана грязной тряпкой. Он казался больным, даже умирающим, но все же достаточно крутым, чтобы Андолини почувствовал себя яйцом всмятку.

И на поясе у этого мужика была пара револьверов.

Они выглядели старыми, как мир, такими старыми, будто их сперли в одном из музеев Дикого Запада... но тем не менее, это были револьверы, и, может, они даже и работали, и Андолини вдруг понял, что ему придется сейчас же разделаться с этим бледным... если только он и вправду не привидение, а если привидение, тогда тут уж вообще ни хера не поделаешь, так что нечего и беспокоиться.

Андолини выпустил Эдди и резким движением откатился направо, почти не почувствовав, что острый камень разорвал его пятисотдолларовый пиджак спортивного покроя. В тот же миг стрелок левой рукой выхватил револьвер, и сделал это, как всегда — здоровый или больной, проснувшись или в полусне — с быстротой голубой летней зарницы.

«Хана мне, — подумал Андолини с ужасом и изумлением. — Господи, да я ж таких проворных в жизни не видал! Мне амбец, Святая Мария, Матерь Божия, он же меня щас расстреляет, он ме...»

Человек в драной рубахе нажал спуск револьвера в левой руке, и Джек Андолини подумал — взаправду подумал — что уже умер, а потом понял, что вместо выстрела раздался только глухой щелчок.

Осечка.

Андолини с улыбкой поднялся на колени и поднял свой пистолет.

— Не знаю, кто ты такой, привидение ты ебаное, но с белым светом можешь проститься, — сказал он.

Эдди сел, дрожа от холода, весь в гусиной коже. Он увидел, как Роланд выхватил револьвер, услышал сухой щелчок вместо грохота, увидел, как Андолини поднимается с песка, услышал, как он что-то говорит; и, прежде, чем Эдди сообразил, что он делает, его рука сама нащупала зазубренный обломок камня. Он вырвал его из шершавой земли и изо всех сил швырнул.

Камень ударил Андолини по голове сзади, чуть пониже макушки, и отскочил. Из рваной раны с болтающимся куском кожи брызнула кровь. Андолини выстрелил, но пуля, которая иначе непременно убила бы стрелка, прошла мимо.

«Не совсем мимо, — мог бы сказать Эдди стрелок. — Когда чувствуешь ветерок от пули, нельзя сказать, что так уж мимо».

Отшатнувшись от выстрела Андолини, Роланд большим пальцем отвел назад курок револьвера и снова нажал спуск. На этот раз патрон сработал — сухой, повелительный треск эхом разнесся по всему берегу. Чайки, спавшие на камнях высоко над чудовищами, проснулись и взлетели испуганными, пронзительно кричащими стайками.

Несмотря на то, что стрелок невольно отшатнулся, его пуля остановила бы Андолини раз навсегда, но к этому времени Андолини тоже начал двигаться — оглушенный ударом по голове, он начал валиться на бок. Звук револьверного выстрела показался ему далеким, но жгучая боль в левом локте, раздробленном пулей стрелка, была вполне реальной. Она привела его в себя, и он поднялся на ноги; одна рука у него повисла плетью, сломанная, бесполезная, в другой он держал пистолет и бестолково водил им из стороны в сторону, ища цель.

Первым он увидел Эдди, Эдди-торчка, Эдди, который как-то ухитрился затащить его в это сумасшедшее место, Эдди, который стоял здесь в чем мать родила и дрожал на холодном, пронизывающем ветру, обхватив себя обеими руками. Ладно, может, он здесь и умрет, но хоть доставит себе удовольствие — прихватит с собой Эдди Ебаного Дийна.

Андолини поднял пистолет. Теперь маленькая «Кобра» весила, казалось, фунтов эдак двадцать, но он справился.

«Ну, если опять осечка», — угрюмо подумал Роланд и снова отвел курок назад. Сквозь галдеж чаек он услышал, как плавно повернулся и щелкнул барабан.

Осечки не произошло.

Стрелок целился Андолини не в голову, а в пистолет в его руке. Он не знал, понадобится ли им еще этот человек, но не исключал этого; он был нужен Балазару, а так как все предположения Роланда о том, насколько Балазар опасен, полностью оправдались, то самое лучшее было — подстраховаться.

Что выстрел попал в цель, его не удивило; удивительно было то, что случилось с пистолетом Андолини, а из-за этого и с самим Андолини. За все те годы, что Роланд наблюдал, как люди стреляют друг в друга, ему довелось увидеть и такое, но лишь дважды.

«Не повезло тебе, парень», — подумал стрелок, когда Андолини с воплем, не соображая, куда идет, побежал к морю. По рубашке и брюкам у него струей текла кровь. На той руке, в которой только что был кольт-«Кобра», не было пальцев и нижней половины ладони. Пистолет, превратившийся в бесполезный, искореженный кусок металла, валялся на песке.

Эдди ошарашенно уставился на Джека. Теперь уже никто никогда не мог бы сказать, что у Андолини лицо троглодита, потому что у него больше не было лица; на его месте осталась лишь кровавая каша и черная вопящая дыра рта.

— Бог ты мой, что случилось?

— Должно быть, пуля попала в патронник его револьвера в тот момент, когда он нажимал спуск, — ответил стрелок. Он говорил сухо, как профессор, читающий лекцию по баллистике в полицейской академии. — В результате произошел взрыв, которым оторвало заднюю часть его револьвера. Я думаю, могла взорваться и еще парочка патронов.

— Пристрели его, — попросил Эдди. Его трясло все сильнее, и теперь — не только от сочетания ночного воздуха, ветра с моря и голого тела. — Убей его. Прекрати его мучения, ради Бо...

— Поздно, — сказал стрелок с холодным безразличием, от которого Эдди до костей пробрал мороз.

И Эдди отвернулся, но недостаточно быстро; он успел увидеть, как омароподобные чудовища ползают по ногам Андолини, срывают с него мокасины от Гуччи... разумеется, вместе со ступнями. Визжа, судорожно размахивая перед собой руками, Андолини упал ничком. Чудовища жадно набросились на него и, ползая по нему, пожирая его, все время тревожно спрашивали у него: «Дад-э-чак? Дид-э-чик? Дам-э-чам? Дод-э-чок?»

— Господи Иисусе! — простонал Эдди. — А теперь что?

— А теперь ты возьмешь ровно столько (стрелок сказал бесова порошка; Эдди услышал кокаина), сколько ты обещал этому Балазару, — сказал Роланд. — Ни больше, ни меньше. И мы вернемся. — Он прямо, в упор, посмотрел на Эдди. — Только на этот раз мне придется вернуться туда с тобой. В своем теле.

— Елки-палки, — сказал Эдди. — А ты сумеешь? — И сразу же сам себе ответил: — Да конечно, сумеешь. А зачем?

— Потому что одному тебе не справиться, — ответил Роланд. — Иди сюда.

Эдди оглянулся на шевелящуюся кучу клешнястых тварей на песке. Джек Андолини ему никогда не нравился, но его все равно затошнило.

— Иди сюда, — нетерпеливо повторил Роланд. — Времени у нас мало, и то, что я сейчас должен сделать, мне не по душе. Я еще ни разу не делал такого. И никогда не думал, что буду. — Губы его горько искривились. — Я уже начинаю привыкать к таким вещам.

Эдди медленно, все сильнее ощущая, что ноги у него ватные, двинулся к этой тощей фигуре.

В чуждой тьме его кожа казалась очень белой и словно мерцала. «Кто же ты такой, Роланд? — подумал он. — Что ты такое? И этот обжигающий жар, которым от тебя пышет — только лихорадка? Или какое-то безумие? По-моему, наверно, и то, и другое».

Господи, как же ему нужно вмазаться! Больше того; он заслужил дозняк.

— Чего ты ни разу не делал? — спросил он. — О чем ты?

— Вот, возьми, — сказал Роланд и жестом показал на старинный револьвер, висевший у него низко на правом бедре. Показал, но не пальцем; пальца не было, было только что-то большое, замотанное тряпкой. — Мне он сейчас не годится. И, быть может, больше никогда не пригодится.

— Я... — Эдди судорожно глотнул. — Я не хочу до него дотрагиваться.

— Да я и не хочу, чтобы ты к нему прикасался, — странно мягким тоном ответил стрелок, — но боюсь, что выбора ни у тебя, ни у меня нет. Будет стрельба.

— Да?

— Да. — Стрелок безмятежно взглянул на Эдди. — И я думаю, что очень изрядная.

Балазару становилось все сильнее и сильнее не по себе. Слишком долго. Они слишком долго там возятся, и там слишком тихо. Он слышал, как где-то далеко, может быть, в соседнем квартале, какие-то люди орут друг на друга, а потом до него донеслось несколько громких хлопков, скорее всего — фейерверк... только, когда занимаешься таким бизнесом, как Балазар, то в первую очередь думаешь не о фейерверках.

Пронзительный вопль. Или нет?

«Неважно. Что бы ни происходило в соседнем квартале, тебя это не касается. Совсем уж в старую бабу превращаешься».

И все же это были скверные признаки. Очень скверные.

— Джек? — громко крикнул он через закрытую дверь туалета.

Ответа не было.

Балазар открыл левый верхний ящик письменного стола и достал пистолет. Это был не кольт-«Кобра», который удобно носить в двустворчатой кобуре; это был «Магнум».

— Чими! — крикнул он. — Ты мне нужен!

Он захлопнул ящик. Карточная башня рухнула с тихим, как вздох, звуком. Балазар даже не заметил этого.

Чими Дретто встал в дверях, заполнив весь проем — он весил двести пятьдесят фунтов. Он увидел, что Иль Боссо достал из ящика пистолет, и немедленно выхватил свой из-под пиджака в клетку — в такую яркую клетку, что, если по неосторожности смотреть на этот пиджак слишком долго, можно было получить световой ожог глаз.

— Мне нужны Клаудио и Трюкач, — сказал Балазар. — Давай их быстрее сюда. Этот шкет что-то затеял.

— У нас проблема, — сказал Чими.

Балазар на мгновение перевел взгляд с двери туалета на Чими.

— О, у меня их и так выше головы, — сказал он. — Так что за новая проблема, Чими?

Чими облизал губы. Он и при самых благоприятных обстоятельствах не любил приносить Иль Боссо дурные вести, а уж когда у него такой вид, как сейчас...

— Ну, — сказал он и опять облизал губы. — Понимаете...

— Да не тяни ты, еб твою мать! — заорал Балазар.

Сандаловая рукоятка револьвера была такой гладкой, что Эдди, взяв его, первым делом уронил его себе на ногу и зашиб пальцы. Эта штука была такой огромной, что казалась доисторической, и такой тяжелой, что он понял: ему придется держать ее обеими руками. «Отдачей меня так швырнет о ближайшую стену, что я ее насквозь проломлю, — подумал он. — То есть, если он вообще выстрелит». — И все же что-то в Эдди хотело держать этот револьвер, соответствовало назначению этого револьвера, выраженному с таким совершенством, чуяло его туманную и кровавую историю и хотело быть ее частью.

«Эту прелесть еще никогда не брал в руки никто, кроме лучших из лучших, — подумал Эдди. — По крайней мере, до сих пор».

— Ты готов? — спросил Роланд.

— Нет, но все равно — поехали, — ответил Эдди.

Он крепко взялся левой рукой за левое запястье Роланда, а Роланд обхватил голые плечи Эдди своей горячей правой рукой.

Вместе они шагнули через открытую дверь назад, из продутой ветром тьмы морского берега в умирающем мире Роланда в холодное ослепительное сияние люминесцентной лампы в личном туалете Балазара в «Падающей Башне».

Эдди заморгал, привыкая к свету, и услышал в соседней комнате голос Чими Дретто: «У нас проблема», — говорил Чими. — «А у кого их нет», — подумал Эдди, и тут его взгляд задержался на аптечке Балазара. Ее дверца была открыта. Он отчетливо вспомнил, как Балазар велел Джеку обыскать туалет, и Джек спросил, есть ли там какое-нибудь место, про которое он не знает. Балазар тогда помедлил, а потом ответил: «На задней стенке аптечки есть маленькая панель. Я там держу кое-какие личные вещи».

Андолини отодвинул металлическую панель, а задвинуть обратно забыл.

— Роланд! — прошипел Эдди.

Роланд поднял свой револьвер и прижал ствол к губам, жестом показывая: «Тише!». Эдди молча подошел к аптечке.

«Кое-какие личные вещи»... в тайнике лежали: флакон суппозиториев, экземпляр нечетко напечатанного журнала под названием «Детские Игры» (на обложке взасос целовались две голенькие девочки лет по восемь) — и восемь или десять пробных упаковок кефлекса. Эдди знал, что такое кефлекс. Наркоманы, при своей подверженности инфекциям, как генерализованным, так и местным, обычно знают такие вещи.

Кефлекс — это антибиотик.

— О, у меня их и так выше головы, — говорил Балазар. Голос у него был затравленный. — Так что за новая проблема, Чими?

«Уж если эта штука не справится с его болезнью, то ему вообще ничего не может помочь», — подумал Эдди. Он начал хватать упаковки и хотел было рассовать их по карманам, но сообразил, что карманов-то у него нет, и издал короткий лай, даже отдаленно не напоминавший смех. Он начал выкладывать кефлекс в раковину. Придется забрать его потом... если будет какое-то «потом».

— Ну, — говорил Чими, — понимаете...

— Да не тяни ты, еб твою мать! — заорал Балазар.

— Это насчет старшего брата того мальчишки, — сказал Чими, и Эдди замер, сжимая в руке две последних упаковки кефлекса, наклонив голову набок. Сейчас он еще больше был похож на собачку с этикетки старой патефонной пластинки.

— Ну, что там с ним? — нетерпеливо спросил Балазар.

— Помер он, — ответил Чими.

Эдди уронил кефлекс в раковину и повернулся к Роланду.

— Они убили моего брата, — сказал он.

Балазар как раз открыл рот, чтобы велеть Чими не приставать к нему со всякой хреновней, когда у него есть серьезные заботы — ну, вот хоть это чувство, от которого невозможно избавиться, что мальчишка собирается его объебать, и никакой Андолини ему в этом не помешает, — когда услышал мальчишкин голос так же четко, как мальчишка, несомненно, слышал голоса его и Чими. «Они убили моего брата», — сказал мальчишка.

Балазару вдруг стали безразличны и его товар, и вопросы, на которые он не нашел ответа, и вообще все, кроме желания немедленно, сию же секунду, тормознуть эту ситуацию, пока она не стала еще более странной и жуткой.

— Джек, кончай его! — крикнул он.

Ответа не было. Потом он услышал, как мальчишка повторил: «Они убили моего брата. Они убили Генри».

Балазар вдруг понял — понял — что мальчишка разговаривает не с Джеком.

— Зови сюда джентльменов, — приказал он Чими. — Всех до одного. Мы ему будем жопу палить, а когда он сдохнет, мы оттащим его в кухню, и я сам лично отрублю ему голову.

«Они убили моего брата», — сказал невольник. Стрелок ничего не ответил. Он только смотрел и думал: «Бутылочки. В раковине. Это то, что мне нужно, или то, что по его мнению мне нужно. Пакетики. Не забудь. Не забудь».

Из соседней комнаты: «Джек, кончай его!»

Ни Эдди, ни стрелок не обратили на это никакого внимания.

«Они убили моего брата. Они убили Генри».

Теперь Балазар в соседней комнате говорил, что голова Эдди будет его трофеем. Это как-то странно утешило стрелка: видимо, не во всем этот мир отличается от его мира.

Тот, которого звали Чими, стал громко, хрипло звать остальных. Послышался отнюдь не джентльменский топот бегущих ног.

— Ты хочешь что-нибудь предпринять по этому случаю или так и собираешься здесь стоять? — спросил Роланд.

— А как же, хочу предпринять, — сказал Эдди и поднял револьвер стрелка. И, хотя всего несколько минут назад он считал, что не сумеет сделать этого одной рукой, сейчас оказалось, что это очень легко.

— И что же ты хочешь предпринять? — спросил Роланд, и ему показалось, что собственный голос доносится до него издалека. Он был болен, его сжигала лихорадка, но то, что происходило с ним сейчас, было началом совсем другой лихорадки, очень хорошо знакомой ему. Это была лихорадка, охватившая его в Талле. Это был жар битвы, туманящий все мысли, оставляющий лишь потребность перестать думать и начать стрелять.

— Я хочу воевать, — спокойно сказал Эдди.

— Ты не знаешь, о чем говоришь, — сказал Роланд, — но скоро узнаешь. Когда будем проходить через дверь, ты иди справа. Я должен идти слева. Из-за руки.

Эдди кивнул. И они отправились воевать.

Балазар ожидал, что увидит Эдди, или Андолини, или обоих вместе. Он не ожидал, что увидит Эдди и совершенно незнакомого человека, высокого, с посеревшими от грязи черными волосами и лицом, словно высеченным из неподдающегося камня неким свирепым богом. Секунду он не мог решить, в кого выстрелить.

А вот у Чими такой проблемы не было. Иль Боссо был зол на Эдди. Ну, значит, он сперва шлепнет Эдди, а уж потом начнет беспокоиться о другом каццарро. Чими грузно повернулся к Эдди и трижды нажал спуск своего автоматического пистолета. В воздух, сверкнув, полетели осколки панелей. Эдди увидел, как этот амбал поворачивается, и отчаянно заскользил по полу, метнулся, словно какой-нибудь сопляк на дискотеке, сопляк, обкуренный до того, что не соображает, что оставил где-то свой прикид под Джона Травольту, включая нижнее белье; при этом все его мужские прелести болтались, а коленки от трения сперва нагрелись, а потом их обожгло. Над самой его головой в пластике, имитировавшем сучковатые сосновые доски, появились дыры. Куски пластика посыпались ему на плечи и на волосы.

«Боже, не дай мне умереть голым и без дозняка, — молился он, понимая, что такая молитва — более, чем богохульство, что она — абсурд. Но все равно не мог перестать. — Я умру, но пожалуйста, позволь мне еще один разочек...»

Прогремел револьвер в левой руке стрелка. На открытом месте, у моря, его звук был просто громким; здесь он оглушал.

— Ой, мама! — сдавленно, с придыханием вскрикнул Чими Дретто. Удивительно было, что ему удалось вскрикнуть. Его грудь внезапно ввалилась, точно кто-то стукнул по бочке кувалдой. На его белой рубашке начали появляться красные пятна, словно на ней расцветали маки. — Ой, мама! Ой, мама! Ой, ма...

Клаудио Андолини оттолкнул его в сторону. Чими упал с глухим стуком. Со стены с грохотом свалились две фотографии в рамках. Та, на которой Иль Боссо вручал приз «Спортсмен Года» улыбающемуся юнцу на банкете Полицейской Атлетической Лиги, угодила на голову Чими. На плечи ему посыпались осколки стекла.

— Ой, мама, — прошептал он тихим, обморочным голосом, и на губах у него запенилась кровь.

За Клаудио вбежали Трюкач и один из ждавших в кладовой. Клаудио держал в каждой руке по автоматическому пистолету; у парня из кладовой был обрез дробовика «Ремингтон», такой короткий, что выглядел, как больной свинкой короткоствольный пистолет «Дерринджер»; Трюкач Постино был вооружен предметом, который он называл «Чудесная Машина Рэмбо» — это был автомат М-16.

— Где мой брат, блядь ты обколотая? — кричал Клаудио. — Что ты сделал с Джеком? — Ответ его, по-видимому, не очень-то интересовал, поскольку он начал стрелять, еще не кончив кричать. «Ну, все», — подумал Эдди, и тут Роланд опять выстрелил. Клаудио Андолини, окутанного облаком собственной крови, отбросило назад. Пистолеты вылетели у него из рук и, скользнув по крышке письменного стола Балазара, с глухим стуком упали на ковер, а на них, как осенние листья, посыпались карты. Большая часть внутренностей Клаудио ударилась о стену секундой раньше, чем их догнал Клаудио.

— Кончайте его! — визжал Балазар. — Призрака этого кончайте! Пацан не опасен! Он всего только торчок голозадый! Призрака кончайте! Расстреливайте его!

Он дважды нажал спуск своего «Магнума». Звук у него был почти такой же громкий, как у револьвера Роланда. Отверстия, пробитые пулями в стене, у которой, скорчившись, присел Роланд, были неаккуратными; пули оставили в имитации дерева по обеим сторонам головы Роланда зияющие раны. Сквозь эти дыры из туалета зазубренными белыми лучами пробивался свет.

Роланд нажал спуск.

Только сухой щелчок.

Осечка.

— Эдди! — крикнул стрелок, и Эдди поднял свой револьвер и нажал спуск.

Грохот выстрела был таким громким, что в первый момент Эдди показалось, что револьвер взорвался у него в руке, как у Джека. Отдача не пробила им стенку, но подбросила его руку свирепой дугой, рванувшей подмышкой все сухожилия.

Он увидел, как часть плеча Балазара распалась на алые брызги, услышал, как Балазар завизжал, точно раненая кошка, и прокричал:

— Торчок, говоришь, не опасен, да? Так ты сказал, хуй ты тупой? Хочешь лезть к нам с братом? Я тебе покажу, кто опасен! Я тебе пока...

Что-то грохнуло, будто разорвалась граната; это парень из кладовой пальнул из обреза. Эдди покатился по полу; в стенах и двери туалета появилась сотня мелких дырочек. Дробь обожгла в нескольких местах голую кожу Эдди, и он понял, что если бы он был к этому с обрезом поближе, где кучность дроби большая, его бы разнесло в клочья.

«Черт, мне все равно конец, — подумал он, глядя, как парень из кладовой перезаряжает «Ремингтон» и кладет его себе на предплечье. Парень усмехался. Зубы у него были очень желтые. Эдди подумал, что они уже давно не знали зубной щетки. — Господи, сейчас меня убьет какой-то хрен моржовый с желтыми зубами, а я даже не знаю, как его зовут, — мелькнула у Эдди смутная мысль. — По крайней мере, Балазару я влепил. Хоть это я сделал». — Он не мог вспомнить, остались ли у Роланда патроны. А ему хотелось бы знать это.

— Щас я его! — радостно заорал Трюкач Постино. — Отойди, Дарио, не засти! — И прежде, чем человек по имени Дарио успел отойти или вообще пошевелиться, Трюкач открыл огонь из Чудесной Машины Рэмбо. Кабинет Балазара наполнился тяжелым громом автоматного огня. Первым результатом этого шквала огня стало то, что он спас жизнь Эдди Дийну. Дарио уже поймал его на мушку обреза, но прежде, чем он успел нажать оба его курка, Трюкач очередью перерезал его пополам.

— Прекрати, болван! — завопил Балазар.

Но Трюкач то ли не слышал, то ли не мог прекратить, то ли не хотел прекратить. Оскалив в широкой акульей ухмылке блестящие от слюны зубы, он поливал комнату огнем от стены до стены. Пули превратили две панели в пыль, застекленные фотографии — в облака разлетающихся осколков стекла, сорвали с петель дверь туалета. Разлетелось вдребезги матовое стекло душевой кабинки Балазара. Пуля пробила кубок — приз Марша Десятицентовиков, который Балазар получил год назад, и он зазвенел, как колокол.

В кино люди действительно убивают друг друга из ручного скорострельного оружия. В реальной жизни это случается редко. А если и случается, то это делают первые четыре-пять пуль (как мог бы подтвердить несчастный Дарио, будь он теперь вообще в состоянии что-нибудь подтвердить). После первых четырех-пяти выстрелов с человеком — даже физически сильным — который пытается управлять таким оружием, происходят две вещи: ствол начинает подниматься, а сам стрелок начинает поворачиваться вправо или влево, в зависимости от того, какое несчастное плечо он решил размозжить отдачей. Короче говоря, избрать такое оружие мог бы только клинический кретин или кинозвезда; это все равно, что пытаться застрелить человека из отбойного молотка.

В течение секунды Эдди был неспособен ни на какие конструктивные действия, а мог только таращиться на это совершенное чудо идиотизма. Потом он увидел, что за Трюкачом в дверь протискиваются другие, и поднял револьвер Роланда.

— Готов! — орал Трюкач радостно и истерично, как человек, который смотрел так много фильмов, что уже не может отличить то, что должно происходить по сложившемуся у него в сознании сценарию, от происходящего на самом деле. — Он готов! Я его уделал! Я его у...

Эдди нажал спуск и превратил Трюкача от бровей и выше в мелкие брызги. Судя по его поведению, выше бровей у него было не так уж много.

«Елки-палки, когда эти штуки стреляют, так дырки получаются те еще», — подумал он.

Слева от Эдди раздалось громкое БУ-БУХ. Что-то прорыло в его недоразвитом левом бицепсе горячую канавку. Он увидел, что Балазар, припав за углом усыпанного картами письменного стола, целится в него из «Магнума». Вместо плеча у Балазара была алая каша, с которой капало красное. Эдди пригнулся; в ту же секунду «Магнум» грохнул вновь.

Роланд сумел присесть на корточки, прицелился в первого из новой группы людей, входивших в дверь, и нажал спуск. Он перекрутил барабан, выбросил стреляные гильзы и давшие осечку патроны на ковер и зарядил револьвер этим одним новым патроном. Он сделал это зубами. Балазар держал Эдди на прицеле. «Если этот патрон не сработает, я думаю, нам обоим конец».

Этот патрон сработал. Револьвер рявкнул, дернулся в его руке назад, и Джимми Аспио отлетел в сторону, выпустив из разжавшихся, обессиленных смертью пальцев свой пистолет калибра . 45.

Роланд увидел, как он дернулся назад, и пополз по усеявшим пол осколкам стекла и щепкам. Он опустил револьвер в кобуру. Нечего было и думать о том, чтобы еще раз перезарядить его, когда на правой руке не хватает двух пальцев.

Эдди управлялся очень хорошо. Насколько хорошо, стрелок мог судить по тому, что он сражался голым. Это — трудное дело. Иногда — невозможное.

Стрелок схватил один из автоматических пистолетов, которые выронил Клаудио Андолини.

— Ребята, чего вы ждете? — пронзительно кричал Балазар. — Мать вашу! СОЖРИТЕ ИХ!

В дверь ворвались Большой Джордж Бьонди и второй «джентльмен» из кладовой. «Джентльмен» из кладовой орал что-то по-итальянски.

Роланд по-пластунски полз к углу письменного стола. Эдди встал, целясь в дверь и во вбежавших. «Он знает, что Балазар притаился там и ждет, но он думает, что теперь из нас двоих вооружен только он, — подумал Роланд. — Вот и еще один готов умереть за тебя, Роланд. Какой же великий грех совершил ты, что вызываешь у столь многих такую страшную преданность?»

Балазар встал, не замечая, что стрелок зашел ему во фланг. Балазар думал только об одном: прикончить, наконец, проклятого наркаша, обрушившего на его голову всю эту беду.

— Нет, — сказал стрелок, и Балазар обернулся к нему; лицо у него было удивленное.

— Ах, мать... — начал Балазар, поворачивая ствол «Магнума». Стрелок всадил в него четыре пули из пистолета Клаудио. Это была дешевая штучка, почти игрушка, и стрелку казалось, что от прикосновения к ней его рука испачкалась, но, быть может, презренного противника и подобало убить презренным оружием.

Энрико Балазар умер с выражением предельного изумления на том, что осталось от его лица.

— Привет, Джордж! — сказал Эдди и нажал спуск револьвера стрелка. Опять раздался этот симпатичный грохот. «В этой крошке испорченных нет, — ошалело подумал Эдди. — Должно быть, мне достался хороший».

Прежде, чем пуля Эдди отбросила Джорджа назад, на кричавшего, он успел один раз выстрелить, но промахнулся. Эдди овладело иррациональное, но абсолютно убедительное чувство: ощущение, что револьвер Роланда обладает некой колдовской защитной силой, силой талисмана. Пока Эдди держит его, с ним ничего плохого не случится.

Потом наступила тишина; тишина, в которой Эдди были слышны только стоны человека, лежавшего под Большим Джорджем (рухнув на Руди Веккьо — так звали этого несчастного — Джордж сломал ему три ребра) да звон в собственных ушах. Он подумал — интересно, будет ли он когда-нибудь опять хорошо слышать. По сравнению с этой перестрелкой, которая сейчас уже как будто кончилась, самый громкий рок-концерт из всех, на каких довелось побывать Эдди, казался не громче радио, играющего за два квартала.

Кабинет Балазара теперь вообще не был похож на комнату. Его прежняя функция уже больше не имела значения. Эдди огляделся вокруг широко раскрытыми, изумленными глазами очень молодого человека, который видит нечто подобное впервые в жизни, но Роланду этот взгляд был знаком, и этот взгляд всегда был один и тот же. Было ли это открытое поле боя, где от пушек, винтовок, мечей и алебард погибли тысячи, или маленькая комната, где перестреляли друг друга пятеро или шестеро — все равно, в конце концов это оказывалось одно и то же место: еще одна мертвецкая, провонявшая порохом и сырым мясом.

От стены между туалетом и кабинетом остались лишь несколько стоек. Всюду поблескивало битое стекло. Потолочные панели, взорванные ярким, но бесполезным фейерверком из М-16 Трюкача Постино, свисали вниз подобно лоскутам содранной кожи.

Эдди сухо кашлянул. Теперь ему стали слышны и другие звуки: гомон возбужденного разговора, выкрики, доносившиеся снаружи, откуда-то с улицы, а вдали — переливчатый вой сирен.

— Сколько? — спросил Эдди стрелок. — Может быть так, что мы их всех перестреляли?

— Да, я думаю...

— Эдди, а что у меня для тебя есть-то, — сказал из коридора Кевин Блейк. — Я подумал, она тебе может пригодиться, вроде как на память, понимаешь? — Кевин сделал со старшим из братьев Дийн то, что Балазар не сумел сделать с младшим. Он швырнул отрезанную голову Генри Дийна через дверь снизу вверх.

Эдди увидел, что это, и закричал. Он бегом кинулся к двери, не замечая вонзавшихся в его босые ноги осколков стекла и дерева, крича и стреляя на бегу, израсходовав последний годный патрон в своем боевом револьвере.

— Нет, Эдди! — заорал Роланд, но Эдди не слышал. Он был не способен что-либо слышать.

В шестом гнезде оказался негодный патрон, но к этому моменту Эдди уже не сознавал ничего, кроме того факта, что Генри умер, Генри, они отрезали ему голову, какой-то паршивый сукин сын отрезал Генри голову, и этот сукин сын за это заплатит, да-да, можете быть уверены.

Поэтому он бежал к двери и все нажимал и нажимал спуск, не замечая, что ничего не происходит, не замечая, что его ступни красны от крови, и Кевин Блейк шагнул в дверной проем ему навстречу, низко пригнувшись, с автоматическим пистолетом «Лама» . 38 в руке. Рыжие волосы Кевина пружинками и колечками торчали вокруг головы, и Кевин улыбался.

«Занизит», — подумал стрелок, понимая, что только при большом везении ему удастся попасть в цель из этой ненадежной маленькой игрушки, даже если он угадал верно.

Когда Роланд увидел, что уловка солдата Балазара выманит Эдди, он поднялся и, стоя на коленях, для опоры подложил под левую кисть правый кулак, угрюмо не обращая внимания на боль, пронизавшую его, когда он сжал правую руку в кулак. У него оставался только один шанс. Боль не имела значения.

Потом рыжеволосый, улыбаясь, шагнул в дверь, и мозг Роланда, как всегда, отключился; его глаза видели, рука стреляла, и внезапно оказалось, что рыжий лежит в коридоре у стенки с открытыми глазами и с маленькой синей дырочкой во лбу. Эдди стоял над ним, визжа и рыдая, снова и снова нажимая спуск большого револьвера с сандаловой рукояткой и пустым барабаном, точно, как бы мертв ни был рыжеволосый, ему все было мало.

Стрелок подождал смертоносного перекрестного огня, который должен был перерезать Эдди пополам, и когда этого не случилось, понял, что все действительно кончилось. Если и были другие солдаты, то они убежали.

Он устало поднялся на ноги, пошатнулся и медленно пошел туда, где стоял Эдди.

— Хватит, — сказал он.

Эдди не обратил на него ни малейшего внимания и продолжал нажимать спуск, направив большой пустой револьвер Роланда на убитого.

— Хватит, Эдди, он мертв. Все они мертвы. У тебя из ног идет кровь.

Эдди по-прежнему, не обращая на него внимания, все нажимал и нажимал спуск. Гомон возбужденных голосов на улице приближался. Звук сирен — тоже.

Стрелок взялся за револьвер и потянул его к себе. Эдди обернулся к нему и, прежде, чем Роланд успел до конца осознать, что происходит, Эдди ударил его по голове сбоку его же собственным револьвером. Роланд почувствовал, как теплой струей хлынула кровь, и бессильно прислонился к стене. Он старался удержаться на ногах — им надо было как можно скорее выбираться отсюда. Но он чувствовал, как, несмотря на все усилия, соскальзывает вниз, а потом мир ненадолго заволокло серой пеленой.

Он вырубился не больше, чем на две минуты, а потом сумел заставить себя снова видеть все четко и встать на ноги. Эдди в коридоре уже не было. Револьвер Роланда лежал на груди у убитого парня с рыжими волосами. Стрелок нагнулся, преодолел приступ головокружения, поднял его и, неловко изогнувшись, опустил в кобуру.

«До чего же мне не хватает этих окаянных пальцев», — устало подумал он и вздохнул.

Он с трудом, шатаясь и спотыкаясь, вернулся в развалины комнаты; остановился, нагнулся и собрал всю одежду Эдди, какую сумел удержать, согнув левую руку. Сирены приблизились почти вплотную. По мнению Роланда, те, кто крутил их ручки, были, вероятно, милицией, может быть, отрядом добровольцев при начальнике полиции, чем-нибудь в этом роде... но все-таки он не исключал, что это могли быть и люди Балазара.

— Эдди, — прохрипел он. Горло у него опять разболелось, в нем опять дергало, даже еще хуже, чем в шишке, набухшей у него на голове, там, где Эдди стукнул его револьвером.

Эдди ничего не слышал. Эдди сидел на полу, прижимая к животу голову брата. Он весь трясся и плакал. Стрелок поискал глазами дверь, не нашел и почувствовал нехорошее удивление, почти ужас. Потом он вспомнил. Раз они оба были по эту сторону, единственный способ вновь создать дверь состоял в физическом контакте между ним и Эдди.

Роланд протянул к Эдди руку, но тот, не переставая плакать, отшатнулся. «Не дотрагивайся до меня», — сказал он.

— Эдди, все кончилось. Они все мертвы, и твой брат тоже мертв.

— Оставь моего брата в покое! — по-детски взвизгнул Эдди, и его сотряс новый приступ дрожи. Он прижал отрезанную голову к своей груди, как младенца, и стал ее укачивать. Он поднял на стрелка глаза, из которых лились слезы.

— Он обо мне всегда заботился, все время, понял? — проговорил он сквозь такие отчаянные рыдания, что стрелок с трудом разбирал его слова. — Всегда. Почему же я-то не смог о нем позаботиться хоть один разочек, хоть в этот раз, ведь он обо мне каждый раз заботился!

«Да уж, здорово он о тебе заботился, — мрачно подумал Роланд. — Ты погляди на себя, как ты здесь сидишь и весь трясешься, будто съел яблоко с лихорадочного дерева. Уж он о тебе просто замечательно заботился».

— Нам надо идти.

— Идти? — В первый раз на лице Эдди появилась слабая тень понимания, тут же сменившаяся испугом. — Никуда я не пойду. А особенно — туда, в то место, где эти здоровенные крабы, или как их там, съели Джека.

Кто-то колотил в дверь, кричал, требовал, чтобы открыли.

— Ты хочешь остаться здесь и объяснять, откуда взялись все эти трупы? — спросил стрелок.

— Мне все равно, — ответил Эдди. — Без Генри это не важно. И ничего не важно.

— Для тебя, невольник, может быть, и не важно, — сказал Роланд, — но это дело касается других.

— Не смей меня так называть! — вскрикнул Эдди.

— Я буду тебя так называть до тех пор, пока ты не покажешь мне, что можешь выйти из камеры, в которой сидишь! — прокричал в ответ Роланд. Кричать ему было больно, но он все равно орал. — Выкинь этот гнилой кусок мяса и кончай нюнить!

Эдди смотрел на него широко раскрытыми, испуганными глазами. Щеки у него были мокры от слез.

— ЭТО ВАШ ПОСЛЕДНИЙ ШАНС, — сказал снаружи голос, усиленный мегафоном. Эдди звук этого голоса показался призрачным, как голос ярмарочного зазывалы. — ПРИБЫЛА СПЕЦИАЛЬНАЯ ГРУППА ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИСТАМИ — ПОВТОРЯЮ: ПРИБЫЛА СПЕЦИАЛЬНАЯ ГРУППА ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИСТАМИ!

— Что там есть для меня, за этой дверью? — спокойно спросил стрелка Эдди. — Давай, говори. Если ты сумеешь мне сказать, может, я и пойду. Но если ты соврешь, я замечу.

— Вероятно, смерть, — ответил стрелок. — Но прежде, чем это случится, скучно тебе, я думаю, не будет. Я хочу, чтобы ты присоединился к моему поиску. Конечно, все это, скорее всего, закончится смертью — смертью для нас четверых в незнакомом месте. Но если бы мы все-таки пробились... — У него заблестели глаза. — Если мы пробьемся, Эдди, ты увидишь нечто такое, что превзойдет все, что мерещилось тебе во всех твоих грезах.

— Какое нечто?

— Темную Башню.

— Где эта Башня?

— Далеко от того берега, где ты меня нашел. Насколько далеко, я не знаю.

— Что это за Башня?

— Этого я тоже не знаю; знаю только, что она может быть чем-то вроде... вроде болта. Центральная чека, которая не дает развалиться всему существующему. Всему существующему, всему времени и всем мерам.

— Ты сказал — четверо. А кто такие остальные двое?

— Они неведомы мне, ибо их еще предстоит вытащить.

— Как ты вытащил меня. Или как ты хотел бы меня вытащить.

— Да.

Снаружи послышался кашляющий взрыв, похожий на выстрел из миномета. Стекло витрины «Падающей Башни» взрывом вдавило внутрь бара. Бар начал наполняться удушливыми облаками слезоточивого газа.

— Ну? — спросил Роланд. Он мог бы схватить Эдди, этим их соприкосновением заставив дверь появиться, втолкнуть в нее Эдди и протолкнуться сам. Но он только что видел, как Эдди ради него рисковал жизнью; видел, как этот истерзанный наркоманией человек вел себя с достоинством прирожденного стрелка, невзирая на свою пагубную привычку и на то, что ему пришлось драться нагишом, в чем мать родила, и поэтому Роланд хотел, чтобы Эдди решил сам.

— Поиски, приключения, Башни, миры, которые надо завоевать, — сказал Эдди, с трудом улыбнувшись. Новые снаряды со слезоточивым газом влетели в окна и с шипением разорвались на полу, но ни тот, ни другой не обернулись. Первые едкие струйки газа уже начали просачиваться в кабинет Балазара. — Звучит даже лучше, чем в тех книжках Эдгара Райса Берроуза про Марс, что Генри мне иногда читал, когда мы были маленькие. Ты только одно пропустил.

— Что я пропустил?

— Прекрасных дев с обнаженной грудью.

Стрелок улыбнулся.

— По дороге к Темной Башне, — сказал он, — может встретиться все, что угодно.

Тело Эдди сотряс новый приступ дрожи. Он поднял голову Генри, поцеловал одну холодную, пепельно-серую щеку и бережно отложил окровавленную реликвию в сторону. Он встал с пола.

— Ладно, — сказал он. — Все равно у меня на сегодняшний вечер ничего не намечалось.

— Вот, возьми, — сказал Роланд и сунул ему в руки одежду. — Надень хотя бы башмаки. Ты себе ноги порезал.

Снаружи, на тротуаре, два мента в плексигласовых масках и бронежилетах ломали парадную дверь «Падающей Башни», в туалете Эдди — в подштанниках, в кроссовках «Адидас», а больше ни в чем, — по одной передавал Роланду пробные упаковки кефлекса, а Роланд рассовывал их по карманам джинсов Эдди. Когда все они были надежно размещены, Роланд опять правой рукой обнял Эдди за шею, а Эдди опять крепко взял Роланда за кисть левой руки. И дверь — прямоугольник тьмы — внезапно оказалась на месте. Эдди чувствовал, как ветер из того, другого мира отбрасывает у него со лба пропотевшие волосы. Он слышал, как о каменистый берег плещут волны. Он ощущал резкий запах кислой морской соли. И несмотря ни на что, несмотря на всю его боль, все его горе, ему вдруг захотелось увидеть эту Башню, о которой говорил Роланд. Ему очень сильно захотелось ее увидеть. А раз Генри умер, что у него осталось здесь, в этом мире? Родители у них умерли, а постоянной девушки у Эдди не было уже три года, с тех пор, как он заторчал на всю катушку — была только непрерывная череда давалок, ширялок, нюхалок. Ни одной порядочной. К ебаной матери такие дела.

Они шагнули в дверь, и Эдди даже шел чуть-чуть впереди.

На той стороне его вдруг опять начало трясти, ломать, мышцы мучительно сводило. Это были первые симптомы тяжелой героиновой абстиненции. И с ними у него появились первые испуганные мысли о том, во что он влип.

— Постой! — закричал он. — Мне нужно на минуточку вернуться! У него в столе! У него в столе в соседней комнате! Наркота! Если они держали Генри под кайфом, значит, должно быть ширево! Героин! Он мне нужен! Я без него не могу!

Он умоляюще смотрел на Роланда, но у стрелка было каменное лицо.

— Эта часть твоей жизни кончилась, Эдди, — сказал он и протянул вперед левую руку.

— Нет! — завопил Эдди, вцепляясь в него. — Нет, ты не понял, чувак, я без него не могу! НЕ МОГУ!

С тем же успехом он мог бы вцепиться в камень.

Стрелок захлопнул дверь.

Она глухо стукнула — этот звук означал абсолютную безвозвратность — и упала назад, на песок. От ее краев поднялось немного пыли. Позади двери ничего не было, и теперь на ней не было никакой надписи. Данный проход между двумя мирами закрылся навсегда.

— Нет! — взвизгнул Эдди, и чайки в ответ ему загалдели, словно с издевкой и презрением; чудовища стали задавать ему вопросы, быть может, намекая, что он сможет расслышать их получше, если подойдет поближе, а Эдди, плача и трясясь, повалился на бок и забился в судорогах.

— Твоя нужда пройдет, — сказал стрелок и ухитрился достать из кармана джинсов Эдди, которые были так похожи на его собственные, одну из пробных упаковок. Опять он сумел прочесть некоторые буквы, но не все. Было написано что-то вроде «Чийфлет».

Чийфлет.

Лекарство из другого мира.

— Либо убьет, либо исцелит, — пробормотал Роланд и всухую проглотил две капсулы. Потом он принял три оставшиеся таблетки астина и лег рядом с Эдди и, как сумел, обхватил его руками, и через некоторое время — трудное время — они оба заснули.

6. КАРТЫ ТАСУЮТСЯ

Карты тасуются

После этой ночи время для Роланда то и дело прерывалось, вообще не было реальным временем. Он помнил только ряд отдельных картин, моментов, разговоров вне контекста; картины мелькали и пролетали мимо, подобно одноглазым тузам, и тройкам, и девяткам, и Проклятой Черной Суке — Даме Пауков, когда колоду быстро-быстро тасует шулер.

После он спросил у Эдди, сколько это длилось, но Эдди тоже не знал. Время разрушилось для них обоих. В аду не бывает времени, а каждый из них находился тогда в своем личном аду: Роланд — в аду лихорадки и инфекции, Эдди — в аду ломки.

— Меньше недели, — сказал Эдди. — Это — единственное, что я знаю точно.

— Откуда ты это знаешь?

— Лекарства для тебя у меня было как раз на неделю. После этого тебе пришлось бы самому сделать одно из двух.

— Выздороветь или умереть?

— Верно.

Карты тасуются

Сумерки сгущаются, и в это время раздается выстрел, сухой треск, слышный сквозь неизбежный и неотвратимый шум бурунов, умирающих на пустынном берегу: «БА-БАХ!». Стрелок ощущает запах пороха. «Что-то случилось, — беспомощно думает стрелок и хватается за револьверы, которых нет на месте. — Ох, нет, это — конец, это...»

Но больше выстрелов не слышно, и что-то начинает

Карты тасуются

вкусно пахнуть в темноте. Спустя столько времени, долгого, темного, иссушающего, что-то варится. Дело не только в запахе. Он слышит потрескивание веток, видит слабое оранжевое мерцание костра. Время от времени ветерок с моря доносит до него ароматный дым и другой запах, тот, от которого у него слюнки текут. «Еда, — думает он. — Боже мой, неужели я хочу есть? Если я хочу есть, то, может, я выздоровею».

Он пытается позвать: «Эдди», — но голос у него совсем пропал. У него болит горло, так сильно болит. «Надо было и астин захватить», — думает он — и пытается засмеяться: все снадобья для него, и ничего для Эдди.

Появляется Эдди. Он держит жестяную тарелку, одну из тех, что стрелок узнал бы где угодно, в конце концов, она же — из его собственного кошеля. На ней лежат мокрые, дымящиеся куски беловато-розового мяса.

«Что?» — силится спросить Роланд, но ему удается выдавить лишь слабый, мерзкий писк.

Эдди читает у него по губам.

— Не знаю, — сердито отвечает он. — Знаю только, что я от этого не помер. Ешь, черт тебя дери.

Он видит, что Эдди очень бледен, Эдди весь трясется; он чувствует, что от Эдди чем-то пахнет — либо дерьмом, либо смертью — и понимает, что Эдди очень плохо. Желая утешить его, он протягивает к Эдди руку. Эдди отшвыривает ее.

— Я тебя покормлю, — сердито говорит он. — Хрен меня знает, зачем. Мне бы следовало тебя убить. Я бы так и сделал, кабы не думал, что уж если ты один раз смог пролезть в мой мир, так, может, и опять сумеешь.

Эдди оглядывается вокруг.

— И если б не то, что я бы тогда остался один. Если не считать их.

Он снова поворачивается к Роланду, и его сотрясает приступ дрожи — такой сильный, что куски мяса чуть не слетают с жестяной тарелки. Наконец, дрожь унимается.

— Ешь, чтоб тебя.

Стрелок ест. Мясо более, чем неплохое: оно невероятно вкусное. Ему удается съесть три куска, а потом все расплывается и сливается в новую

Карты тасуются

попытку заговорить, но все, на что он способен, это шептать. Ухо Эдди прижато к его губам, только иногда (когда у Эдди очередной приступ спазмов), его отбрасывает в сторону. Стрелок повторяет: «На север. Выше... выше по берегу».

— Почем ты знаешь?

— Просто знаю, и все, — шепчет он.

Эдди смотрит на него. «Ты сумасшедший», — говорит он.

Стрелок улыбается и пытается отключиться, но Эдди дает ему пощечину, сильную пощечину. Голубые глаза Роланда широко открываются и на миг становятся такими живыми и начинают метать такие молнии, что у Эдди делается смущенный вид. Потом его губы растягиваются в улыбке, вернее — в оскале.

— Ага, можешь вырубаться, — говорит он, — но сперва придется тебе принять лекарство. Уже пора. Во всяком случае, судя по солнцу. Так я полагаю. Бойскаутом я, правда, сроду не бывал, так что точно-то не знаю. Но, по-моему, самое время. Открой ротик пошире для доктора Эдди, Роланд. Открой рот пошире, похититель ебаный.

Стрелок раскрывает рот широко, как младенец, ищущий грудь. Эдди вкладывает ему в рот две таблетки, а потом небрежно заливает туда пресную воду. Как догадывается Роланд, вода, должно быть, из горного ручья, откуда-нибудь к востоку отсюда. Может быть, она ядовитая; Эдди не сумеет отличить хорошую воду от плохой. С другой стороны, с самим Эдди, как видно, все в порядке, да и выбора-то, в сущности, нет — или есть? Нет.

Он глотает, начинает кашлять и чуть не задыхается, а Эдди безразлично смотрит на него.

Роланд тянется к нему.

Эдди пытается отстраниться.

Снайперский взгляд стрелка заставляет его подчиниться.

Роланд притягивает Эдди к себе так близко, что ощущает вонь его болезни, а Эдди ощущает вонь болезни стрелка; от этого сочетания им обоим тошно, но оно вынуждает их обоих терпеть.

— Здесь есть только две возможности, — шепчет Роланд. — Не знаю, как в твоем мире, но здесь — только две. Либо стоять и, быть может, остаться жить, либо умереть, опустившись на колени, склонив голову и нюхая вонь своих подмышек. Мне выбирать... — Он заходится кашлем. — Мне выбирать нечего.

— Кто ты такой? — кричит на него Эдди.

— Твоя судьба, Эдди, — шепчет стрелок в ответ.

— Хоть бы ты уже нажрался дерьма и подох, — говорит Эдди. Стрелок пытается заговорить, но не успевает — засыпает, а в это время карты

тасуются

БА-БАХ!

Роланд открывает глаза, видит, как сквозь тьму несутся миллиарды звезд, и снова смыкает веки.

Он не знает, что происходит, но думает, что все в полном порядке. Колода все еще движется, карты все еще

тасуются

Опять ароматные, сочные куски мяса. Он чувствует себя лучше. Эдди тоже выглядит получше. Но у него встревоженный вид.

— Они подбираются все ближе, — говорит он. — Может, они и некрасивые, но кой-чего они все ж таки соображают. Они понимают, что я делаю. Уж не знаю, каким образом, но понимают и не одобряют. Каждую ночь они подбираются маленько поближе. Если ты в состоянии, так было бы совсем неглупо с рассветом перебраться подальше. А то этот рассвет может оказаться для нас последним.

— Что? — Это не то, чтобы шепот, а хрип, где-то на полпути между шепотом и обычной речью.

— Они, — говорит Эдди и жестом показывает на прибрежный песок. — Дэд-э-чек, дам-э-чам и прочая херовина. Я думаю, Роланд, они — как мы: сами есть любят, а чтобы их ели — не очень.

Внезапно, в порыве крайнего ужаса и омерзения, Роланд понимает, что это за беловато-розовые куски мяса, которыми Эдди его кормил. Он не в состоянии говорить: отвращение лишает его даже того жалкого подобия голоса, какое ему удалось вернуть себе. Но все, что он хочет сказать, Эдди читает на его лице.

— А что же я, по-твоему, делал? — злобно шипит он. — Вызывал Красного Омара на дуэль?

— Они ядовитые, — шепчет Роланд. — Поэтому...

— Ну да, поэтому ты и доходишь. Но я, друг мой Роланд, стараюсь не дать им дойти до тебя. А что ядовитые, так гремучие змеи, вон, тоже ядовитые, а люди-то их едят. Они знаешь какие вкусные. Как цыплята. Я про это где-то читал. А эти, по-моему, с виду, как омары, вот я и решил рискнуть. Что нам еще-то жрать оставалось? Землю? Я пристрелил одного из этих гадов и уж варил его, варил — до умопомрачения. Больше ничего не было. А по правде-то они очень даже вкусные. Я каждый вечер по одному пристреливаю, как только солнце начинает садиться. Пока совсем не стемнеет, они двигаются довольно медленно. И я что-то не замечал, чтобы ты отказывался.

Эдди улыбается.

— Мне нравится думать, что, может, мне попался один из тех, что слопали Джека. Мне нравится думать, что я ем этого стервеца. Мне от этого вроде бы легче на душе, понимаешь?

— Один из них отъел кусок и от меня, — хрипит стрелок. — Два пальца на руке, один на ноге.

— Тоже неплохо, — не перестает улыбаться Эдди. Лицо у него бледное, какое-то акулье... но вид у него уже не такой больной, и запах дерьма и смерти, раньше окутывавший его, как саван, теперь, кажется, исчезает.

— Иди ты на хуй, — хрипит стрелок.

— В Роланде проснулся боевой дух! — восклицает Эдди. — Может, ты еще и не околеешь! Дуся моя! Это просто чудненько!

— Выживу, — говорит Роланд. Хрип вновь превратился в шепот. В горло ему опять начинают впиваться рыболовные крючки.

— Да ну? — Эдди вглядывается в него, потом кивает и сам отвечает на свой вопрос. — Ну да. По-моему, ты настроился выжить. Один раз я думал, что ты помираешь, а один раз — что ты уже помер. А теперь похоже, что ты выздоровеешь. Какого хрена ты так стараешься выжить на этом занюханном берегу?

— Башня, — одними губами шепчет Роланд, потому что сейчас он уже и хрипеть не может.

— Да зашибись ты со своей хлебаной Башней, — говорит Эдди и поворачивается, чтобы отойти, но изумленно оборачивается, когда рука Роланда, как тисками, сжимает его локоть.

Они смотрят друг другу в глаза, и Эдди говорит: «Да ладно уж. Ладно!»

— На север, — шевелятся губы стрелка. — На север, я же тебе говорил. — Говорил ли он ему об этом? Ему так кажется, но точно он не помнит. Все затерялось, когда перетасовывались карты.

— Откуда ты знаешь-то? — орет на него Эдди в приступе бессильной злости. Он вскидывает кулаки, словно хочет ударить Роланда, и сразу же опускает их.

«Просто знаю — так зачем ты отнимаешь у меня время и силы своими дурацкими вопросами?» — хочет ответить Роланд, но не успевает, потому что карты

тасуются

и его тащат, его подбрасывает и бьет о камни, голова у него беспомощно мотается из стороны в сторону, он привязан своими собственными портупеями к какой-то нелепой волокуше, и ему слышно, как Эдди Дийн поет песню, такую странно-знакомую, что в первый момент ему кажется, что это бред:

Эйй, Джуд... не дуриии... грустной песне подариии... все свое уменье...

Он хочет спросить: «Где ты слышал это, Эдди? Ты слышал, как я это пел? И где мы?»

Но прежде, чем он успевает спросить,

Карты тасуются

«Если бы Корт увидел эту конструкцию, он бы этому мальчишке башку прошиб», — думает Роланд, глядя на волокушу, на которой он провел день, и смеется. Смех получается не ахти какой. Звук у него, как у волны, когда она выбрасывает на берег камни. Он не знает, насколько далеко они ушли, но, во всяком случае, достаточно далеко, чтобы Эдди полностью выдохся. Он сидит на большом камне в свете угасающего дня, на коленях у него лежит один из револьверов стрелка, а сбоку стоит бурдюк, до половины заполненный водой. Карман его рубашки слегка оттопыривается. Там лежат патроны из задних концов патронных лент — все уменьшающийся запас «хороших» патронов. Эдди завязал их в кусок собственной рубашки. Основная причина того, что запас «хороших» патронов уменьшается так быстро, состоит в том, что один из каждых четырех-пяти тоже оказывается негодным.

Задремавший было Эдди поднимает голову.

— Чего смеешься? — спрашивает он.

Стрелок отмахивается и отрицательно качает головой: он понимает, что ошибся. Корт не прошиб бы Эдди башку за эту волокушу, хоть вид у нее странный и убогий. Роланд думает, что Корт, быть может, проворчал бы какую-нибудь похвалу — это случалось так редко, что мальчик, с которым это случалось, обычно не знал, как реагировать, и стоял, разинув рот, точно рыба, только что вытащенная из бочки повара.

Основными опорами служили две тополевые ветки примерно одинаковой длины и толщины. Ветром обломило, решил стрелок. Для поперечных опор Эдди взял ветки поменьше и привязал их к основным опорам всем, чем сумел: револьверными ремнями, клейкой веревкой, которой был прикреплен к его груди бесов порошок, даже сыромятным ремешком от шляпы стрелка и шнурками от своих собственных кроссовок. На опоры он положил постельную скатку стрелка.

Корт не ударил бы Эдди, потому что Эдди, как бы плохо он себя ни чувствовал, не стал сидеть на корточках и оплакивать свою несчастную судьбу, а хоть что-то сделал. Во всяком случае, постарался.

И Корт, может быть, похвалил бы его — как всегда, коротко, отрывисто, почти неохотно — потому что, как бы нелепо ни выглядела эта штука, она действовала. Это доказывали длинные следы, тянувшиеся назад, вниз по берегу, и в перспективе сливавшиеся в один.

— Видишь хоть одного? — спрашивает Эдди. Солнце садится, бросает на воду оранжевую дорожку, так что, по расчетам стрелка, в этот раз он отключался больше, чем на шесть часов. Он чувствует, что у него прибавилось сил. Он приподнимается, садится и смотрит вниз, на воду. Ни прибрежный песок, ни земля, переходящая в западный склон горы, особенно не изменились; ему видны мелкие изменения пейзажа и того, что валяется на берегу (например, дохлая чайка, лежащая комком раздуваемых ветром перьев на песке ярдах в двадцати левее и ярдов на тридцать ближе к воде), но, не считая этого, все — такое же, как там, откуда они начали путь.

— Нет, — говорит стрелок. Потом: — Нет, вижу. Один есть.

Он показывает рукой. Эдди прищуривается, потом кивает. Солнце опускается еще ниже, оранжевая дорожка становится все больше и больше похожей на кровавую полосу, и первые чудовища, спотыкаясь, выходят из волн и начинают ползти по песку вверх.

Два из них неуклюже устремляются наперегонки к дохлой чайке. Победитель набрасывается на нее, разрывает и начинает запихивать гниющие останки в свою клювовидную пасть. «Дид-э-чик?» — спрашивает он.

«Дам-э-чам? — отвечает проигравший. — Дод-э-...»

БА-БАХ!

Револьвер Роланда обрывает вопросы второй твари. Эдди спускается к ней и хватает ее за спину, не сводя глаз с первой. Впрочем, она слишком занята чайкой. Эдди приносит свою добычу наверх. Тварь все еще подергивается, поднимает и опускает клешни, но вскоре перестает шевелиться. Хвост в последний раз изгибается дугой, а потом ровно падает, а не подгибается вниз, как раньше. Боксерские клешни обвисают.

— Скоро подам обед, хозяин, — говорит Эдди с акцентом и интонацией слуги-негра. — Извольте выбирать: филе из ползучки-кусачки или филе из ползучки-кусачки. Что будете кушать?

— Я тебя не понимаю, — говорит стрелок.

— Еще как понимаешь, — отвечает Эдди. — Просто у тебя нет чувства юмора. Что с ним случилось?

— Надо думать, его отстрелили в одной из войн.

Эдди улыбается этим словам.

— Сегодня ты и на вид, и на слух малость пободрее, Роланд.

— Я думаю, я и вправду стал малость пободрее.

— Что ж, может, ты завтра сможешь немножко пройти. Скажу тебе, друг мой, прямо и откровенно: тащить тебя — надорвешься и обосрешься.

— Я постараюсь.

— Да уж постарайся.

— Ты тоже выглядишь чуть получше, — решается сказать Роланд. На последних двух словах голос у него срывается на дискант, как у мальчишки-подростка. «Если я как можно скорее не перестану разговаривать, — думает он, — я вообще никогда не смогу говорить».

— Я полагаю — не помру. — Он смотрит на Роланда ничего не выражающим взглядом. — Впрочем, ты никогда не узнаешь, до чего я был пару раз к этому близок. Один раз я видел один из твоих пистолетов и приставил себе к виску. Взвел курок, подержал и убрал. Осторожненько поставил курок на место и засунул твою пушку обратно в кобуру. В другой раз, ночью, у меня начались судороги. По-моему, это было на вторую ночь, но точно не знаю. — Эдди качает головой и произносит несколько слов, которые стрелок и понимает, и не понимает. — Теперь Мичиган кажется мне сном.

Хотя стрелок не может говорить громче, чем хриплым шепотом, хотя он знает, что ему вообще не следует разговаривать, одну вещь ему необходимо узнать.

— Что помешало тебе нажать спуск?

— Так ведь других-то штанов у меня нет, — говорит Эдди. — В последний момент я подумал, что если я нажму на спуск, а патрон-то окажется негодным, то сделать это еще раз я уж ни в жизнь не решусь... а когда навалишь в штаны, их нужно тут же отстирать, а то так и будет от тебя вонять всю жизнь. Это мне Генри сказал. Он говорил, что научился этому во Вьетнаме. А поскольку дело было ночью, и по берегу шлялся Омар Лестер, не говоря уж об его дружках...

Но стрелок хохочет, заливается смехом, правда, почти беззвучным: с его губ лишь иногда срывается надтреснутый звук. Эдди и сам слабо улыбается. Он говорит:

— Мне думается, тебе в той войне чувство юмора отстрелили только до локтя. — Он встает и направляется вверх по склону, где, как полагает Роланд, должно быть топливо для костра.

— Подожди, — шепчет стрелок, и Эдди смотрит на него. — А по правде — почему?

— Я так полагаю — потому что я был тебе нужен. Если бы я покончил с собой, ты бы умер. Попозже, когда ты встанешь на ноги, я, может быть, вроде как вернусь к этой проблеме. — Он оглядывается вокруг и глубоко вздыхает: — Где-то в твоем мире, Роланд, может, и есть Диснейленд или Кони-Айленд, но то, что я видел до сих пор, меня, по правде говоря, не очень-то заинтересовало.

Он отходит от Роланда на несколько шагов, останавливается и смотрит на него. Лицо у Эдди мрачное, хотя болезненной бледности немного поубавилось. Его уже больше так не трясет, приступы дрожи прошли, он лишь изредка слабо вздрагивает.

— Ты меня иногда просто не понимаешь, правда?

— Да, — шепчет стрелок. — Иногда не понимаю.

— Тогда поясню. Есть люди, которым необходимо быть нужными другим. Ты этого не понимаешь, потому что ты не из таких. Если бы потребовалось, ты бы меня использовал и выкинул, как бумажный пакет. Бог тебя ебанул, друг мой. Ты сообразителен как раз настолько, что тебе от этого больно, но и жесток как раз настолько, чтобы все равно поступить так. Ты бы просто не смог иначе. Если бы я валялся там на песке и истошно орал — звал бы на помощь, ты бы перешагнул через меня и пошел дальше, если бы я загораживал тебе путь к твоей треклятой Башне. Ну, что, разве я не угадал?

Роланд ничего не говорит, только смотрит на Эдди.

— Но не все люди — такие. Есть люди, которым нужно, чтобы они были кому-нибудь нужны. Как в песне Барбары Стрейзанд. Банально, но тем не менее, это так. Это просто еще один способ оказаться на крючке.

Эдди задумчиво смотрит на Роланда.

— Но ты-то в этом смысле чистенький, так ведь?

Роланд не сводит с него глаз.

— Если не считать твоей Башни, — с коротким смешком говорит Эдди. — Ты тоже торчок, Роланд, и твоя наркота — Башня.

— На какой войне? — шепчет Роланд.

— Что?

— На какой войне тебе отстрелили чувство благородства и целеустремленность?

Эдди отшатывается, как от пощечины.

— Пойду схожу за водой, — коротко говорит он. — А ты поглядывай за ползучками-кусачками. Мы сегодня ушли далеко, но я так и не разобрался, разговаривают они между собой или нет.

И он отворачивается, но Роланд успевает заметить в последних багряных лучах солнца, что щеки у него мокрые.

Роланд поворачивается обратно к кромке берега и наблюдает. Омароподобные чудища ползают и вопрошают, вопрошают и ползают, но и то, и другое кажется Роланду лишенным определенной цели; какой-то интеллект у них есть, но его не хватает, чтобы передавать информацию друг другу.

«Бог не всегда лупит человека мордой об стол, — думает Роланд. — В большинстве случаев, но не всегда».

Эдди возвращается с дровами.

— Ну? — спрашивает он. — Как ты считаешь?

— Мы в порядке, — хрипит стрелок, и Эдди начинает что-то говорить, но стрелок уже устал, он ложится на спину и смотрит, как сквозь фиолетовый балдахин неба проглядывают первые звезды, а

Карты тасуются

В следующие три дня здоровье стрелка непрерывно улучшалось. Багровые полосы, которые раньше ползли по его рукам вверх, теперь поползли обратно, потом побледнели, потом исчезли. На следующий день он иногда шел сам, а иногда его тащил на волокуше Эдди. Назавтра после этого его уже совсем не приходилось тащить; через каждые час-два они просто садились и какое-то время отдыхали, пока он не переставал ощущать, что ноги у него ватные. Именно во время этих привалов, да еще после обеда, когда все уже бывало съедено, но до того, как костер догорал и они засыпали, стрелок слушал рассказы Эдди о его жизни с Генри. Стрелок помнил, что сначала не мог понять, из-за чего отношения между братьями были такими трудными, но после того, как Эдди начал рассказывать, запинаясь, и с той обидой и злостью, причина которой — в тяжкой боли, стрелку не раз хотелось остановить его, сказать: «Не надо, Эдди, хватит. Я все понимаю».

Только это ничем не помогло бы Эдди. Эдди говорил не для того, чтобы помочь Генри, потому что Генри был мертв. Он говорил, чтобы похоронить Генри раз навсегда. И чтобы напомнить себе, что, хотя Генри мертв, но он-то, Эдди, не умер.

Так что стрелок слушал и ничего не говорил.

Суть была проста: Эдди считал, что он загубил брату жизнь. Генри тоже так считал. Может быть, Генри додумался до этого сам, а может быть, он так считал потому, что так часто слышал, как их мама твердит Эдди, скольким и она, и Генри пожертвовали ради него, чтобы Эдди мог быть в безопасности в этом городе, в этих окаянных джунглях, чтобы он мог быть счастлив настолько, насколько вообще возможно быть счастливым в этом городе, в этих окаянных джунглях, чтобы он не кончил так, как его бедная сестренка, которую он толком и помнить-то не может, но она была такая красавица, Царство ей небесное. Она сейчас в раю, у ангелов, и это, безусловно, прекрасное место, но она, мама, пока еще не хочет отпускать Эдди к ангелам, не хочет, чтобы его переехал на мостовой какой-нибудь пьяный псих-водила, или чтобы какой-нибудь обкуренный мальчишка-торчок зарезал бы его, выпустил кишки на тротуар из-за двадцати пяти центов, что лежат у него в кармане, да она и сама не думает, чтобы Эдди хотелось прямо сейчас отправиться к ангелам, а значит, пускай он всегда слушает, что ему говорит старший братик, и всегда делает, что ему велит старший братик, и всегда помнит, что Генри приносит жертву любви.

Как Эдди сказал стрелку, он сомневался, чтобы их мать знала о некоторых их «подвигах» — например, что они воровали книжки с комиксами из кондитерской на Ринкон-авеню или курили сигареты за гальванизационной мастерской на Кохоуз-стрит.

Однажды они увидели «Шевроле», в котором торчали ключи, и, хотя Генри еле-еле умел водить машину — ему тогда было шестнадцать лет, а Эдди восемь — он затолкал братишку в автомобиль и сказал, что они едут в центр Нью-Йорка. Эдди перепугался, расплакался, и Генри тоже был испуган и зол на Эдди, приказал ему заткнуться и не вести себя, как грудной младенец, едрена вошь, у него есть десять баксов, да у Эдди три или четыре, можно весь день, мать его, ходить в кино, а потом они сядут в пелхэмский поезд и вернутся домой раньше, чем маманя успеет накрыть ужин и спохватиться, где их носит. Но Эдди все ревел, а возле моста Куинсборо они увидели в переулке полицейскую машину, и Эдди, хотя был вполне уверен, что легавый в ней даже не взглянул в их сторону, ответил «Ага», когда Генри охрипшим, дрожащим голосом спросил его, как он думает — видел ли их этот мент? Генри побелел и подъехал к краю тротуара так быстро, что чуть не снес пожарный кран. Он уже бежал по улице прочь, а Эдди все еще возился с незнакомой ручкой дверцы. Тогда Генри остановился, вернулся и выволок Эдди из машины. Он ему еще и наподдал как следует два раза. Потом они пешком дошли до Бруклина, а по правде сказать — прокрались туда. На это у них ушел почти весь день, и когда мать спросила их, чего это они такие потные, и разгоряченные, и измученные, Генри сказал: потому что он почти весь день учил Эдди играть в баскетбол на детской площадке на том конце квартала. А потом пришли какие-то большие ребята, и им пришлось удирать бегом. Мать поцеловала Генри и лучезарно улыбнулась Эдди. Она спросила его: ведь правда же, у него самый-пресамый лучший на свете старший братик? Эдди согласился с ней. И согласился честно. Он и сам так думал.

— В тот день ему было так же страшно, как мне, — говорил Эдди Роланду, когда они сидели и смотрели, как последний луч заката медленно угасает на воде, в которой скоро будет отражаться только свет звезд. — Даже страшнее, потому что он думал, что мент нас заметил, а я-то знал, что нет. Поэтому он и побежал. Но он вернулся. И это — главное. Он вернулся.

Роланд промолчал.

— Ты это понимаешь, да? — Эдди смотрел на Роланда с жестким вопросом в глазах.

— Понимаю.

— Он всегда боялся и всегда возвращался.

Роланд подумал, что если бы в тот день... или в любой другой... Генри бы не остановился, а продолжал бы сверкать пятками, это было бы лучше для Эдди, а может быть, в конечном счете и для них обоих. Но такие люди, как Генри, никогда так не поступают. Такие люди, как Генри, всегда возвращаются, потому что такие люди, как Генри, отлично знают, как использовать других. Сначала они превращают доверие в потребность, потом превращают доверие в наркотик, а добившись этого, начинают (как это называет Эдди? — нажимать). Они начинают нажимать.

— Я, пожалуй, пойду на боковую, — сказал стрелок.

На следующий день Эдди продолжал свой рассказ, но стрелок уже и так все знал. В старших классах Генри не занимался спортом потому, что не мог оставаться на тренировки. Тот факт, что Генри был тощий, что у него была плохая координация движений, и прежде всего — что он вообще не очень-то любил спорт, к этому, разумеется, не имело ни малейшего отношения. Мать без конца уверяла их обоих, что из Генри вышел бы изумительный бейсбольный подающий или один из этих прыгучих баскетболистов. Отметки у Генри были плохие, и ряд предметов ему пришлось проходить повторно — но это было вовсе не потому, что Генри туповат; оба они — и Эдди, и миссис Дийн — отлично знали, что Генри способный до ужаса. Но то время, которое Генри следовало бы тратить на занятия или на приготовление уроков, у него уходило на присмотр за Эдди (тот факт, что это обычно происходило в гостиной Дийнов, где оба братца валялись на диване и смотрели телевизор или возились и боролись на полу, почему-то казался несущественным). Плохие отметки означали то, что Генри не принимали никуда, кроме Нью-Йоркского Университета, а это им было не по карману, потому что при плохих отметках никакие стипендии не полагаются, а потом Генри мобилизовали, и он попал во Вьетнам, и там ему снесло осколком почти все колено, и у него были очень сильные боли, и в лекарстве, которое ему давали, было очень много морфина, и когда ему стало лучше, врачи его отучили от этого лекарства, только не больно-то хорошо это у них получилось, потому что, когда Генри вернулся в Нью-Йорк, на спине у него все еще сидела обезьяна, голодная обезьяна, и ждала, чтобы ее накормили, и месяц-два спустя он сходил к одному человечку, и примерно еще через четыре месяца (еще и месяца не прошло с тех пор, как у них умерла мать) Эдди в первый раз увидел, как его брат втягивает носом с зеркальца какой-то белый порошок. Эдди подумал, что это кокаин. А оказалось — героин. И если проследить всю цепь событий от конца к началу, то кто виноват?

Роланд ничего не сказал, но мысленно услышал голос Корта: «Вина, деточки мои прелестные, всегда ложится на одного и того же: на того, кто достаточно слаб, чтобы на него можно было бы взвалить вину».

Когда Эдди узнал правду, он сначала впал в шок, потом разозлился. В ответ Генри не стал обещать, что бросит нюхать, а сказал Эдди: он не осуждает его за то, что тот злится, он знает, что Вьетнам превратил его в никчемный мешок дерьма, он слабый, лучше ему уйти, Эдди прав, здесь меньше всего нужен поганый торчок, загаживающий квартиру. Он только надеется, что Эдди не будет слишком уж осуждать его. Да, он признает, он стал слабаком; это там, во Вьетнаме, что-то превратило его в слабака, сгноило все у него внутри, как от сырости гниют шнурки кроссовок и резинки в трусах. А во Вьетнаме, как видно, было что-то такое, от чего у человека сгнивает мужество, — слезливо говорил ему Генри. — Он только надеется, что Эдди припомнит все годы, когда Генри старался быть сильным.

Ради Эдди.

Ради мамани.

Так что Генри попытался уйти. А Эдди, конечно, не мог отпустить его. Эдди терзало всепоглощающее чувство вины. Эдди видел кошмарную массу рубцов, которая когда-то было здоровой, красивой ногой, видел колено, в котором теперь тефлона было больше, чем кости. В холле они устроили соревнование «кто кого переорет». Генри стоял у двери в старой армейской форме, с собранным вещмешком в одной руке и с фиолетовыми кругами под глазами, а на Эдди была только пара пожелтевших трусов и больше ничего. Генри говорил: «Теперь я тебе здесь ни к чему, Эдди, я знаю, ты меня на дух не выносишь», — а Эдди в ответ орал: «Никуда ты не пойдешь, жопа с ручкой, а ну давай обратно в квартиру!» — и вот так оно и продолжалось, пока миссис Мак-Герски не вышла из своей квартиры и не закричала: «Хошь — уходи, а хошь — оставайся, мне без разницы, а только решайте чего-нибудь по-быстрому и кончайте орать, а то мигом полицию вызову!» Похоже, миссис Мак-Герски собиралась добавить еще пару-тройку увещаний, но тут она заметила, что Эдди стоит в одних трусах, и добавила: «А ты, Эдди Дийн, еще и в неприличном виде!» — и, как ошпаренная, метнулась обратно к себе в квартиру. Как все равно чертик из табакерки, только в обратном направлении. Эдди посмотрел на Генри. Генри посмотрел на Эдди. «Ангелочек-то наш никак пару фунтиков прибавил, а?» — тихо сказал Генри, и тут они прямо-таки взвыли от смеха, повиснув друг на друге и колотя друг друга по спине, и Генри вернулся обратно в квартиру, а недели так через две Эдди уже тоже нюхал марафет и не мог понять, какого лешего он так разорялся, они же ведь только нюхают, едрена мать, это просто помогает расслабиться, и, как говорил Генри (которого Эдди впоследствии станет мысленно именовать «великий мудрец и выдающийся торчок»), если мир явно катится вверх тормашками к чертям собачьим, так что плохого в том, что ты поймал кайф и тебе хорошо?

Время шло. Сколько его прошло, Эдди не сказал, а стрелок не спросил. Как он догадывался, Эдди понимал, что для того, чтобы ловить кайф, есть тысяча предлогов, но ни одной настоящей причины, и довольно хорошо держал свою наркоманию под контролем. И Генри, видимо, тоже был в состоянии держать под контролем свою. Не так хорошо, как Эдди, но достаточно для того, чтобы не распуститься окончательно. Потому что — понимал ли Эдди, как обстоит дело в действительности, или нет (по мнению Роланда, в глубине души понимал) — Генри, должно быть, понимал: они поменялись местами. Теперь, переходя улицу, Эдди вел за руку старшего брата.

И однажды Эдди застукал Генри на том, что тот не нюхает, а ширяется подкожно. Последовал очередной истерический скандал, почти точная копия первого, с той только разницей, что происходил он у Генри в спальне. И кончился он почти точно так же: Генри плакал, и то, что он говорил в свое оправдание, по существу, было полным признанием своей вины, полной капитуляцией: Эдди прав, он не достоин даже жрать помои из сточной канавы. Он уйдет. Эдди его больше никогда не увидит. Он только надеется, что Эдди будет помнить все...

Рассказ Эдди превратился в тихий, монотонный гул, не многим отличавшийся от шуршания гальки в убегающих по песку и разбивающихся волнах. Роланд знал эту историю и ничего не сказал. Ее не знал Эдди, Эдди, у которого в голове прояснилось впервые, быть может, за десять (а то и больше) лет. Эдди рассказывал эту историю Роланду; Эдди наконец рассказывал ее себе.

Это ничему не мешало. Насколько стрелок понимал, чего-чего, а времени у них было внавал. Чтобы его провести, годились и разговоры.

Эдди сказал, что ему не давала покоя мысль о колене Генри, об извилистых рубцах по всей ноге, и выше колена, и ниже (конечно, сейчас все это уже зажило, Генри почти что и не хромал, только когда они с Эдди ссорились; в этих случаях хромота почему-то всегда усиливалась); ему не давала покоя мысль обо всем, от чего Генри отказался ради него, и не давало покоя куда более прагматическое соображение: на улицах Генри бы не выжил. Там он был бы, как кролик, которого выпустили в джунгли, где полно тигров. Предоставленный самому себе, Генри в первую же неделю угодил бы в тюрьму или в больницу Бельвю.

Поэтому Эдди стал умолять, и в конце концов Генри смиловался над ним — согласился остаться, и через шесть месяцев после этого Эдди уже сидел на игле. С этого момента все неуклонно пошло вниз по неизбежной спирали, которая закончилась поездкой Эдди на Багамы и внезапным вмешательством Роланда в его жизнь.

Кто-нибудь другой, менее прагматичный и более склонный к анализу, чем Роланд, мог бы спросить (если не прямо вслух, то про себя): «Почему началось с этого человека? Почему именно этот? Почему человек, который, кажется, сулит слабость или странность или даже злой рок?»

Мало того, что стрелок не задал этот вопрос; он даже мысленно не сформулировал его. Катберт подвергал сомнению все, спрашивал обо всем, он был отравлен вопросами, умер с вопросом на устах. Теперь их не осталось, никого не осталось. Все последние стрелки Корта, все тринадцать из их класса, что сумели выжить (а в начале учебы их было в классе пятьдесят шесть), были мертвы. Все, кроме Роланда. Он был последним стрелком и неуклонно шел вперед в мире, ставшем бессильным и бесплодным и пустым.

Он вспомнил, как Корт накануне Церемонии Представления сказал: «Тринадцать. Это — нехорошее число». А на следующий день, впервые за тридцать лет, Корт не присутствовал на Церемонии. Ученики — последний их выпуск — пошли к нему, в его домик, чтобы сперва опуститься у его ног на колени, подставив беззащитные шеи, потом встать и принять его поздравительный поцелуй, а потом позволить ему в первый раз зарядить их револьверы. Через девять недель Корт умер. Некоторые утверждали, что его отравили. Через два года после его смерти началась последняя кровопролитная гражданская война. Кровавая бойня добралась до последнего оплота цивилизации, света и здравого рассудка с небрежностью волны, разрушающей крепость, построенную ребенком из песка, отняла все, что они считали таким прочным.

Так что он был последним, и, быть может, он выжил потому, что в его натуре над темным романтизмом преобладали практичность и простота. Он понимал, что существенны только три вещи: то, что он смертен, ка и Башня.

Этих трех вещей хватало, чтобы занять все его мысли.

Эдди закончил свой рассказ около четырех часов дня — третьего дня их пути на север, вверх по безликому берегу. Сам берег, казалось, абсолютно не изменялся. Узнать, сколько они прошли, можно было, только взглянув налево, на восток. Там очертания зазубренных горных вершин начали чуть-чуть смягчаться и оседать. Возможно, если бы они сумели уйти на север достаточно далеко, горы превратились бы в пологие холмы.

Поведав свою историю, Эдди замолчал, и полчаса или дольше они шли молча. Эдди все время украдкой поглядывал на Роланда. Стрелок знал: Эдди не замечает, что он перехватывает эти короткие взгляды; он все еще слишком погружен в себя. Роланд знал также, чего ждет Эдди: реакции. Хоть какой-нибудь реакции. Любой. Дважды Эдди открывал рот и, ничего не сказав, снова закрывал его. Наконец он спросил (стрелок знал, что он спросит именно это):

— Ну? Что ты об этом думаешь?

— Я думаю, что ты здесь.

Эдди остановился и сжал кулаки.

— И это все? И только-то?

— А больше я ничего не знаю, — ответил стрелок. Отсутствующие пальцы на руке и на ноге болели и чесались. Ему так хотелось хоть немножко астина из мира Эдди.

— У тебя нет своего мнения о том, что все это, черт возьми, значит?

Стрелок мог бы поднять свою ополовиненную правую руку и сказать: «А ты подумай о том, что значит вот это, идиот несчастный», — но ему это даже в голову не пришло, как не пришло ему в голову спросить, почему из всех людей во всех вселенных, какие, возможно, существуют, ему достался Эдди.

— Это ка, — терпеливо объяснил он, глядя Эдди в лицо.

— Что такое ка? — Тон у Эдди был воинственный. Я о нем никогда не слышал. Разве что, если его сказать два раза подряд, то получится слово, которым малыши называют говно.

— Это мне неизвестно, — сказал стрелок. — Здесь оно означает долг, или судьбу, или, в просторечии, место, куда ты должен пойти.

Эдди ухитрился одновременно выразить на лице смятение, отвращение и насмешливое веселье: «Тогда скажи это дважды, Роланд, потому что такие слова лично для меня — что говно».

Стрелок пожал плечами.

— Я не веду философских дискуссий. Я не изучаю историю. Я думаю только одно: что прошло, то прошло, а что впереди, то впереди. Второе и есть ка, и оно само о себе позаботится.

— Ну да? — Эдди взглянул на север. — Ну, а я вижу впереди только примерно девять миллиардов миль этого хлебаного берега. Если впереди у нас это, так что ка, что кака — одно и то же. Может, у нас хватит хороших патронов, чтобы ухлопать еще штук пять-шесть этих липовых омаров, но потом нам останется только кидать в них камнями. Так что — куда мы все-таки идем?

У Роланда, правда, мелькнула мысль: приходило ли Эдди в голову задать такой вопрос брату — но спросить об этом Эдди означало бы напроситься на долгий и бессмысленный спор. Поэтому он только показал большим пальцем на север и сказал: «Туда. Для начала».

Эдди взглянул и не увидел ничего нового — только все ту же бесконечную полосу серой гальки, утыканную ракушками и камнями. Он перевел взгляд на Роланда, собравшись съехидничать, увидел на его лице безмятежную уверенность и опять посмотрел на север. Он прищурился. Загородил правой рукой правую половину лица от заходящего солнца. Ему отчаянно хотелось увидеть что-нибудь, хоть что-то, елки-моталки, мираж — и тот бы сгодился, но там не было ничего.

— Можешь меня поливать, сколько хочешь, — медленно проговорил Эдди, — но я считаю, что это — та еще подлянка. Я за тебя у Балазара жизнью рисковал.

— Я знаю. — Стрелок улыбнулся — редкое явление, осветившее его лицо, как мгновенный проблеск солнца в унылый пасмурный день. — Поэтому я с тобой играю только честно, Эдди. Она там. Я ее увидел час назад. Сначала я подумал, что это мираж или просто мерещится, потому что мне очень хочется ее увидеть, но она там, по самому настоящему.

Эдди снова стал смотреть; и смотрел, пока у него не заслезились глаза. Наконец он сказал: «Я не вижу там, впереди, ничего, кроме берега. А у меня зрение двадцать на двадцать».

— Я не знаю, что это значит.

— Это значит, что если бы там можно было что-нибудь увидеть, я бы его и увидел! — Но Эдди призадумался. Он задумался о том, насколько дальше, чем его глаза, видят голубые снайперские глаза стрелка. Может быть, чуть дальше.

А может, и гораздо дальше.

— Ты ее увидишь, — сказал стрелок.

— Что я увижу?

— Сегодня нам туда не дойти, но если ты действительно видишь так хорошо, как сейчас сказал, то ты увидишь ее еще до того, как солнце коснется воды. Если, конечно, ты не собираешься так и стоять здесь и болтать языком.

— Ка, — задумчиво сказал Эдди.

Роланд кивнул.

— Ка.

— Кака, — сказал Эдди и рассмеялся. — Пошли, Роланд. Прошвырнемся. А если я ничего не увижу до того, как солнце коснется воды — с тебя жареная курочка. Или «Биг-Мак». Или что угодно, лишь бы оно не имело отношения к омарам.

— Пошли.

Они снова двинулись в путь, и до того момента, когда нижний край солнца должен был коснуться горизонта, оставалось еще не менее часа, когда Эдди Дийн начал различать вдали какие-то очертания — смутные, мерцающие, неопределенные — но явно что-то. Что-то новое.

— О'кей, — сказал он. — Вижу. У тебя, должно быть, глаза, как у Супермена.

— У кого?

— Неважно. По части культуры ты просто невероятно отстал, тебе это известно?

— Чего?

Эдди засмеялся.

— Ладно, неважно. Так что там такое?

— Увидишь. — И прежде, чем Эдди успел спросить еще что-нибудь, стрелок снова зашагал.

Через двадцать минут Эдди показалось, что он действительно видит. Спустя еще пятнадцать минут он уже был уверен в этом. До предмета на берегу оставалось еще мили две, может быть, три, но он разглядел, что это. Разумеется, дверь. Еще одна дверь.

В эту ночь им обоим плохо спалось. Еще за час до того, как солнце высветило размытые очертания гор, они встали и отправились в путь. Они подошли к двери как раз в ту минуту, когда первые лучи утреннего солнца, такие величественные и спокойные, коснулись их. Эти лучи, подобно фонарям, осветили их заросшие щетиной щеки. И стрелок опять стал выглядеть на свои сорок лет, а Эдди казался не старше, чем был Роланд, когда отправлялся на бой с Кортом, избрав оружием своего сокола Давида.

Эта дверь была точно такая же, как первая, только начертано на ней было другое:

ВЛАДЫЧИЦА ТЕНЕЙ

— Так, — тихонько сказал Эдди, глядя на дверь, которая просто стояла, и петли ее были прикреплены к какому-то неведомому косяку между одним и другим миром, между одной и другой вселенной.

— Так, — согласился стрелок.

— Ка.

— Ка.

— Здесь ты будешь вытаскивать вторую из твоих трех?

— Видно, так.

Стрелок раньше, чем Эдди, понял, что у Эдди на уме. Он увидел движение, которое сделал Эдди, еще до того, как Эдди сообразил, что двигается. Он мог бы повернуться и сломать Эдди руку в двух местах прежде, чем тот сообразил бы, что происходит; но он не шевельнулся. Он дал Эдди вытащить револьвер из его правой кобуры. Впервые в жизни он позволил взять у себя оружие, не применив сперва это оружие. Но он не сделал ничего, чтобы остановить Эдди. Он обернулся и спокойно, даже кротко, посмотрел на Эдди.

Лицо у Эдди было смертельно бледное, напряженное. Вокруг радужек широко раскрытых глаз виднелись полоски белка. Он держал тяжелый револьвер обеими руками, но ствол все равно плясал из стороны в сторону, то нацеливаясь на Роланда, то уходя вбок, опять на Роланда, опять вбок.

— Открой, — сказал он.

— Ты ведешь себя глупо, — тем же кротким тоном сказал стрелок. — Ни ты, ни я не имеем представления, куда ведет эта дверь. Она может открываться не в твою вселенную, не то что в твой мир. Почем мы знаем, может, у этой Владычицы Теней восемь глаз и девять рук, как у Сувии. А если она даже и открывается в твой мир, то, быть может, во время задолго до твоего рождения или спустя много лет либо веков после твоей смерти.

Эдди напряженно улыбнулся: «Вот что я тебе скажу, Монти: я с огромным удовольствием поменяю резинового цыпленка или сраный отпуск на приморском курорте на то, что находится за дверью №2».

— Я не понимаю тво...

— Знаю, что не понимаешь. Не имеет значения. Ты только открой это гадство.

Стрелок отрицательно покачал головой.

Они стояли в лучах зари, а дверь отбрасывала косую тень в сторону отступающего моря.

— Открывай! — закричал Эдди. — Я иду с тобой! Ты что, не понимаешь? Я иду с тобой! Это не значит, что я не вернусь. Может, и вернусь. То есть скорей всего вернусь. Настолько-то, я думаю, я перед тобой в долгу. Ты со мной всю дорогу играл по-честному, не думай, что я этого не понимаю. Но пока ты будешь раздобывать эту теневую крошку или как ее там, я найду ближайшее кафе-гриль «Объедение», и пусть они мне упакуют на вынос. Я думаю, для начала мне хватит семейной упаковки на тридцать порций.

— Ты останешься здесь.

— Ты что думаешь, я шучу? — Голос Эдди стал пронзительным, вот-вот сорвется. Стрелку показалось, что он видит, как Эдди заглядывает в бездонный омут своего проклятия. Эдди большим пальцем взвел старинный курок револьвера. Как только рассвело и начался отлив, ветер улегся, и щелчок взведенного курка прозвучал очень отчетливо. — Так ты проверь.

— Пожалуй, проверю, — сказал стрелок.

— Я тебя пристрелю! — взвизгнул Эдди.

— Ка, — невозмутимо ответил стрелок и повернулся к двери. Он потянулся к дверной ручке, а сердце его напряженно ждало, хотело узнать, останется ли он жив или умрет.

Ка.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ВЛАДЫЧИЦА ТЕНЕЙ

1. ДЕТТА И ОДЕТТА

Если убрать из высказывания Адлера научную терминологию, оно сведется к следующему: идеальный шизофреник — если таковой вообще существует — это человек, который не только не подозревает о своей второй личности (о своих других личностях), но и вообще не подозревает, что у него в жизни что-то неладно.

Адлеру следовало бы познакомиться с Деттой Уокер и Одеттой Холмс.

— ...последний стрелок, — говорил Эндрю.

Он говорил уже довольно давно, но Эндрю всегда что-нибудь говорил, и Одетта обычно просто позволяла его болтовне стекать по ее сознанию, как под душем позволяешь теплой воде стекать по твоим волосам и лицу. Но эти слова не просто привлекли ее внимание, они зацепили его, как колючка.

— Как вы сказали?

— Да просто была такая заметка в газете, — ответил Эндрю. — Кто ее написал — не знаю. Не обратил внимания. Кто-то из политиков. Вы-то, наверно, эту фамилию узнали бы, мисс Холмс. Я его любил, и в тот вечер, когда его выбрали, я плакал...

Она улыбнулась: эти слова невольно растрогали ее. Эндрю говорил, что он не виноват, что непрерывно болтает, он не может остановиться, это из него лезет его ирландское происхождение; и большей частью это были пустые разговоры — кудахтанье и чириканье о родственниках и друзьях Эндрю, с которыми ей никогда не придется сталкиваться, незрелые политические взгляды, нелепые научные рассуждения, почерпнутые из множества нелепых источников (кроме прочего, Эндрю твердо верил в летающие тарелки, которые называл «НЛО») — но это ее растрогало, потому что она тоже плакала в тот вечер, когда он был избран.

— Но я не плакал, когда этот сукин сын — извиняюсь за выражение, мисс Холмс — когда этот сукин сын Освальд его застрелил, и до сих пор не плакал ни разу, а уж прошло... сколько ж это, два месяца?

«Три месяца и два дня», — подумала она.

— Да, наверное, что-то около того.

Эндрю кивнул.

— А вчера я прочитал эту самую заметку — вроде бы в «Дейли Ньюз», что ли — про то, как Джонсон, наверно, очень неплохо справится, но только это уж будет не то. Там было написано, что Америка увидела уход последнего в мире стрелка.

— Я вовсе не считаю, что Джон Кеннеди был последним стрелком, — сказала Одетта Холмс, и если тон у нее был резче, чем тот, который Эндрю привык слышать (а так, наверно, и было, потому что она увидела в зеркальце заднего вида, как он изумленно — а вернее, испуганно — моргнул), то лишь потому, что ее это тоже растрогало. Нелепо, но факт. Эта фраза — «Америка увидела уход последнего в мире стрелка» — глубоко затронула ее сознание. Это была некрасивая фраза, это была неправда — Джон Кеннеди был миротворцем, а не субъектом типа Малыша Билли, который чуть что хватается за кобуру, такое было скорее в стиле Голдуотера — но все равно, у нее от этой фразы почему-то перехватывало горло.

— Ну, вот, и этот мужик там пишет, что в мире всегда будет вдоволь любителей пострелять, — продолжал Эндрю, нервно поглядывая на нее в зеркало заднего вида. — Во-первых, он назвал Джека Руби, и Кастро, и этого типа с Гаити...

— Дювалье, — сказала она. — Папа Док.

— Ага, его и братьев Дьем...

— Братьев Дьем уже нет в живых.

— Ну, он пишет, что Джек Кеннеди — совсем другое дело, вот и все. Он пишет, что он брался за оружие, но только тогда, когда это было нужно ради кого-то слабого, и только, если больше ничего сделать было нельзя. Он пишет, что у Кеннеди хватало мозгов, чтобы понимать, что иногда разговорами делу не поможешь. Он пишет — Кеннеди знал, что ежли у пса с пасти пена идет, так его приходится пристрелить.

Он продолжал опасливо смотреть на нее.

— И потом, я ж это только в газете прочитал.

А лимузин уже бесшумно скользил по Пятой авеню, направляясь к Западному входу в Центральный Парк, и эмблема «Кадиллака» на конце капота рассекала ледяной февральский воздух.

— Да, — мягко сказала Одетта, и взгляд Эндрю стал чуть спокойнее. — Я понимаю. Не согласна, но понимаю.

«Врунья ты, — сказал возникший у нее в мозгу голос. Этот голос она слышала часто. Она даже дала ему имя. Это был Глас Подзуживающий. — Ты прекрасно понимаешь и полностью согласна. Ври, Эндрю, если считаешь нужным, но себе-то не ври, дорогуша, ради Бога».

Тем не менее одна часть ее сознания в ужасе запротестовала. В мире, превратившемся в бочку с ядерным порохом, на которой сейчас сидело около миллиарда человек, считать, что между хорошими любителями пострелять и гадкими любителями пострелять есть разница, было бы ошибкой — быть может, ошибкой самоубийственных масштабов. Слишком много было фитилей, возле которых держало зажигалки слишком много дрожащих рук. Этот мир — не для стрелков. Если и было когда-то их время, то оно давно прошло.

Не так ли?

Она на секунду прикрыла глаза и потерла себе виски. Она чувствовала приближение очередной мигрени. Иногда они предупреждали о себе, как жарким летним днем предупреждают о грозе тучи, собирающиеся на горизонте... а потом уходили, как иногда просто уходит неизвестно куда летняя гроза, чтобы грохотать и бить в землю молниями где-то в другом месте.

Но на сей раз, по ее мнению, грозы было не миновать. И будет она по всей форме, с громом, молнией и градом величиной с мячик для гольфа.

Свет уличных фонарей, выстроившихся вдоль Пятой авеню, казался чересчур ярким.

— Ну, и как оно было в Оксфорде? — осторожно спросил Эндрю.

— Сыро. Очень сыро, хотя сейчас февраль. — Она замолчала, твердя себе, что не произнесет вслух слова, подступившие у нее к горлу подобно желчи, что она проглотит их, загонит их обратно внутрь. Сказать их было бы ненужной жестокостью. Рассуждения Эндрю о последних в мире стрелках были просто частью его обычной бесконечной болтовни. Но вместе со всем остальным это оказалось последней каплей, переполнившей чашу, и у нее все-таки вырвалось то, что было совершенно незачем говорить. Она полагала, что ее голос звучит так же спокойно и решительно, как всегда, но это ее не обмануло: она отлично распознавала на слух, когда кто-нибудь что-нибудь ляпнет. — Поручитель с залогом, конечно, прибыл очень быстро; его предупредили заранее. Но тем не менее, они нас продержали столько, сколько смогли, и я продержалась столько, сколько смогла, но этот раунд они, я считаю, выиграли, потому что кончилось тем, что я обмочилась. — Она увидела, как Эндрю опять резко отвел глаза, и хотела замолчать, но не смогла. — Понимаете, так они хотят дать нам урок. Отчасти, я думаю, потому что это пугает, а испуганный человек больше, может быть, не сунется на их драгоценный Юг и больше их не побеспокоит. Но я думаю, что большинство из них — даже дураки, а они далеко не все дураки — понимают, что в конце концов перемены все равно наступят, что бы они ни делали, и поэтому используют каждый шанс, чтобы нас унизить, пока еще могут. Показать нам, что нас можно унизить. Ты можешь клясться перед Богом, Христом и всем сонмом святых, что ни за что, ни за что, ни за что не обмараешься, но если они тебя продержат достаточно долго, то это, разумеется, все-таки случится. Урок состоит в том, что ты — просто животное в клетке, не более того, не лучше. Просто животное в клетке. Вот я и обмочилась. Я до сих пор чувствую запах высохшей мочи и этой проклятой КПЗ. Знаете, они считают, что мы произошли от мартышек. И именно так от меня сейчас и пахнет, я же чувствую.

Мартышкой.

Она увидела в зеркале заднего вида глаза Эндрю и пожалела, что у него стало такое выражение глаз. Иногда не удается удержать в себе не только мочу.

— Мне очень жаль, мисс Холмс.

— Нет, — сказала она, опять потирая виски. — Это мне жаль, что я вас расстроила. Это были трудные три дня, Эндрю.

— Еще бы, — сказал он тоном шокированной старой девы, который заставил ее невольно рассмеяться. Но большая часть ее не смеялась. Она думала, что знает, во что ввязывается, что полностью представляет себе, насколько может быть скверно. Но она ошиблась.

Трудные три дня. Что ж, можно сказать и так. А можно и по-другому: что три дня, проведенные ею в Оксфорде (штат Миссисипи) были краткосрочным пребыванием в аду. Но есть вещи, которые невозможно сказать. Которые ты раньше умрешь, чем скажешь... если тебя не призовут свидетельствовать о них перед Престолом Бога, Отца Всемогущего, где, как она полагает, следует признавать даже такие истины, которые вызывают адские грозы в этом странном сером студне у тебя в черепе (ученые утверждают, что в этом сером студне нет нервов, а уж если это не чепуха на постном масле, так она просто не знает, что же тогда считать чепухой).

— Я хочу только добраться до дома и мыться, мыться, мыться, и спать, спать, спать. И тогда, я думаю, я опять буду в полной норме.

— Да конечно же! Так оно и будет, обязательно! — Эндрю хотел за что-то извиниться, и эти слова были самым большим, на что он был способен в смысле извинения. И он не хотел рисковать заходить в разговоре дальше этого. Поэтому они подъехали к серому многоквартирному дому в викторианском стиле на углу Пятой авеню и Южной улицы Центрального Парка в непривычном молчании. Это был очень престижный дом, и она полагала, что поэтому, живя в нем, она сбивает цену на него, и знала, что в этих шикарных квартирах есть люди, которые без самой крайней необходимости не станут с ней разговаривать, но это было ей довольно безразлично. Кроме того, она была по общественному положению выше их, и они знали, что она выше их. Ей не раз приходило в голову, что некоторых из них должно здорово злить, что какая-то черномазая живет в пентхаусе этого прекрасного, солидного дома, в который когда-то чернокожие допускались только в качестве прислуги — лакеев, горничных, может быть, шоферов. Она надеялась, что это их действительно здорово злит, и бранила себя за то, что она такая вредная и что это не по-христиански, но она все равно хотела этого, она не сумела остановить струю мочи, лившейся в ее тонкие шелковые импортные трусики, и поток этой мочи она, кажется, тоже не могла остановить. Это было подло, это было не по-христиански, и почти так же нехорошо — нет, хуже, по крайней мере, что касается Движения, это вело к обратным результатам. Они добьются тех прав, которых им необходимо добиться, и, по всей вероятности, в этом году: Джонсон, помня о наследии, оставленном ему убитым президентом (и, быть может, желая забить еще один гвоздь в крышку гроба Барри Голдуотера), будет не просто следить, чтобы Закон о Гражданских Правах был принят; если потребуется, он вколотит его в свод законов. Поэтому необходимо свести к минимуму злобу и боль. У них еще много работы. Ненависть не поможет выполнить эту работу. Ненависть, по существу, будет просто мешать ей.

Но иногда человек все равно продолжает ненавидеть.

Оксфорд-Таун объяснил ей и это.

Детта Уокер абсолютно не интересовалась Движением, да и квартира у нее была куда скромнее. Она жила в мансарде облезлого многоквартирного дома в Гринич-Вилледж. Одетта не знала про мансарду, а Детта не знала про пентхаус, и единственный, кто подозревал, что дело не совсем ладно, был Эндрю Фийни, шофер. Он поступил на службу к отцу Детты, когда Одетте было четырнадцать лет, а Детта еще почти не существовала.

Время от времени Одетта исчезала. Эти исчезновения могли длиться несколько часов, а иногда и несколько дней. Прошлым летом она исчезла на три недели, и Эндрю уже совсем было собрался звонить в полицию, как вдруг однажды вечером Одетта позвонила ему и попросила подать машину завтра к десяти утра, сказала, что собирается за покупками.

У него на языке вертелись слова: «Мисс Холмс! Да где ж вы были-то?» — Но он уже раньше спрашивал об этом и получал в ответ только изумленные взгляды — по-настоящему изумленные, он был в этом уверен. — «Здесь, конечно, — говорила она каждый раз. — Здесь, Эндрю, где же еще, ведь вы меня каждый день возили в два-три места, разве нет? Уж не маразм ли у вас начинается, а?» — И она начинала смеяться, а если настроение у нее было уж очень хорошее (а после ее исчезновений так бывало очень часто), она трепала его по щеке.

— Слушаюсь, мисс Холмс, — ответил он. — Есть подать машину к десяти.

В тот страшный раз, когда она пропадала три недели, Эндрю положил трубку, закрыл глаза и прочел короткую благодарственную молитву Пресвятой Деве за благополучное возвращение мисс Холмс. А потом позвонил Говарду, швейцару в ее доме.

— В котором часу она приехала?

— Минут двадцать назад, — ответил Говард.

— Кто ее привез?

— Не знаю. Ты же знаешь, как оно бывает. Каждый раз другая машина. Иногда они паркуются за домом, я их даже не вижу, даже и не знаю, что она вернулась, пока не зазвонит звонок, а тогда выгляну и увижу, что это она. — Помолчав, Говард добавил: — У нее на левой щеке здоровенный фингал.

Говард был прав. Фингал в свое время действительно был здоровеннейший, а теперь уже начал проходить. Как он выглядел, когда был свежий, Эндрю даже думать было неприятно. На следующее утро мисс Холмс появилась ровно в десять, в шелковом сарафанчике с тоненькими, как спагетти, бретельками (дело было в конце июля), и к этому времени синяк уже начал желтеть. Она попыталась замазать его макияжем, но особых усилий не прилагала, словно знала, что, если перестарается, это будет только привлекать к нему внимание.

— Где это вы так приложились, мисс Холмс? — спросил он.

Она весело рассмеялась: «Вы же меня знаете, Эндрю — я всегда была неуклюжа. Я вчера вылезала из ванны, торопилась, хотела не пропустить последние известия, и у меня рука сорвалась с поручня. Я упала и ударилась щекой. — Она испытующе посмотрела ему в лицо. — Вы уж готовы начать блекотать насчет докторов и обследований, правда? Не трудитесь отвечать; я вас за все эти годы так изучила, что насквозь вижу. Ни к кому я не пойду, так что и просить не трудитесь. Я себя прекрасно чувствую. Вперед, Эндрю! Я намерена скупить половину магазина Сакса, весь магазин Джимбела, а в промежутке съесть все, что есть в «Четырех временах года».

— Хорошо, мисс Холмс, — сказал он и улыбнулся. Улыбка получилась вымученная и далась ему не без усилий. Этому синяку был не один день, ему было не меньше недели... да и вообще он знал, что все не так. Всю последнюю неделю он звонил ей каждый вечер, в семь часов, потому что если мисс Холмс когда-нибудь можно застать дома, то именно в семь часов, когда передают «Репортаж Хантли-Бринкли». Мисс Холмс — прямо наркоманка на эти теленовости. То есть он звонил ей каждый вечер, кроме вчерашнего. А вчера он поехал туда и выклянчил у Говарда ее ключ. В нем неуклонно росла уверенность, что с ней случилось то самое, о чем она сейчас рассказала... только она не набила себе синяк и не сломала руку или ногу, а умерла, умерла совсем одна и сейчас так и лежит там мертвая. Он вошел в квартиру с колотящимся сердцем, чувствуя себя, как кошка в темной комнате, в которой во всех направлениях натянуты рояльные струны. Но оказалось, что волноваться нечего. На кухонном столе стояла масленка, и, как видно, простояла достаточно долго, чтобы масло густо заросло плесенью, хотя и было закрыто крышкой. Он вошел в квартиру в без десяти семь, а вышел в пять минут восьмого. За это время он быстро осмотрел всю квартиру, заглянул и в ванную. Ванна была сухая, полотенца развешаны аккуратно — даже, можно сказать, в строгом порядке, все поручни — а их здесь было множество — протерты до яркого стального блеска, и ни пятнышка от воды на них не было.

Он знал, что случая, о котором она рассказала, не было.

Но, по мнению Эндрю, она и не лгала. Она верила в то, о чем ему рассказала.

Он опять взглянул в зеркало заднего вида и увидел, что она легонько потирает виски кончиками пальцев. Это ему не понравилось. Слишком много раз он видел, что она так делала перед своим очередным исчезновением.

Эндрю не стал выключать мотор, чтобы отопление работало и ей было бы тепло, потом подошел к багажнику. Посмотрел на ее два чемодана, и его опять передернуло. Вид у них был такой, будто их безжалостно гоняли пинками взад-вперед раздраженные люди с плохо развитыми мозгами и хорошо развитыми мышцами, обращавшиеся с чемоданами так, как хотели бы, да не решались, обращаться с самой мисс Холмс — как они, возможно, стали бы обращаться, например, с ним, если бы он был там. Дело было не только в том, что она — женщина; она ведь черномазая, нахалка-черномазая с Севера, которая лезет, куда ей лезть нечего, и они, наверно, считали, что такая женщина именно того и заслуживает, что получила. Штука была в том, что она — еще и богатая черномазая. Штука была в том, что она известна американской публике почти так же хорошо, как Медгар Эверс или Мартин Лютер Кинг. Штука была в том, что она проперла свою богатую черную рожу на обложку журнала «Тайм», а такой бабе не так-то легко без последствий сунуть перо в бок, а потом сказать: «Чегой-то? Нет, сэр, босс, мы у нас тута никого такого и в глаза не видали, верно, ребята?» Штука была в том, что не так-то легко накрутить себя до такой степени, чтобы сделать что-нибудь плохое с единственной наследницей Стоматологических Предприятий Холмса, когда на ихнем солнечном Юге есть двенадцать заводов Холмса, а один из них — и вовсе в соседнем с Оксфорд-Тауном округе.

Вот они и сделали с ее чемоданами то, чего не смели сделать с ней самой.

Он посмотрел на эти немые свидетельства ее пребывания в Оксфорд-Тауне со стыдом, и яростью, и любовью — эмоциями столь же бессловесными, как царапины на багаже, который, уезжая, имел щегольской вид, а когда вернулся, вид у него стал побитый и отупевший. Он смотрел, на время утратив способность двигаться, и выдыхал в морозный воздух облачка пара.

Говард уже шел к ним, чтобы помочь, но Эндрю, прежде, чем взяться за ручки чемоданов, помедлил еще секунду. Кто вы, мисс Холмс? Кто вы на самом деле? Куда вы иногда исчезаете, и что вы такое плохое делаете, что вам приходится даже для себя самой сочинять небылицы об исчезнувших куда-то часах или днях? И в эту секунду, пока Говард еще не подошел, у Эндрю мелькнула еще одна мысль, странно подходящая к ситуации: «Где остальная часть вас?»

«А ну, кончай думать такое. Если здесь кому и можно думать такие вещи, так это миссис Холмс, но она-то их не думает, стало быть, и тебе нечего».

Эндрю вынул чемоданы из багажника и передал Говарду, который тихонько спросил: «Как она, в порядке?»

— По-моему, да, — ответил Эндрю, тоже понизив голос. — Просто она устала, вот и все. Вся насквозь устала, до самых своих корешков.

Говард кивнул, взял побитые чемоданы и пошел к дому. Он задержался лишь на минуту, чтобы тихонько и почтительно козырнуть Одетте Холмс, которую было почти не видно за притененными стеклами автомобиля.

Когда он ушел, Эндрю достал со дна багажника сложенную раму из нержавеющей стали и начал раскладывать ее. Это было инвалидное кресло на колесах.

С 19 августа 1959 года, уже примерно пять с половиной лет, у Одетты Холмс не было ног от колен и ниже. Не было так же, как этих отсутствующих часов и дней.

До случая в метро сознание Детты Уокер включалось всего несколько раз — эти случаи были, как коралловые острова, которые кажутся изолированными тем, кто находится над ними, тогда как на самом деле они — лишь бугорки на позвоночнике длинного архипелага, расположенного главным образом под водой. Одетта совершенно не подозревала о существовании Детты, а Детта не имела ни малейшего представления о том, что существует такой человек, как Одетта... но Детта, по крайней мере, ясно понимала, что что-то не так, что кто-то выделывает с ее жизнью какие-то блядские фокусы. Воображение Одетты превращало в роман все те разнообразные вещи, которые происходили, когда ее телом управляла Детта; Детта была не настолько умна. Ей казалось, что она что-то помнит, во всяком случае, какие-то отдельные моменты, но чаще всего она ничего не помнила.

Детта сознавала (хотя бы частично), что у нее в сознании есть какие-то провалы.

Она помнила фарфоровую тарелочку. Это-то она помнила. Помнила, как сунула ее в карман своего платьица, все время озираясь через плечо — не подглядывает ли Тетка Синька. Детта каким-то образом смутно понимала, что фарфоровая тарелочка — не просто тарелочка, а напамять. Потому-то Детта ее и взяла. Детта помнила, что отнесла ее в одно тайное место, которое она знала под названием Свалки (хотя и не знала, откуда она это знает), к дымящейся, засыпанной мусором ямке в земле, где она однажды видела горящего младенца с пластмассовой кожей. Она помнила, как аккуратно поставила тарелочку на засыпанную щебенкой землю и начала было топтать ее, но остановилась, помнила, как сняла свои простые хлопчатобумажные трусики и сунула их в карман, где перед этим лежала тарелочка, а потом осторожно приложила указательный палец левой руки к разрезу у себя между ногами, где Глупый Старый Бог плохо, неплотно соединил ее, как и всех других девочек-и-женщин, но что-то хорошее в этом месте, видимо, все-таки было, потому что она помнила пронзившее ее ощущение, помнила, как ей хотелось нажать, помнила, каким восхитительным было ее влагалище, когда оно было обнажено, когда его не отделяли от всего мира хлопчатобумажные трусики, и она не нажимала, не нажимала до тех пор, пока не нажала ее туфелька, ее черная лакированная туфелька, пока ее туфелька не нажала на тарелочку, вот тогда она нажала пальцем на этот разрез так, как нажимала ногой на фарфоровую тарелочку, на эту напамять Тетки Синьки, она помнила, как черная лакированная туфелька накрыла нежный синий узор-паутинку, покрывавший край тарелочки, помнила нажатие, да, помнила, как она нажимала на Свалке, нажимала пальцем и ногой, помнила сладостное обещание пальца и разреза, помнила, что, когда тарелочка раскололась с горестным ломким хрустом, такое же хрупкое наслаждение пронзило ее от этого разреза вверх, вонзившись, как стрела, в ее внутренности, помнила сорвавшийся со своих губ крик, неприятный, каркающий, как крик вороны, которую спугнули с кукурузной делянки, помнила, как тупо смотрела на осколки тарелочки, а потом медленно достала из кармана платьица свои простые белые хлопчатобумажные трусики и снова надела их, нижнее белье, когда-то она слышала, что кто-то их так назвал, но когда — в ее памяти не сохранилось, воспоминание плавало, как куски дерна во время прилива, нижнее белье, хорошее название, потому что ты сперва спускаешь их вниз и снимаешь, переступая сперва одной черной лакированной туфелькой, потом другой, чтобы сделать свое дело, и подтягиваешь их наверх, хорошее название, и трусики были хорошие, ей так отчетливо помнилось, как она натягивает их, и они скользят вверх по ногам, вот они уже выше колен, корочка на левой коленке вот-вот отвалится, и останется новая, тоненькая, чистенькая розовая кожица, да, она помнила это так отчетливо, словно это было не неделю или день назад, а всего одно-единственное мгновение назад, она помнила, как резинка трусиков оказалась вровень с подолом ее выходного платья, помнила, какой белой была хлопчатобумажная ткань на фоне ее коричневой кожи, как сливки, да, как струя сливок из кувшинчика, наклоненного над кофе, помнила, какая была материя на ощупь, помнила, как трусики медленно исчезали под подолом платья, вот только платье было оранжевое, она не натягивала трусики, а стягивала их, но они и в этот раз были белые, только не хлопчатобумажные, а нейлоновые, дешевые прозрачные нейлоновые трусики, дешевые не только в прямом смысле, и она помнила, как стянула их вниз, как переступила через них и как они мерцали на коврике на полу «Доджа де Сото» сорок шестого года, да, какие они были белые, какие они были дешевые, они не заслуживали, чтобы их с достоинством именовали бельем, это были просто дешевые трусики, и девчонка была дешевая, и хорошо было быть дешевой, быть всегда в продаже, выставлять себя на аукцион в качестве даже не шлюхи, а хорошей свиноматки; она помнила не круглую фарфоровую тарелочку, а круглое белое удивленное лицо юнца, какого-то пьяного удивленного мальчишки-студентика, он не был фарфоровой тарелочкой, но лицо у него было такое же круглое, как фарфоровая тарелочка Тетки Синьки, и на щеках у него были тоненькие прожилки, и они казались такими же синими, как прожилки узора на на памяти, на фарфоровой тарелочке Тетки Синьки, но это было только потому, что неоновый свет был красный, неоновый свет был слепящий, в темноте, при свете неоновой вывески кровь, выступившая у него на лице в тех местах, где она его расцарапала, казалась синей, и он говорил: «Зачем ты зачем ты зачем ты это», а потом он опустил стекло и выставил лицо в окно, и его стало рвать, и она помнила, что слышала доносившийся из музыкального автомата голос Доди Стивенс, певшей про желтые ботинки с розовыми шнурками и большую панаму с пурпуровой лентой, помнила, что когда его рвало, звук был, как скрежет щебня в бетономешалке, а его пенис, который несколько мгновений назад торчал у него из спутанных лобковых волос лиловато-синим восклицательным знаком, теперь спадался в бессильный белый знак вопроса; она вспомнила, что хриплые, как скрежет щебня, звуки прекратились, и она подумала: «Ну, кажется, слабо ему меня трахнуть» и засмеялась, и прижала палец (который теперь был вооружен длинным изящным ногтем) к влагалищу, которое было обнажено, но теперь уже не было голым, потому что покрылось жесткими, спутанными волосами, и в ней опять что-то хрупко сломалось, как тогда, наслаждение все еще было смешано пополам с болью (но лучше, гораздо лучше, чем совсем ничего), а потом он стал ощупью искать ее, обиженно твердя срывающимся голосом: «Ах ты, пизда черномазая проклятая», а она все равно продолжала смеяться и без труда уворачивалась от него, а потом схватила свои трусики и открыла дверцу машины со своей стороны, в последний раз почувствовала, как он неуклюже задел пальцами ее блузку сзади, и убежала в майскую ночь, полную благоухания ранней жимолости, и красно-розовый неоновый свет, мигая, отражался от щебенки какого-то послевоенного паркинга, и засунула трусики, свои дешевые блестящие нейлоновые трусики, не в карман платья, а в сумочку, набитую, как у всех девчонок-подростков, веселым скоплением всевозможной косметики, и вот она бежит, а свет мигает, и вот ей уже двадцать три года, и это уже не трусики, а нейлоновый шарф, и она, идя вдоль прилавка в галантерейном отделе универмага Мэйси, небрежно сует его в свою сумочку — шарф, который в то время стоил 1 доллар 99 центов.

Дешевый.

Дешевый, как те белые нейлоновые трусики.

Дешевый.

Как она сама.

Тело, в котором она жила, принадлежало женщине, унаследовавшей миллионы, но это не было ей известно и не имело значения — шарф был белый, кайма была синяя, и она ощутила то же самое слабое, ломкое наслаждение, когда села на заднее сиденье такси и, не обращая внимания на водителя, сжала шарф в одной руке, не отрывая от него глаз, а вторую руку украдкой засунула себе под твидовую юбку, под ножку своих белых трусиков, и этот ее длинный темный палец одним безжалостным ударом сделал то дело, которое было необходимо сделать.

Так что иногда она рассеянно спрашивала себя, где она бывает, когда она не здесь, но большей частью ее потребности были слишком внезапными и настоятельными и не давали ей возможности долго размышлять, и она просто выполняла то, что было необходимо выполнить, делала то, что должно было быть сделано.

Роланд бы понял.

Одетта могла бы сколько угодно разъезжать в лимузинах, даже в 1959 году, хотя тогда ее отец был еще жив, и она была не так баснословно богата, как позже, когда он в 1962 году умер, деньги, распоряжаться которыми было поручено опекунам, перешли в ее полную собственность в день ее двадцатипятилетия, и она получила право и возможность делать все, что угодно. Но ей очень и очень не нравилось словцо, пущенное в оборот год-два назад одним фельетонистом-консерватором: «лимузинные либералы» — и она была еще достаточно молода, чтобы не желать считаться лимузинной либералкой, даже если и была ею на самом деле. Не настолько молода (или не настолько глупа!), чтобы верить, что несколько пар выцветших джинсов и рубах цвета хаки, которые она обычно носила, или то, что она ездит на автобусе или на метро, хотя могла бы воспользоваться машиной (но она была достаточно занята собой, чтобы не замечать обиженное и глубокое недоумение Эндрю; он хорошо относился к ней и считал, что с ее стороны это какая-то личная антипатия), хоть в какой-то степени реально меняют суть ее социального положения, но достаточно молода, чтобы все еще верить, что жест иногда может победить (или хотя бы заслонить) истину.

Ночью 19 августа 1959 года она заплатила за этот жест половиной своих ног... и половиной своей психики.

Одетту сначала потащила, потом поволокла, потом накрыла с головой волна, которой впоследствии суждено было превратиться в девятый вал. В 1957 году, когда она включилась в это, явление, которое впоследствии стало называться Движением, еще не имело никакого названия. Она частично знала историю проблемы, знала, что борьба за равенство не прекращается даже не с «Манифеста об Освобождении Рабов», а чуть ли не с того момента, как первую партию рабов привезли на корабле в Америку (а конкретно — в Джорджию, колонию, которую британцы основали, чтобы избавляться от своих преступников и несостоятельных должников), но Одетте казалось, что для нее эта борьба всегда начинается в одном и том же месте, одними и теми же пятью словами: «Никуда я отсюда не двинусь».

Местом, где все началось, был городской автобус в Монтгомери (штат Алабама), а эти слова сказала негритянка по имени Роза Ли Паркс, а двинуться Роза Ли Паркс не собиралась из передней части этого городского автобуса назад, где, разумеется, в этом городском автобусе были места для Джима Кроу [«Джим Кроу» (Джим Ворона) — презрительное прозвище негров в слэнге США]. Много времени спустя Одетта вместе со всеми остальными будет петь «Нас не сдвинешь», и эта песня всегда будет напоминать ей о Розе Ли Паркс, и всякий раз, как она будет петь ее, ей будет стыдно. Так легко петь мы, когда твои руки сцеплены с руками целой толпы; это легко даже для безногой. Так легко петь «мы», так легко быть «мы». А в том автобусе не было никаких мы, в том автобусе, должно быть, воняло старой-старой кожей сидений и накапливающимся годами сигарным и сигаретным дымом, в нем были объявления, гласившие КУРИТЕ «ЛАККИ СТРАЙК»; и: РАДИ БОГА, ХОДИТЕ В ЦЕРКОВЬ ПО ВАШЕМУ ВЫБОРУ; и: ПЕЙТЕ ОВАЛЬТИН — И ВЫ ПОЙМЕТЕ, О ЧЕМ МЫ; и: ЧЕСТЕРФИЛЬД — ДВАДЦАТЬ ВЕЛИКОЛЕПНЫХ СИГАРЕТ ИЗ ДВАДЦАТИ ОДНОГО СОРТА ВЕЛИКОЛЕПНОГО ТАБАКА; никаких мы не было под изумленными взглядами не верящих своим ушам водителя, белых пассажиров, среди которых она сидела, и точно так же не верящих своим ушам чернокожих пассажиров на задних сидениях.

Никаких мы.

Только Роза Ли Паркс, породившая девятый вал пятью словами: «Никуда я отсюда не двинусь».

Одетта часто думала: «Если бы я сумела сделать что-нибудь в этом роде — если бы я сумела быть такой же мужественной — я думаю, я всю жизнь чувствовала бы себя счастливой. Но такого мужества мне не дано».

Она читала о происшествии с Паркс, но в начале без особого интереса. Интерес появился постепенно. Трудно было сказать, когда именно или как именно это — вначале почти беззвучное — расотрясение, которое начало сотрясать Юг, захватило и воспламенило ее воображение.

Примерно год спустя молодой человек, с которым она тогда встречалась более или менее регулярно, начал брать ее с собой в Гринич-Вилледж, где некоторые из выступавших там молодых (и большей частью белых) певцов в стиле «фолк» вдруг ввели в свой репертуар — в дополнение ко всему этому старому нытью про то, как Джон Генри взял свой молот, да и перегнал в работе новый паровой молот (в процессе чего и помер, ах ты, Господи), и как жестокая Барбара Аллен отвергла страдавшего по ней юного влюбленного (да в конце концов со стыда-то и померла, ах ты, Господи) — новые песни, песни о том, каково это, когда ты в городе никто и ничто и никто тебя знать не желает; каково это, когда тебе не дают работы, которую ты мог бы делать, потому что кожа у тебя не того цвета; каково это, когда мистер Чарли [так негры в США называют белых] бросает тебя в тюремную камеру и избивает тебя, потому что у тебя темная кожа и ты осмелился (ах ты, Господи) усесться в предназначенном для белых отделении закусочной в универмаге Вулворта в городе Монтгомери (штат Алабама).

Как это ни нелепо, но она только тогда начала интересоваться своими родителями, и их родителями, и родителями их родителей. Ей не довелось прочесть «Корни» — задолго до того, как эта книга была написана, а может быть, даже задумана, Алексом Хейли, она попала в другой мир и в другое время — но именно в этот, нелепо поздний период ее жизни до нее впервые дошло, что не так уж много поколений назад ее предков заковывали в цепи белые. Разумеется, сам этот факт приходил ей в голову и раньше, но всегда — просто как информация, от которой ни жарко, ни холодно, как уравнение, и ни разу — как нечто, имеющее непосредственное отношение к ее собственной жизни.

Одетта подвела итог всему, что знала, и ужаснулась тому, каким он оказался малым. Она знала, что ее мать родилась в Одетте (штат Арканзас), в городке, в честь которого ее (единственного ребенка) и назвали. Она знала, что ее отец был провинциальным зубным врачом и изобрел и запатентовал технологию изготовления и установки коронок, которая десять лет пролежала незамеченной, а потом вдруг сделала его довольно богатым человеком. Она знала, что за эти десять лет, до того, как он начал богатеть, и за следующие четыре года ее отец разработал еще целый ряд зубоврачебных методик, главным образом ородонтального или косметического характера, и что вскоре после того, как он с женой и дочерью (родившейся через четыре года после получения им первого патента) переехал в Нью-Йорк, он основал компанию под названием «Стоматологические Предприятия Холмса», которая теперь занимала в стоматологической промышленности такое же место, как компания «Скуибб» — в производстве антибиотиков.

Но когда она расспрашивала отца, как они жили до этого — в те годы, когда ее еще не было на свете, и в те годы, когда она уже появилась — он ей не рассказывал. Он говорил самые разные вещи, но не рассказывал ей ничего. Он замкнул от нее эту часть себя.

Однажды ее ма, Алиса — он называл ее «ма», а иногда, когда бывал немного выпивши или в хорошем настроении, Элли — сказала: «Дэн, расскажи ей про тот раз, когда ты вел «Форд» по крытому мосту, а те люди в тебя стреляли», а он посмотрел на Одеттину ма таким мрачным и грозным взглядом, что ма, всегда веселая, как воробышек, вся сжалась на своем стуле и замолчала.

После этого вечера Одетта несколько раз приставала к матери, когда они были одни, но безрезультатно. Если бы она попыталась сделать это раньше, может быть, она бы что-нибудь и узнала, но раз отец не хотел говорить, то и мать не хотела говорить... а для него, как поняла Одетта, прошлое — эти родственники, эта красная глина дорог, эти лавчонки, эти лачуги с земляными полами, с окнами без стекол, не украшенными ни единой, хотя бы самой простенькой, занавеской, эти мучительные, обидные инциденты, эти соседские дети, разгуливавшие в платьицах, сделанных из мешков от муки, — все это для него было глубоко похоронено, спрятано, как мертвые зубы под великолепными, ослепительно белыми коронками. Он не хотел рассказывать, быть может, не мог, быть может, добровольно вызвал у себя амнезию; их жизнь в многоквартирном доме «Греймарл Апартментс» на Сентрал-Парк Саут-стрит была, как зубы под коронками. Все остальное было скрыто под этим непроницаемым наружным покрытием. Его прошлое было так хорошо защищено, что не осталось ни единой щелочки, в которую можно было бы проскользнуть, не было никакой возможности проникнуть через этот совершенный, закрытый коронками барьер в горло откровения.

Детта знала многое, но Детта не знала Одетту, а Одетта не знала Детту, поэтому и там зубы были такие же гладкие и так же плотно закрыты, как ворота редана.

Одетта унаследовала не только спокойную жесткость своего отца, но отчасти и застенчивость своей матери, и она лишь один-единственный раз попыталась продолжить расспросы на эту тему, дать ему понять, что он отказывает ей в заслуженном доверии, которое, правда, не было ей обещано, и которому, по-видимому, не суждено созреть. Это было однажды вечером в его библиотеке. Он тщательно расправил свою «Уолл-стрит Джорнэл», закрыл, сложил и отложил на дощатый сосновый стол рядом с торшером. Он снял свои очки со стальными оглоблями, без оправы, и положил их на газету. Потом он взглянул на нее, худой негр, такой худой, что казался почти истощенным, с курчавыми седыми волосами, с быстро увеличивающимися залысинами на висках, которые становились все более впалыми, на которых равномерно бились нежные пружинки вен, и сказал только: «Об этом периоде своей жизни, Одетта, я не говорю и не думаю. Это было бы бессмысленно. Мир с тех пор сдвинулся с места и ушел далеко».

Роланд бы понял.

Когда Роланд открыл дверь, на которой были написаны слова ВЛАДЫЧИЦА ТЕНЕЙ, он увидел вещи, совершенно ему непонятные — но он понимал, что они не имеют значения.

Это был мир Эдди Дийна, но в остальном это была только сумятица огней, людей и предметов — такого множества предметов, какого он никогда в жизни не видел. Судя по виду предметов, они предназначались для дам и были выставлены на продажу. Некоторые — под стеклом, некоторые были разложены соблазнительными стопками и рядами. Все это имело не больше значения, чем движение, когда этот мир тек перед ним мимо краев дверного проема. Дверным проемом были глаза Владычицы. Роланд смотрел ими точно так же, как раньше смотрел глазами Эдди, когда Эдди шел по проходу в небесном вагоне.

А вот Эдди был словно громом поражен. Револьвер в его руке задрожал и чуть опустился. Стрелок мог бы без труда отобрать его у Эдди, но не стал. Он просто стоял спокойно. Этому трюку он научился давным-давно.

Теперь картина, открывавшаяся за дверью, резко повернулась; у стрелка от таких поворотов кружилась голова, а Эдди этот стремительный поворот как-то странно успокоил. Роланд никогда не видел ни одного кинофильма. Эдди видел тысячи, и то, на что он сейчас смотрел, было похоже на один из проездов камеры, как в «Хэллоуине» или в «Сиянии». Он даже знал, как называется аппарат, которым делают такие съемки. «Стеди-Кэм», вот как.

— И в «Звездных войнах» тоже, — пробормотал он. — Звезда Смерти. Офигительная штука, помнишь?

Роланд посмотрел на него и ничего не сказал.

В том, что Роланд воспринимал, как дверной проем, а Эдди уже начал считать неким волшебным киноэкраном, в который при определенных условиях можно было войти — так, как в «Пурпурной розе Каира» тот малый просто взял да сошел с экрана в реальный мир — показались руки. Темно-коричневые руки. Паскудное кино.

До этой минуты Эдди не понимал, насколько паскудное.

Вот только по ту сторону двери, через которую он смотрел, этот фильм еще не сняли. Это был Нью-Йорк, правильно, — самый звук клаксонов такси, даже такой слабый и глухой, каким-то образом доказывал это — и какой-то нью-йоркский универмаг, куда он однажды заходил, но все было... было...

— Старше, — пробормотал он.

— До твоего когда? — спросил стрелок.

Эдди взглянул на него и коротко хохотнул.

— Ага. Можно и так сказать, правильно.

— Хелло, мисс Уокер, — осторожно сказал женский голос. Картина в двери скользнула вверх так внезапно, что даже у Эдди слегка закружилась голова, и он увидел продавщицу, которая, очевидно, знала обладательницу черных рук — знала и то ли не любила, то ли боялась. Или и то, и другое. — Чем я могу помочь вам сегодня?

— Вот этот. — Обладательница черных рук подняла вверх белый шарф с ярко-синей каймой. — И не трудитесь заворачивать, детка, просто суньте в пакет.

— Наличными или ч...

— Наличными, я же всегда плачу наличными, ведь так?

— Да, мисс Уокер, вот и отлично.

— Я так рада, душечка, что вы одобряете.

На лице продавщицы появилась гримаска — Эдди успел ее заметить, когда та отворачивалась. Может быть, дело было в том, что с продавщицей разговаривала женщина, которую она считала «нахальной черномазой» (опять-таки, эта мысль была вызвана не столько знанием истории или его личным опытом жизни на улице, сколько его опытом кинозрителя, потому что сейчас ему казалось, будто он смотрит фильм, который не то снят в шестидесятых годах, не то действие в нем происходит в те времена, что-то вроде «Душной ночью» с Сидни Стайгером и Родом Пуатье), но все могло быть и гораздо проще: черная ли, белая ли, а эта самая Роландова Владычица Теней была та еще хамка.

И ведь это, по существу, не имело значения, правда? Все это ни хрена не имело значения, ни малейшего. Ему было важно одно и только одно: выбраться отсюда к ебене матери.

Это был Нью-Йорк, он почти ощущал запах Нью-Йорка.

А раз Нью-Йорк — значит, и наркота.

Вот только тут была одна заковыка.

Здоровенная блядская заковыка.

Роланд внимательно наблюдал за Эдди и, хотя мог бы его десять раз убить почти в любой момент, если бы захотел, он не стал этого делать, а стоял неподвижно, молча, и ждал, чтобы Эдди сам разобрался в ситуации. У Эдди была уйма всяких качеств, и очень многие из них нельзя было считать хорошими (будучи человеком, сознательно давшим ребенку сорваться в бездну, стрелок прекрасно знал разницу между хорошим и плохим), но одного качества у Эдди точно не было — глупости.

Он — сообразительный парнишка.

Он разберется, что и как.

И он разобрался.

Он оглянулся на Роланда, улыбнулся, не разжимая губ, один раз перекрутил на пальце револьвер стрелка, неуклюже, пародируя шикарный заключительный жест балаганного стрелка в цель, и протянул его Роланду рукояткой вперед.

— Мне от этой штуки пользы, что от куска дерьма, правильно?

«Ведь можешь говорить, как умный человек, когда захочешь, — подумал Роланд. — Почему же ты так часто хочешь говорить — и говоришь — как дурак, Эдди? Потому что ты думаешь, что так говорили там, куда отправился твой брат со своими револьверами?»

— Правильно? — повторил Эдди.

Роланд кивнул.

— Если бы я все же всадил в тебя пулю, что стало бы с этой дверью?

— Не знаю. Я думаю, единственный способ узнать — это попробовать и посмотреть, что будет.

— Ну, а как ты думаешь, что было бы?

— Я думаю, она бы исчезла.

Эдди кивнул. Он тоже так думал. Пуф! И исчезнет, как по волшебству! Вот мы ее видим, а вот и не видим. По существу, произошло бы то же самое, что случилось бы в кинотеатре, если бы киномеханик вдруг вытащил шестизарядный пистолет и пальнул бы в проектор, не так ли?

Если расстрелять проектор, кино кончится.

Эдди не хотел, чтобы кино кончилось.

Эдди хотел получить за свои деньги все, что положено.

— Ты можешь пройти туда один, — медленно сказал Эдди.

— Да.

— В некотором роде.

— Да.

— Ты попадешь к ней в голову. Как попал в мою.

— Да.

— Значит, ты сможешь вроде как въехать в мой мир автостопом, и только.

Стрелок промолчал. Эдди порой употреблял слова, которые Роланд не совсем понимал, и одним из этих слов было автостоп... но общий смысл он уловил.

— Но ты мог бы пройти в своем теле. Как у Балазара. — Эдди говорил вслух, но на самом деле он разговаривал сам с собой. — Только для этого тебе был бы нужен я, так?

— Да.

— Тогда возьми меня с собой.

Стрелок уже открыл было рот, но Эдди торопливо продолжал:

— Не сейчас, я не имею в виду сейчас, — сказал он. — Я понимаю — если бы мы просто... выскочили там, как чертик из табакерки, началась бы свалка или что-нибудь такое. — Он засмеялся, и в этом смехе был отзвук безумия. — Как будто фокусник вытащил кроликов из шляпы, вот только шляпы-то никакой и не было, уж это точно. Мы дождемся, чтобы она осталась одна, и...

— Нет.

— Я вернусь с тобой, — сказал Эдди. — Клянусь тебе, Роланд. В смысле — я понимаю, что ты обязан довести свое дело до конца, и понимаю, что я — часть его. Я знаю, что ты спас мне шкуру на таможне, но думаю, что я спас тебе шкуру у Балазара — а ты как думаешь?

— Я тоже так думаю, — ответил Роланд. Он вспомнил, как Эдди поднялся из-за письменного стола, не думая об опасности, и на мгновение заколебался.

Но всего лишь на мгновение.

— Ну? Ты — мне, я — тебе. Рука руку моет. Мне всего-то и надо вернуться туда на пару часиков. Курочку взять на вынос в кафе-гриль, может, еще коробку пончиков. — Эдди кивнул на дверь, где все опять задвигалось. — Ну, что скажешь?

— Нет, — сказал стрелок, но в это мгновение он почти не думал об Эдди. Это движение вдоль прохода — Владычица, кто бы она ни была, двигалась не так, как обыкновенные люди — не так, как, например, двигался Эдди, когда Роланд смотрел его глазами или (он понял это теперь, когда задумался об этом, а раньше он никогда об этом не думал, так же, как никогда раньше не замечал постоянного присутствия у нижнего края своего поля зрения собственного носа), как двигается он сам. Когда идешь, поле зрения тихонько раскачивается, как маятник: левой ногой, правой ногой, левой, правой, мир покачивается туда-сюда, но так тихо и мягко, что через некоторое время — как полагал Роланд, вскоре после того, как научишься ходить — просто перестаешь замечать. В походке Владычицы не было ничего похожего на движение маятника — она просто плавно плыла по проходу, словно ехала по рельсам. Забавно, что у Эдди было такое же впечатление... только Эдди это напоминало проезд камеры. Это впечатление успокаивало его, потому что было знакомым.

Для Роланда оно было чуждым... но тут в его сознании взорвался ставший пронзительным голос Эдди.

— Это почему же «нет»? Какого хуя «нет»?

— Потому что тебе нужна не курочка, — сказал стрелок. — Я знаю, Эдди, как называется то, что тебе нужно. Тебе нужен «дозняк». Тебе нужно «заторчать».

— Ну и что? — закричал — почти завизжал — Эдди. — А хоть бы и так? Я же сказал, что вернусь с тобой! Я же тебе обещал! ОБЕЩАЛ, еб твою мать, понял, нет? Какого тебе еще нужно? Хочешь, чтобы я материным именем поклялся? Ладно! Клянусь именем матери! Хочешь, чтобы я поклялся именем моего брата Генри? Ладно, клянусь! Клянусь! КЛЯНУСЬ!

Энрико Балазар сообщил бы Роланду некий непреложный факт, но стрелок не нуждался, чтобы об этом ему говорили такие, как Балазар: никогда не доверяй торчку.

Роланд кивнул на дверь.

— С этой частью твоей жизни покончено, по крайней мере, пока не закончится дело с Башней. А после этого — мне безразлично. Потом — пожалуйста, можешь себя губить любым способом, каким захочешь. А до тех пор ты мне нужен.

— Ах ты, блядь, врун поганый, — негромко сказал Эдди. В его голосе не было слышно никаких эмоций, но стрелок увидел, что на глазах у него блестят слезы. Роланд ничего не ответил. — Ты знаешь, что никакого «после» не будет, ни для меня, ни для нее, или кто уж там окажется третьим. Скорее всего, и для тебя тоже не будет — у тебя вид такой же, на хуй, дохлый, какой бывал у Генри в самые худшие минуты. Если мы не умрем по пути к твоей Башне, так значит, как штык, умрем, когда доберемся до нее, так чего ж ты мне врешь-то?

Стрелок ощутил некий глухой стыд, но повторил только:

— По крайней мере, пока что с этой частью твоей жизни покончено.

— Да ну? — сказал Эдди. — Ну, а у меня, Роланд, есть для тебя кое-какие новости. Я же ведь знаю, что станет с твоим настоящим телом, когда ты пройдешь туда, в ее голову. Знаю, потому как уже видел. Мне твои револьверы ни к чему. Я тебя, друг ты мой, и так ухватил сам знаешь за что. Ты можешь даже повернуть ее голову, как поворачивал мою, и следить, что я буду делать с остальной частью тебя, пока ты будешь состоять только из своего треклятого ка. Мне бы хотелось подождать, пока начнет смеркаться, и оттащить тебя поближе к воде. Тогда ты бы смог полюбоваться, как омары хавают остальную часть тебя. Но, может, ты слишком спешишь, и это не получится.

Эдди помолчал. И скрежещущий звук разбивающихся волн, и ровный, гулкий вой ветра казались очень громкими.

— Так что я думаю просто перерезать тебе горло твоим же ножом.

— И навсегда закрыть эту дверь?

— Ты ж говоришь, что с этой частью моей жизни покончено. И ты не только про наркоту. Ты про Нью-Йорк, про Америку, про мое время, про все. А если так, то я хочу покончить и с этой частью тоже. Пейзажи здесь хреновые и компания говенная. Бывают моменты, Роланд, когда по сравнению с тобой даже Джимми Сваггарт кажется почти нормальным.

— Впереди — великие чудеса, — сказал Роланд. — Необычайные приключения. Более того, впереди — великая цель и возможность восстановить твою честь. И еще одно. Ты мог бы стать стрелком. В конце концов, не обязательно мне быть последним. В тебе есть задатки стрелка, Эдди. Я это вижу. Я это чувствую.

Эдди расхохотался, хотя слезы уже текли у него по щекам.

— Вот здорово! Ну прям здорово! Самое оно! Мой брат Генри — он был стрелком. Было это дело в стране под названием Вьетнам. Для него это было просто великолепно. Жаль, Роланд, не видал ты его, когда он торчал как следует. Он сам, без помощи, до блядского сортира дойти не мог. А если его некому было отвести, он просто сидел у ящика и смотрел соревнования по борьбе и делал все в штаны, на хуй. Быть стрелком — отличная штука. Мой брат был наркашом, а у тебя шарики за ролики на хрен зашли.

— Быть может, твой брат не имел четкого представления о чести.

— Может, и так. Мы, в «Проектах», не всегда четко представляли себе, что это такое. Это было просто слово, впереди которого надо было ставить слово «Ваша», если тебя заметут с косяком или когда ты тыришь с какой-нибудь тачки колеса и сволокут в суд.

Теперь Эдди плакал сильнее, но одновременно и смеялся.

— Вот и твои дружки тоже. Этот малый, про которого ты все говоришь во сне, этот фраер Катберт...

Стрелок невольно вздрогнул. Даже многолетняя закалка не помогла ему удержаться от этого движения.

— Им-то досталось хоть сколько-нибудь всего этого, о чем ты базаришь, как хренов сержант-вербовщик из морской пехоты? Приключений, поисков, чести?

— Да, они понимали, что такое честь, — медленно ответил Роланд, думая об остальных, об исчезнувших.

— Это дало им что-то большее, чем моему брату — то, что он был стрелком?

Стрелок ничего не ответил.

— Я тебя знаю, — сказал Эдди. — Я таких, как ты, видал вагон и маленькую тележку. Ты просто очередной псих, который распевает «Христово Воинство, Вперед», сжимая в одной руке знамя, а в другой револьвер. Не нужна мне никакая честь. А нужна мне только курочка-гриль и дознячок. В указанном порядке. Так что я тебе говорю: иди туда. Можешь. Но как только ты уйдешь, в ту же самую минуту, я убью остальную часть тебя.

Стрелок молчал.

Эдди криво улыбнулся и тыльной стороной рук смахнул слезы со щек.

— Хочешь знать, как у нас называют такие ситуации?

— Как?

— Мексиканская ничья.

Секунду они смотрели только друг на друга, а потом Роланд резко перевел взгляд на дверь. Они оба частично сознавали — Роланд в большей степени, чем Эдди — что картина опять сдвинулась, на этот раз влево. Здесь были разложены сверкающие драгоценности. Некоторые лежали под стеклом, но большая часть — нет, и стрелок предположил, что это дешевые побрякушки... то, что Эдди назвал бы бижутерией. Темно-коричневые руки перебрали — казалось, бегло и небрежно — несколько безделушек, и в это время подошла продавщица, уже другая. После короткого разговора, на который ни Роланд, ни Эдди не обратили особого внимания, Владычица (тоже мне Владычица, подумал Эдди) попросила показать что-то еще. Продавщица отошла, и в этот-то момент Роланд посмотрел туда снова.

Вновь показались коричневые руки, только теперь они держали сумочку. Она открылась. И вдруг руки начали сгребать в сумочку — по-видимому, даже наверное, наугад — вещи с прилавка.

— Ну, Роланд, набрал ты себе команду, — с горьким весельем сказал Эдди. — Сперва тебе достался типичный торчок, а потом тебе досталась типичная чернокожая магазинная воров...

Но Роланд уже шел к двери между мирами, быстро, даже не взглянув на Эдди.

— Я серьезно! — завопил Эдди. — Только уйди — я тебе тут же горло перережу, перережу твое гадское горло...

Он еще не договорил — а стрелок уже исчез. От него осталось лишь обмякшее, дышащее тело, лежащее на берегу.

Секунду Эдди просто стоял, не в силах поверить, что Роланд все-таки сделал это, в самом деле взял и сделал эту глупость, несмотря на то, что Эдди ему обещал — если на то пошло, гарантировал, искренне, мать его за ногу, гарантировал — какие будут последствия.

Секунду он стоял, и глаза у него закатывались, как у испуганной лошади, когда начинается гроза... только грозы, конечно, не было, если не считать той, что бушевала у него в голове.

Ну, ладно. Ладно, зараза.

Может, у него только и есть одна секунда. Может, больше времени стрелок ему не даст — Эдди прекрасно понимал это. Он взглянул в дверь и увидел, что черные руки замерли, наполовину опустив золотое ожерелье в сумочку, в которой все уже сверкало, как в сокровищнице пиратов. Эдди понял (хотя и не мог услышать), что Роланд заговорил с обладательницей черных рук.

Он вытащил из кошеля стрелка нож и повернул на спину обмякшее дышащее тело, лежавшее перед дверью. Глаза были открыты, но ничего не выражали, закатились так, что виднелись одни белки.

— Смотри, Роланд! — пронзительно крикнул Эдди. В его ушах выл этот монотонный, идиотский, непрекращающийся ветер. Господи, от этого хошь кто шизанется. — Смотри повнимательнее! Я хочу завершить твое сраное образование! Я хочу показать тебе, что бывает с теми, кто наебывает братьев Дийн!

Он поднес нож к горлу стрелка.

2. СТРЕМИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЖЕНИЯ

Август, 1959

Когда полчаса спустя врач-стажер вышел из здания больницы, он наткнулся на Хулио, привалившегося спиной к машине скорой помощи, которая все еще стояла на отведенной для «скорых» площадке при Больнице Сестер Милосердия на Двадцать третьей улице. Каблук остроносого сапожка Хулио был зацеплен за переднее крыло машины. Хулио успел переодеться в форму своей спортивной лиги (он играл в кегли) — ослепительно-розовые штаны и синюю рубаху, на левом кармашке которой золотыми стежками было написано его имя. Джордж сверился с часами и увидел, что команда Хулио, «Латиносы-авторитеты», уже должна бы катать.

— Я думал, ты ушел, — сказал Джордж Шэйверс. Он проходил в «Сестрах Милосердия» интернатуру. — Как твои ребята собираются выиграть без Чудо-Крюка? [крюк — один из ударов, когда мяч (шар) идет не прямо]

— А Мигель Басале у них на что? Поставят на мое место. Играет он неровно, но, бывает, раззадорится — ух!.. Так что не пропадут. — Хулио помолчал. — Мне стало любопытно, как все обернется. — Он работал шофером, этот кубинец с таким чувством юмора, что Джорджа порой посещали сомнения — а знает ли Хулио, чем обладает? Джордж огляделся. Никого из фельдшеров, с которыми они ездили, в поле зрения не было.

— А эти где? — спросил Джордж.

— Кто? Блядские близняшки Боббси? Шарят по Вилледж — миннесотских давалок ищут. Как думаешь, она вытянет?

— Не знаю. — Джордж постарался, чтобы его слова прозвучали глубокомысленно, так, будто ему было ведомо неведомое, но в действительности сначала дежурный врач, а затем пара хирургов забрали у него негритянку чуть ли не быстрее, чем можно проговорить «Упокой, Господи, душу...» (что, собственно, и вертелось уже у Джорджа на языке — судя по виду чернокожей дамы, жить ей оставалось недолго). — Она потеряла чертовски много крови.

— М-да, это вам не хвост собачий.

Джордж — один из шестнадцати интернов Больницы Сестер Милосердия — входил в восьмерку назначенных в программу «Дорога скорой помощи». Предполагалось, что интерн, выезжающий на вызовы с парой фельдшеров, порой в чрезвычайной ситуации способен отличить жизнь от смерти. Джордж знал: большинство фельдшеров считает, что салага-интерн с равным успехом может и спасти, и угробить. Впрочем, сам он думал, что идея, возможно, срабатывает.

Иногда.

Так или иначе, программа делала больнице колоссальную рекламу, и, хотя назначенные в нее интерны любили поворчать из-за лишних восьми часов без оплаты, в которые это еженедельно выливалось, Джорджу Шэйверсу казалось, что, как и он сам, почти все эти ребята ощущают себя великолепными, крутыми и способными выдержать все, что бы ни подбросила им на пути судьба.

Потом настала ночь, когда в Айдлуайлде разбился «Трай-Стар» Трансмировых Авиалиний. На борту — шестьдесят пять человек, шестьдесят из них — в том состоянии, какое Хулио Эстевес называл «КНМ», «Кончился На Месте». Трое из пяти оставшихся по виду напоминали нечто, счищенное с пода угольной топки... вот только то, что выскребают с пода топки, не стонет, не заходится в крике и не умоляет дать морфия или убить, верно? «Сумеешь принять такое, — думал позднее Джордж, вспоминая чудовищно изуродованные конечности среди останков алюминиевых закрылков и мягких сидений, и зазубренный огромный обломок хвоста с цифрами 1 и 7, большущей красной буквой «Т» и частью «М», вспоминая глазное яблоко, которое увидел на крышке обугленного чемодана, и плюшевого мишку с бессмысленно вытаращенными глазами-пуговицами, лежавшего возле маленькой красной кроссовки, внутри которой осталась ступня ребенка, — сумеешь принять такое, малыш, — сумеешь принять что угодно». И он отлично принял это, просто великолепно. И просто великолепно выдержал до самого дома. И продолжал отлично чувствовать себя за поздним ужином, разогретой свонсоновской индейкой-полуфабрикатом. И уснул без малейших затруднений, что не оставляло и тени сомнения: Джордж просто великолепно переносит увиденное. А в глухой предутренний час он очнулся от отвратительного кошмара, в котором на крышке обугленного чемодана лежала голова, только не плюшевого мишки, а матери Джорджа; голова открыла глаза, и оказалось, что они превратились в угольки, в вытаращенные, ничего не выражающие пуговичные гляделки игрушечного медвежонка; рот раскрылся, показав пеньки сломанных зубов (до того, как на последнем подходе в «Трай-Стар» угодила молния, на их месте красовались коронки), и мать прошептала: «Ты не смог спасти меня, Джордж, мы на всем экономили ради тебя, откладывали для тебя деньги, во всем себе отказывали, отец уладил передрягу с той девицей, А ТЫ ВСЕ РАВНО НЕ СМОГ МЕНЯ СПАСТИ, БУДЬ ТЫ ПРОКЛЯТ»; Джордж проснулся, пронзительно крича, и смутно осознал, что кто-то колотит в стену, но к тому времени он уже спешно мчался в туалет и едва успел принять перед фаянсовым алтарем коленопреклоненную позу кающегося грешника, как обед скоростным лифтом прибыл наверх. Он приехал спецдоставкой — горячий, дымящийся, еще хранящий запах переработанной индейки. Джордж стоял на коленях, глядя в унитаз на куски полупереваренной индюшатины, на морковь, нисколько не утратившую свою первоначальную флюоресцентную яркость, и в голове у него большими красными буквами полыхало:

ХВАТИТ.

Именно так:

ХВАТИТ.

Он намеревался выйти из костоправного дела, ведь

ХВАТИТ — ЗНАЧИТ, ХВАТИТ.

Джордж собирался бросить свое занятие, ибо девизом Лупоглаза [Лупоглаз — герой американского мультсериала, известен примитивной философией] было: «Вот все, что мне под силу стерпеть, но больше терпежу моего нету», а Лупоглаз — в полном порядочке, как в танке.

Джордж спустил воду, вернулся в постель и почти мгновенно уснул; а проснувшись, обнаружил, что по-прежнему хочет быть врачом; знать это наверняка было чертовски здорово и, может быть, стоило всей программы, как ее ни называй — «Дорога скорой помощи», «Ведро крови» или «Волшебная сила искусства».

Он по-прежнему хотел быть врачом.

У Джорджа была знакомая вышивальщица. Заплатив этой даме десятку (с огромным трудом выкроенную из бюджета), он вскоре получил небольшую вышивку в духе моды минувших лет. Аккуратные стежки складывались в надпись:

«КТО СПОСОБЕН ВЫНЕСТИ ТАКОЕ, СПОСОБЕН ВЫНЕСТИ ЧТО УГОДНО».

Да. Верно.

Четыре недели спустя случилась заварушка в метро.

— А знаешь, дамочка-то была офигенно странная, — сказал Хулио.

Джордж внутренне испустил вздох облегчения. Он подозревал, что лишился бы покоя и сна, не затронь Хулио этой темы. Джордж проходил интернатуру и в один прекрасный день собирался стать настоящим практикующим врачом — теперь-то он действительно в это поверил — но Хулио был стариком, а кому хочется ляпнуть глупость в присутствии старика? Хулио бы только рассмеялся и сказал: «Черт возьми, пацан, такое говно я видел тыщу раз. Возьми-ка полотенце да вытри что там у тебя на губах, а то оно еще не обсохло, по физиономии течет».

Но, по-видимому, такого Хулио тыщу раз не видел — и хорошо, поскольку Джорджу хотелось поговорить об этом.

— Верно, странная. Будто в ней сидело сразу два человека.

К своему изумлению Джордж заметил, что теперь полегчало уже Хулио, и внезапно устыдился. Хулио Эстевес, который собирался остаток своей жизни провести скромно, за баранкой лимузина с парой красных мигалок на крыше, только что проявил больше мужества, чем оказалось по силам Джорджу.

— В точку, док. Стопроцентное попадание. — Хулио вытащил пачку «Честерфильда» и сунул в уголок рта сигарету.

— Эта дрянь тебя угробит, чувак, — сказал Джордж.

Хулио кивнул и протянул ему пачку.

Некоторое время они молча курили. Не исключено, что фельдшеры гонялись за юбками, как сказал Хулио... а может, просто были сыты по горло. Да, верно, Джордж испугался не на шутку. Но он знал и кое-что еще — эту женщину спас он, не фельдшеры, — и понимал, что Хулио тоже это знает. Может быть, на самом деле Хулио остался ждать именно поэтому. Помогли двое: негритянка в годах да белый мальчишка, который позвонил фараонам, пока все прочие (за исключением черной старушенции), столпившись вокруг, только глазели на происходящее, точно это было какое-нибудь вонючее кино или телевизионка — быть может, часть эпизода из «Питера Ганна» — но в итоге все свелось к бояке Джорджу Шэйверсу, который как можно лучше исполнил свой долг.

Женщина ждала поезд, о котором был такого высокого мнения Дюк Эллингтон, тот самый легендарный поезд «А» [«Take The A Train», «Поезд А» или «Маршрут А» — джазовая мелодия, написанная Билли Стрейхорном и исполнявшаяся «Дюком» Эллингтоном. Поезд «А» — поезд, идущий из центра Нью-Йорка в Гарлем]. Хорошенькая молодая негритянка в джинсах и рубашке защитного цвета ждала идущий по маршруту «А» легендарный поезд, чтобы поехать на окраину, в жилую часть города, вот и все.

Ее кто-то столкнул.

Джордж Шэйверс не имел ни малейшего представления о том, поймала ли полиция эту мразь — его это не касалось. Его касалось другое: женщина, с пронзительным криком кувырнувшаяся в трубу тоннеля, прямо под колеса легендарному поезду «А», и чудом не угодившая на третью рельсу; эта легендарная третья рельса сделала бы с ней то же, что штат Нью-Йорк делает в Синг-Синге с бандитами, заработавшими дармовую поездку на том легендарном поезде «А», который заключенные прозвали «Старой Жаровней».

Чудеса электричества, прости Господи.

Она попыталась уползти с дороги, но времени чуть-чуть не хватило, и легендарный поезд «А» подкатил к станции, пронзительно скрежеща и изрыгая искры — машинист заметил женщину; впрочем, слишком поздно; слишком поздно для них обоих. Стальные колеса легендарного поезда «А» по живому отхватили женщине ноги над самыми коленями. И покуда все (только какой-то белый мальчишка вызвал фараонов) просто-напросто стояли, почесывая яйца (или, по предположению Джорджа, ковыряя в пизде), одна пожилая черная квочка спрыгнула вниз, вывихнув при этом бедро (позднее мэр вручит ей медаль «За храбрость»), и шарфом, которым были подхвачены ее волосы, как жгутом перетянула ляжку молодой женщины, откуда струей била кровь. Белый парнишка в дальнем конце платформы надрывался, требуя «скорую»; надсаживалась и черная старушенция — помогите кто-нибудь, Христа ради, дайте галстук или еще что, да что угодно, — и наконец какой-то немолодой белый, по виду бизнесмен, нехотя уступил и расстался со своим ремнем. Темнокожая цыпа преклонных лет взглянула на него и сказала то, что назавтра стало заголовком передовицы нью-йоркской «Дэйли Ньюз», слова, сделавшие ее подлинной чисто американской героиней: «Спасибо, брат». И стянула ремнем левую ногу молодой женщины на полпути от паха к тому месту, где до появления легендарного поезда «А» было колено.

Джордж услышал, как кто-то сказал кому-то, будто последними словами молодой негритянки перед тем, как она потеряла сознание, было: «КАКОЙ КОЗЕЛ ЭТО СДЕЛАЛ? ОТСЛЕЖУ СУКУ И НА ХУЙ ПРИБЬЮ!»

Пробить в ремне новые дырочки, чтобы пожилая негритянка сумела его застегнуть, не было никакой возможности, и старуха попросту не отступалась: она до последнего, до самого прибытия Хулио, Джорджа и фельдшеров, не отпускала ремень.

Джордж помнил желтую линию (и как мать наказывала ему: поджидая поезд, легендарный или нет, никогда, никогда, никогда не заступай за желтую линию), резкую вонь бензина и электричества, ударившую в нос, когда он спрыгнул вниз, на пути; помнил, как там было жарко. Словно и он, Джордж, и пожилая негритянка, и молодая темнокожая женщина, и поезд, и тоннель, и невидимое небо вверху, и преисподняя внизу источали обжигающий, палящий жар. Джордж помнил, что совершенно безотносительно к происходящему подумал: «Если бы мне сейчас надели манжетку тонометра, стрелку бы зашкалило», после чего успокоился, гаркнул, чтобы принесли саквояж, а когда фельдшер с саквояжем попытался соскочить вниз, велел ему отваливать к едрене-фене, и фельдшер, изумившийся так, будто видел Джорджа Шэйверса впервые, отвалил.

Джордж перевязал столько вен и артерий, сколько смог, а когда сердце негритянки пустилось выбивать би-боп, взял шприц и под завязку накачал ее дигиталином. Прибыла цельная кровь. Ее привезли полицейские. «Хотите поднять ее наверх, док?» — спросил один из них, и Джордж ответил, еще нет, вытащил иглу капельницы и вонзил в тело своей пациентки, вливая живительную жидкость, точно молодая женщина была наркоманкой, которой до зарезу требовалось «поправиться».

Потом он позволил им поднять ее наверх.

Потом они повезли ее в больницу.

По дороге она очнулась.

Тогда-то и начались странности.

Когда фельдшеры загрузили молодую негритянку в скорую, она начала шевелиться и слабо вскрикивать, и Джордж сделал ей укол демерола. Он дал довольно порядочную дозу, а потому самонадеянно решил, что всю дорогу до «Сестер Милосердия» женщина спокойно проспит. Джордж был на девяносто процентов уверен, что по приезде она все еще будет с ними — один-ноль в пользу ребят знающих и умелых.

Однако веки молодой женщины затрепетали, когда до больницы оставалось еще шесть кварталов. Она издала хриплый стон.

— Можно сделать еще укольчик, док, — сказал один из фельдшеров.

Джордж с трудом осознал, что фельдшер впервые соизволил назвать его не Джорджем или, хуже того, Джорджи.

— Рехнулся? Тебе, может, все равно, а я предпочту не путать «умер по прибытии» с «превышением дозы».

Фельдшер отпрянул.

Джордж опять посмотрел на молодую негритянку и увидел, что на его взгляд отвечают все понимающие и отнюдь не сонные глаза.

— Что со мной было? — спросила она.

Джордж вспомнил мужчину, повторившего кому-то слова, якобы сказанные этой женщиной (козел, отслежу, укокошу, и т. д. и т. п.). Тот мужчина был белым. Теперь Джордж решил, что это — чистый вымысел, питаемый то ли присущим человеку странным стремлением делать ситуации, полные естественного драматизма, еще более драматичными, то ли просто расовыми предрассудками. Перед ним была интеллигентная, образованная женщина.

— Произошел несчастный случай, — сказал он. — Вас...

Веки негритянки скользнули вниз, плотно сомкнулись, и Джордж подумал, что сейчас она снова уснет. Хорошо. Пусть кто-нибудь другой скажет ей, что она лишилась обеих ног. Кто-нибудь, кто зарабатывает больше семи тысяч шестисот долларов в год. Он подвинулся чуть влево, желая еще раз проверить ее кровяное давление, и тут она снова открыла глаза. Она открыла глаза, и взору Джорджа Шэйверса предстала совершенно другая женщина.

— Эта хуевина отхватила мне ноги. Я почуяла, как их оттяпало. Это чего, скорая?

— Д-д-да, — выговорил Джордж. Ему вдруг очень захотелось чего-нибудь глотнуть. Не обязательно спиртного. Просто чего-нибудь, промочить пересохшее горло. Это было все равно, что смотреть на Спенсера Трэйси в «Докторе Джекиле и мистере Хайде», только в жизни.

— А того кобеля беложопого повязали?

— Нет, — сказал Джордж, думая: «Тот чувак понял правильно, черт подери, тот чувак, как ни странно, действительно понял правильно».

Он смутно сознавал, что фельдшеры, дышавшие ему в затылок (возможно, в надежде, что он что-нибудь сделает не так), попятились.

— Хорошо. Белое легавье его все равно бы отпустило. Ништяк, сама достану. Достану и хер отрежу. Сука! Сказать, что я сотворю с этой гнидой? Щас я тебе скажу, морда белая! Я те скажу... скажу...

Веки женщины вновь затрепетали, и Джордж подумал: «Да, да, засыпай, пожалуйста, спи, за такое мне не платят, я этого не понимаю, нам объясняли про шок, но никто ни словом не обмолвился о шизофрении, как об одном из...»

Глаза открылись. В машине опять была первая женщина.

— Что это был за несчастный случай? — спросила она. — Я помню, как вышла из «Желудка»...

— Из желудка? — тупо повторил Джордж.

Она едва заметно улыбнулась. Улыбка вышла болезненной.

— Из «Пустого желудка». Это такая кофейня.

— А. Ага. Да, правда.

Вторая женщина — страдающая ли, нет ли — заставляла Джорджа чувствовать себя вывалянным в грязи и не вполне здоровым. При этой он невольно ощущал себя рыцарем из артурианской легенды, рыцарем, успешно спасшим Прекрасную Даму из пасти дракона.

— Я помню, как спускалась по лестнице на платформу, а потом...

— Кто-то вас толкнул. — Фраза прозвучала по-идиотски, но что за беда? Это и был идиотизм.

— Толкнул... под поезд?

— Да.

— Я лишилась ног?

Джордж попытался сглотнуть и не смог. В горле словно бы не осталось ничего, чтобы смазать голосовой аппарат.

— Не полностью, — глупо ответил он, и женщина закрыла глаза.

«Пусть это будет обморок, — подумал тогда он, — пожалуйста, пусть это будет об...»

Глаза открылись — сверкающие, горящие. Вскинутая рука полоснула воздух в дюйме от лица Джорджа, оставив пять невидимых прорех — пройди пальцы хоть сколько-нибудь ближе, и вместо того, чтобы курить с Хулио Эстевесом, он штопал бы щеку в травматологии.

— ДА ВЫ ПРОСТО ШАЙКА ГНИД БЕЛОЖОПЫХ, ВОТ ВЫ КТО! — визгливо завопила негритянка. Ее глаза были полны поистине адского пламени, лицо — чудовищно, оно лишь отдаленно напоминало человеческое. — ВСЕХ ПИЗДЮКОВ БЕЛОЖОПЫХ, КАКИЕ НА ГЛАЗА ПОПАДУТСЯ, УБЬЮ НА ХЕР! А СПЕРВА ВЫХОЛОЩУ! ЯЙЦА ПООТРЫВАЮ И В ИХНИЕ ЖЕ ХАРИ ПОПЛЮЮ! Я ИМ...

Это было сумасшествие. Бред. Она говорила как негритянка из мультфильма, спятившая Бабочка Мак-Куин. К тому же она — оно — производило впечатление чего-то нечеловеческого; это визжащее, корчащееся существо просто не могло полчаса назад подвергнуться импровизированной ампутации в тоннеле метрополитена. Она кусалась. Она снова и снова силилась достать Джорджа скрюченными пальцами. Из носа летели сопли, с губ — слюна. Изо рта лилась грязь.

— Сделай ей укол, док! — пронзительно крикнул один из фельдшеров. Он был очень бледен. — Христа ради, сделай ей укол! — Фельдшер потянулся к ящику с запасом медикаментов. Джордж оттолкнул его руку.

— Пошел на хуй, говнюк.

Джордж опять посмотрел на пациентку и увидел, что на него глядят спокойные, интеллигентные глаза первой женщины.

— Я буду жить? — спросила она тоном светской беседы. Он подумал: «Она не знает о провалах в своем сознании. Абсолютно ничего не знает». И через секунду: «А значит, и другая тоже».

— Я... — Он сглотнул, растер под халатом грудь в том месте, где бешено прыгало сердце, и приказал себе: возьми себя в руки. Ты спас этой женщине жизнь. Проблемы ее психики — не твоя забота.

— С вами-то все в порядке? — спросила она, и неподдельная тревога в ее голосе заставила Джорджа улыбнуться — она спрашивала его.

— Да, мэм.

— На какой вопрос вы отвечаете?

В первую секунду он не понял, потом до него дошло.

— На оба, — ответил он и взял ее за руку. Молодая женщина стиснула пальцы Джорджа, а он заглянул в сияющие яркие глаза и подумал: «влюбиться можно»... вот тогда-то ее пальцы и превратились в когтистую лапу, и Джордж услышал, что он — драный беложопый козел, и она не просто оторвет ему яйца, она его ебальник разжует и выплюнет.

Джордж отшатнулся и посмотрел, не кровоточит ли рука, несвязно думая: если кровит, придется что-то предпринять, поскольку баба ядовитая, настоящая отрава, и ее укус — все равно что укус медянки или гремучей змеи. Крови не было. А когда Джордж опять поглядел на свою пациентку, то увидел другую женщину — ту, первую.

— Пожалуйста, — сказала она. — Я не хочу умирать. Пожа... — И окончательно лишилась чувств. К счастью для всех.

— Так что ты думаешь? — поинтересовался Хулио.

— Насчет того, кто попадет на чемпионат? — Джордж каблуком мокасина раздавил окурок. — «Уайт Сокс». Мы с ребятами поставили на них, я в доле.

— Что ты думаешь про эту дамочку?

— Я думаю, что она, может быть, шизофреничка, — медленно проговорил Джордж.

— Да знаю. Я про другое: что с ней будет?

— Не знаю.

— Ее надо выручать, старик. Кто поможет?

— Ну, я-то уже помог, — отозвался Джордж, однако лицо у него горело, словно к щекам прихлынула краска стыда.

Хулио поглядел на него.

— Раз ты больше ничем не можешь ей помочь, дай ей помереть, док.

Джордж посмотрел на Хулио, но мгновение спустя сделал открытие: он не в силах вынести то, что видит в глазах кубинца. Не обвинение, нет. Печаль.

И он ушел.

Ему было куда пойти.

Пора Извлечения:

Со времени несчастного случая ситуацией преимущественно владела по-прежнему Одетта Холмс, однако на первый план все чаще и чаще выступала Детта Уокер, а больше всего на свете Детте нравилось воровать. То, что трофеи всякий раз оказывались сущим хламом, значения не имело — так же, как и то, что погодя Детта частенько выбрасывала свою добычу.

Важен был сам процесс.

Когда в суперсаме Мэйси в ее сознание вторгся стрелок, Детта издала пронзительный вопль ярости, ужаса и испуга, а ее руки примерзли к дешевым поддельным драгоценностям, которые она горстями пихала в сумочку.

Кричала Детта оттого, что когда Роланд проник в ее сознание, выступил вперед, она на миг почувствовала другую, точно у нее в голове распахнулась некая дверца.

И пронзительно закричала: непрошеный гость, чужак, насилующий ее своим присутствием, был белым.

Видеть его она не могла, и тем не менее чувствовала: пришелец — белый.

Люди оглядывались. Дежурный по этажу увидел вопящую женщину в инвалидном кресле; раскрытую сумочку; увидел руку, которая замерла, не закончив набивать ее дешевой бижутерией, хотя сумка (даже с расстояния в тридцать футов) выглядела в три раза дороже похищаемой ерунды.

Дежурный по этажу гаркнул: «Эй Джимми!». Джимми Хэлворсен, один из штатных детективов универмага Мэйси, огляделся, заметил, что происходит, и опрометью кинулся к негритянке в инвалидной коляске. Не бежать Джимми не мог — он восемнадцать лет отработал в городской полиции, и привычка бросаться к месту происшествия бегом, давно была встроена в его систему — но уже думал, что дело швах. Всякий раз выходило, что брать пацанье, калек, монашек — только попусту говняться. Все равно как спорить с пьяным. Всплакнув перед судьей, эта публика преспокойно удалялась. Убедить суд, что и калека может быть мразью, было тяжело.

И все-таки Джимми бежал.

Роланд на миг ужаснулся той змеиной яме ненависти и отвращения, в какой очутился... а затем услышал истошный крик женщины, увидел здоровяка (живот у него был, как мешок с картошкой), бежавшего к ней/к нему, увидел, что на них смотрят, и взял ситуацию в свои руки.

Внезапно он и эта женщина с очень смуглыми пальцами стали одним; Роланд ощутил странную душевную раздвоенность, но пока не имел возможности задуматься над этим.

Развернув кресло, он принялся толкать его вперед. Замелькали, убегая назад, полки. Люди отскакивали в стороны. Детта упустила сумочку; оттуда, оставляя на полу широкий след, хлынули украденные сокровища, посыпались документы. Заскользив на цепочках поддельного золота и футлярчиках с губной помадой, толстопузый с размаху сел на пол.

«Вот говно!» — в бешенстве подумал Хэлворсен, и его рука на миг зарылась под спортивную куртку, где в кобуре лежал пистолет тридцать восьмого калибра. Затем к Джимми вновь вернулась способность мыслить здраво. Он брал не торговца наркотиками, не вооруженного грабителя, а увечную черномазую дамочку в инвалидном кресле. Она катила так, точно в магазине шли какие-то хулиганские гонки, и все равно оставалась черномазой увечной бабой, не больше. Что тут будешь делать, стрелять? То-то был бы класс! И кстати, куда это она навострилась? Проход заканчивался тупиком, двумя примерочными.

Джимми с трудом поднялся, потирая ноющий зад, и, слегка прихрамывая, продолжил погоню.

Инвалидное кресло пулей влетело в примерочную. Дверь захлопнулась, едва пропустив за порог рукоятки, приделанные сзади к спинке кресла.

«Тут ты и попалась, стерва, — подумал Джимми. — Ну, нагоню же я на тебя страху, мало не покажется. Пусть у тебя дети-сироты, пусть жить тебе осталось всего год — насрать. Обижать — не обижу, но встрясочку, детуля, я тебе устрою».

Обогнав дежурного по этажу, Хэлворсен первым подскочил к примерочной, с грохотом вышиб дверь плечом — и оказалось, что там пусто.

Ни негритянки.

Ни инвалидной коляски.

Вообще ничего.

Джимми вылупил глаза на дежурного.

— В другой! — завопил тот. — В другой!

Не успел Джимми двинуться с места, как дежурный высадил дверь второй примерочной. Раздался пронзительный визг, и какая-то женщина в нижней юбке и лифчике прикрыла грудь скрещенными руками. Очень белая и совершенно определенно не увечная женщина.

— Извиняюсь, — выговорил дежурный, чувствуя, как лицо заливает жаркий багрянец.

— Пошел вон, извращенец! — крикнула женщина в лифчике и нижней юбке.

— Да, мэм, — сказал дежурный по этажу и закрыл дверь.

В Мэйси покупатель был всегда прав.

Дежурный по этажу посмотрел на Хэлворсена.

Хэлворсен посмотрел на него.

— Что за черт? — спросил Хэлворсен. — Она туда заехала или нет?

— Заехала.

— Ну, так где она?

Дежурный только головой помотал.

— Пошли обратно, ликвидируем бардак.

— Прибирайся сам, — ответил Джимми Хэлворсен. — А мне кажется, будто я только что разгрохал жопу на девять кусков. — Он умолк. — По правде говоря, мил-человек, я к тому же крайне сконфужен.

Едва стрелок услышал, как дверь примерочной громко захлопнулась за ним, он в тот же миг развернул инвалидное кресло в тесной кабине на пол-оборота, отыскивая дорогу. Если Эдди выполнил свою угрозу, выход должен исчезнуть.

Но дверь была открыта. Вращая колеса инвалидного кресла, Роланд провез в нее Владычицу Теней.

3. ОДЕТТА НА ДРУГОЙ СТОРОНЕ

Пройдет совсем немного времени, и Роланд будет думать: «Любая другая женщина, калека или нет, которую внезапно в толчки погонит по проходу торгового центра, где она занималась своим делом (бессмысленным, если угодно), чужак, окопавшийся у нее в голове; погонит и под раздающиеся за спиной чьи-то надсадные крики «Стой!» впихнет в тесную комнатушку, затем вдруг развернет и примется заталкивать туда, куда по законам реальности затолкать что бы то ни было совершенно невозможно — нет места, — после чего выяснится, что она неожиданно очутилась в целиком и полностью ином мире... по-моему, в подобных обстоятельствах любая другая женщина, безусловно, прежде всего спросит: «Где я?»

Вместо этого Одетта Холмс почти весело поинтересовалась:

— Что, собственно говоря, вы намерены делать с этим ножом, молодой человек?

Роланд поднял взгляд на Эдди: юноша сидел на корточках, держа клинок меньше, чем в четверти дюйма от его шеи. Реши Эдди воспользоваться ножом, стрелок даже при своем сверхъестественном проворстве никак не сумел бы увернуться достаточно быстро.

— Да, — сказал Роланд. — Что ты собираешься делать?

— Не знаю, — ответил Эдди полным отвращения к себе голосом. — Наверно, отхватить кусманчик для наживки. Ясное дело, не похоже, чтобы я явился сюда рыбачить. Или нет?

Он швырнул нож в сторону коляски Владычицы, взяв, однако, много правее. Нож по рукоятку воткнулся в песок и задрожал.

Тогда Владычица повернула голову и начала:

— Хотелось бы знать, не соизволите ли вы объяснить, куда меня завез...

И умолкла. Она сказала «хотелось бы знать, не соизволите ли вы» до того, как повернула голову настолько, чтобы увидеть — позади никого нет. Стрелок с определенной долей неподдельного интереса отметил: Владычица Теней умолкла не сразу — факт ее болезненного состояния превращал определенные вещи в элементарные жизненные истины. Например, если она откуда-то куда-то переместилась, кто-то должен был это сделать. Но позади никого не было.

Ни живой души.

Она опять посмотрела на Эдди и на стрелка — тревожными, смущенными, смятенными темными глазами — и тогда уже спросила:

— Где я? Кто меня вез? Как вышло, что я здесь? И, уж если на то пошло, как вышло, что я одета, коль скоро я сидела дома, в халате, и смотрела ночные двенадцатичасовые новости? Кто я? Где? Кто вы такие?

«Она спрашивает «кто я?» — подумал стрелок. — Дамба прорвана, вопросы хлынули потоком; этого следовало ожидать. Но этот вот вопрос — «кто я?»... даже сейчас она, по-моему, не знает, что задала его.

И когда она его задала».

Ибо она задала свой вопрос до.

До того, как поинтересоваться, кто такие они, эта женщина спросила, кто она.

Эдди перевел взгляд с прелестного юного/старого лица негритянки, сидевшей в инвалидном кресле, на Роланда.

— Это как же так она не знает?

— Не могу сказать. Должно быть, шок.

— И шок откинул ее обратно аж в гостиную, где она сидела до того, как отправиться в Мэйси? Ты уверяешь меня, будто последнее, что она помнит — это как сидела в халате и слушала треп какого-то прилизанного хлыща про то, что во Флорида-Киз нашли того конченого типа, который взгромоздил на стену рядом с лично добытым ценным марлинем левую кисть Кристы Мак-Олифф?

Роланд не ответил.

Оторопев еще сильнее, Владычица сказала:

— Кто такая Криста Мак-Олифф? Одна из пропавших без вести участников «Рейдов свободы»? [«Рейды свободы» осуществлялись в рамках движения за права человека; целью этих рейдов было выявление дискриминации по отношению к цветному населению в общественном транспорте].

Теперь настала очередь Эдди не отвечать. Участники «Рейдов свободы»? Это-то, черт возьми, кто такие?

Стрелок коротко взглянул на него, и Эдди без особого труда смог прочесть в его глазах: «Она в шоке, ты что, не видишь?»

«Роланд, старина, я понимаю, о чем ты, но шок отшибает мозги только до определенной степени. Когда ты вломился ко мне в башку, точно Уолтер Пэйтон под «крэком», я и сам испытал легкое потрясение, но мои банки памяти оно не стерло».

Кстати о шоке, еще одну изрядную встряску Эдди получил, когда Владычица Теней проезжала в дверь между мирами. Он стоял на коленях над безвольным телом Роланда, и нож уже почти касался уязвимой кожи горла... впрочем, сказать по правде, воспользоваться им Эдди все равно бы не сумел, во всяком случае, в тот момент: загипнотизированный, он не сводил глаз с дверного проема — там, в универмаге Мэйси, полки по обе стороны прохода стремительно помчались вперед. Это опять напомнило Эдди «Сияние», где зритель видел то же, что и маленький мальчик, который ехал на трехколесном велосипеде по коридорам населенного призраками отеля. Он вспомнил, как в одном из коридоров мальчуган увидел страшную парочку — мертвых двойняшек. Проход, на который Эдди смотрел сейчас, заканчивался куда более по-земному — белой дверью. На ней скромными печатными буквами было написано: «Просим брать для примерки не больше двух вещей одновременно». Да, это, несомненно, был универмаг Мэйси. Точно, Мэйси.

Метнувшаяся вперед черная рука распахнула дверь. Позади мужской голос (голос фараона, если Эдди хоть раз слышал, как орут менты... а в своем времени он их переслушал немало) надрывался: «брось, там нет выхода, только хуже будет, напрочь все себе изгадишь»; слева, в зеркале, Эдди мельком увидел негритянку в инвалидном кресле и, как ему потом вспоминалось, подумал: «Господи Иисусе, он ее догнал, факт, вот только вид у нее по этому случаю не больно-то радостный».

Тут все завертелось, помчалось по кругу, и в следующую секунду оказалось, что Эдди смотрит на себя самого. Открывшаяся взору Эдди картина стремительно помчалась на него, и молодому человеку захотелось вскинуть руку с ножом, закрыться — ощущение, что он смотрит двумя парами глаз, внезапно сделалось непереносимым, бредовым, чересчур противоречащим здравому смыслу, и, не загородись Эдди, непременно свело бы его с ума — но все происходило слишком быстро, чтобы что-то успеть.

Инвалидное кресло проехало в дверь. Оно прошло впритык; Эдди услышал, как пронзительно скрипнули о косяки ступицы. В тот же миг он услышал еще один звук, густой, чмокающий, точно что-то рвалось; звук этот вызвал в памяти какое-то слово

(плацентарный),

которое Эдди не вполне мог припомнить, поскольку не знал, что знает его. Потом женщина покатила по плотно слежавшемуся песку в его сторону. Она уже не казалась злой, как черт, — честно говоря, она вообще мало походила на ту бабу, которую Эдди мельком увидел в зеркале, но он полагал, что это не удивительно: когда ни с того, ни с сего выезжаешь из примерочной Мэйси на берег моря в каком-то Богом забытом захолустье, где попадаются омары величиной с маленькую колли, то слегка захватывает дух. Это, сознавал Эдди Дийн, он может лично засвидетельствовать.

Проехав около четырех футов (впрочем, и это расстояние она одолела лишь благодаря уклону и плотному шершавому песку), женщина остановилась. Руки, должно быть, работавшие рычагами, приводившими в движение колеса, выпустили их («Когда завтра утром вы проснетесь с болью в плечах, можете возложить вину на Сэра Роланда, мадам», — угрюмо подумал Эдди) и взамен крепко стиснули подлокотники: женщина внимательно разглядывала мужчин.

Дверной проем за ее спиной уже исчез. Исчез? Это было не вполне верно. Дверь словно бы свернулась, сложилась гармошкой, как на пущенной задом наперед пленке. Это началось в тот миг, когда магазинный шпик с грохотом вломился в другую, более земную дверь — ту, что отделяла примерочную от торгового зала. Полагая, что воровка запрется, детектив разогнался сильнее, чем следовало, и Эдди подумал, что, пролетев через кабинку, малый здорово звезданется о дальнюю стену, но увидеть, произойдет это или нет, юноше было не суждено. Перед тем, как ужимающееся пространство на месте двери между мирами окончательно исчезло, Эдди увидел, что на той стороне все застыло без движения.

Фильм превратился в неподвижный фотоснимок.

Остался только двойной след инвалидной коляски. Он начинался из песчаного ниоткуда и через четыре фута обрывался там, где сейчас стояло кресло со своей пассажиркой.

— Может, кто-нибудь объяснит мне, где я и как сюда попала? Пожалуйста, — попросила (почти взмолилась) женщина в инвалидном кресле.

— Я тебе одно скажу, Элли, — отозвался Эдди. — Ты больше не в Канзасе.

Глаза женщины наполнились слезами. Эдди видел, что она старается сдержаться, но ее усилия не увенчались успехом, и она расплакалась.

Охваченный яростью (а также отвращением к себе), Эдди накинулся на стрелка, который уже успел, пошатываясь, подняться на ноги и теперь пошел, но не к всхлипывающей Владычице. Вместо этого Роланд отправился за ножом.

— Объясни ей! — заорал Эдди. — Ты притащил ее сюда, ну так валяй, объясни ей, в чем дело! — И через секунду, сбавив тон, добавил: — А потом объясни мне, как получается, что она не помнит себя.

Роланд не ответил. Не сразу. Он нагнулся, зажал рукоятку ножа между двумя уцелевшими пальцами правой руки, осторожно перенес в левую руку и сунул в ножны, висевшие сбоку на ремне. Он все еще пытался разрешить загадку, с которой столкнулся в сознании Владычицы. В отличие от Эдди Владычица Теней отбивалась, дралась как кошка, начав отчаянное сопротивление в ту минуту, когда Роланд выступил вперед, и прекратив его уже за порогом магической двери. Схватка началась сразу, как женщина почувствовала присутствие стрелка, незамедлительно, ведь она ничуть не удивилась. Пережив это вместе с ней, испытав лично, Роланд ничего не понимал. Вторгшийся в сознание этой женщины чужак не застал ее врасплох — ни капли удивления, лишь мгновенно вспыхнувшая ярость, ужас и с ходу начатая битва: стряхнуть, вырваться, освободиться от чужака. Она даже не приблизилась к победе — не могла, как подозревал Роланд, — но это не удержало ее от неистовых попыток одержать верх. Стрелок почувствовал: от злобы, ненависти и страха эта женщина обезумела.

В ней он ощущал только тьму — сознание, погребенное под обвалом.

Вот только...

Вот только в ту минуту, когда они вихрем промчались в дверной проем и разделились, он пожалел — отчаянно, безрассудно пожалел, — что не может замешкаться еще на мгновенье. Одно мгновение столько могло бы объяснить! Ведь женщина, сидевшая сейчас перед ними, не была той, в чьем сознании побывал Роланд. Находиться в сознании Эдди было все равно, что находиться в комнате с нервно трепещущими, потеющими стенами. Находиться в сознании Владычицы — все равно, что лежать нагишом в темноте, где по тебе ползают ядовитые змеи.

До последнего момента.

Под конец она переменилась.

Было что-то еще, по убеждению Роланда, жизненно важное — но он не мог не то понять, не то вспомнить, что именно. Что-то вроде

(беглый взгляд)

дверного проема, только в ее сознании. Какое-то

(ты разбила «напамять» это была ты)

внезапное, короткое озарение. Как на занятиях, когда наконец поймешь...

— Иди ты на хуй, — с отвращением проговорил Эдди. — Робот ты гадский, и больше никто.

Он решительно прошел мимо Роланда к женщине, опустился рядом с ней на колени и, когда она, точно утопающая, в панике крепко обхватила его обеими руками, не отстранился и сам обнял ее.

— Все путем, — сказал он. — То есть не то, чтоб высший класс, но ничего. Порядок.

— Где мы? — всхлипывала она. — Я сидела дома и смотрела телевизор, чтобы узнать, выбрались ли мои друзья из Оксфорда живыми, а теперь я здесь И ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ, ГДЕ ЭТО — ЗДЕСЬ!

— Ну и я не знаю, — сказал Эдди, обнимая ее покрепче и начиная легонько баюкать, — но догадываюсь, что мы товарищи по несчастью. Я тоже из ваших краев, из старичка Нью-Йорка, и пережил то же самое... ну, чуть по-другому, но принцип тот же... с вами все будет отлично. — Словно поразмыслив, он прибавил: — До тех пор, пока омары будут вам по вкусу.

Она с плачем прильнула к Эдди. Тот держал ее в объятиях, укачивая, и Роланд подумал: «Теперь с Эдди все будет в порядке. Его брат погиб, но теперь у парня есть о ком заботиться, так что с ним все будет в порядке».

Тем не менее стрелок почувствовал угрызения совести, постыдную и недостойную боль в сердце: он был способен стрелять (пусть левой рукой), убивать, упорно идти вперед, в поисках Башни жестоко и беспощадно проламываясь сквозь годы и расстояния — даже, кажется, измерения. Он умел выжить, порой даже защитить — спас же он мальчика Джейка от медленной смерти на постоялом дворе и от домогательств прорицательницы, обитающей у подножия гор... Впрочем, в конце концов он позволил Джейку умереть. И не случайно, нет. Роланд совершил тогда сознательный акт отречения. Сейчас он смотрел на своих спутников. Обняв женщину, Эдди уверял ее, что все обойдется. Он сам так не смог бы, и к наполнявшему сердце стрелка раскаянию присоединился тайный страх.

«Если за Башню ты отдал свою душу, Роланд, ты уже проиграл. Бессердечное создание не знает любви, тварь же, коей любовь неведома, — зверь. Возможно, быть зверем — вещь терпимая (хотя человек, ставший зверем, в конце концов непременно платит, и очень дорого), но что, если ты достигнешь своей цели? Что, если ты, бессердечный, в самом деле пойдешь на штурм Башни и одержишь победу? И, коль в сердце твоем лишь тьма, что ждет тебя? Только одно: зверь выродится в чудовище. Какая злая насмешка — добиться своего, будучи зверем; все равно, что подарить увеличительное стекло элефанту. Но добиться цели, сделавшись чудовищем...

Заплатить цену ада — это одно. Но хочешь ли ты владеть им?»

Он подумал об Элли; о девушке, что когда-то ждала его у окна; о слезах, пролитых им над безжизненным трупом Катберта. О, тогда он любил. Да. Тогда.

— Я хочу любить, хочу! — умоляюще воскликнул он, но, хотя теперь вместе с женщиной в инвалидном кресле плакал и Эдди, глаза стрелка остались сухими, как пустыня, которую он пересек, стремясь достичь этого бессолнечного моря.

На вопрос Эдди Роланд собирался ответить позже. Это он собирался сделать, исходя из тех соображений, что осторожность Эдди не помешает. Провалы в памяти Владычицы Теней объяснялись просто: в ней одновременно обитали две разных женщины.

И одна из них была опасна.

Эдди рассказал женщине, что сумел, умолчав о перестрелке, но честно изложив все прочее.

Когда он закончил, она некоторое время сидела совершенно тихо и неподвижно, сложив руки на коленях.

С гор, которые постепенно теряли крутизну и несколькими милями восточнее мало-помалу сходили на нет, бежали маленькие ручейки. Из них и брали воду Роланд с Эдди, пока шли на север. Поначалу Роланд был слишком слаб, и по воду ходил Эдди, но время шло, и вот уже в походы за водой мужчины стали отправляться по очереди. Чтобы найти ручей, всякий раз приходилось забредать все дальше и искать все дольше. Чем сильнее оседали горы, тем ленивее журчали эти крохотные потоки, но здоровью путников вода не вредила.

Пока что.

Накануне по воду ходил Роланд. Таким образом выходило, что сегодня очередь Эдди. Однако стрелок снова взвалил на плечи бурдюки и без единого слова удалился к ручью. Эдди счел это проявлением странной тактичности и, вопреки желанию остаться равнодушным к этому жесту (и, честно говоря, ко всему, что касалось Роланда), обнаружил, что все-таки слегка растроган.

Женщина слушала Эдди внимательно, не перебивая, неотрывно глядя ему в глаза. В какой-то момент Эдди сказал бы, что она на пять лет старше его, в другой — что ей не больше пятнадцати. Только в одном можно было не сомневаться: он влюблялся в нее.

Когда Эдди завершил свой рассказ, женщина на миг молча замерла в кресле, глядя уже не на молодого человека, а мимо, в волны, которые должны были с заходом солнца принести омаров с их непонятными крючкотворскими вопросами. Омаров Эдди описал особенно тщательно. Ей было лучше слегка испугаться сейчас, чем сильно — когда эти твари выберутся на берег порезвиться. Он думал, что, услышав, как обитатели моря обошлись с рукой и ногой Роланда, и хорошенько приглядевшись к ним, женщина не захочет их есть. Хотя в конце концов голод переборет дид-э-чик и дам-э-чам.

Глаза женщины были холодными и далекими.

— Одетта? — окликнул он минут пять спустя. Она уже представилась ему. Одетта Холмс. Эдди счел имя великолепным.

Выведенная из задумчивости молодая женщина снова посмотрела на него. Чуть улыбнулась. И произнесла одно-единственное слово:

— Нет.

Эдди, не в состоянии придумать подходящий ответ, лишь поглядел на нее, думая, что до этой минуты не понимал, каким беспредельным может быть простое отрицание.

— Не понял, — наконец произнес он. — На что это вы неткаете?

— На все на это. — Одетта повела рукой (Эдди заметил, какие сильные у нее руки — холеные, гладкие, но очень сильные), захватив море, небо, прибрежный песок, грязные холмы предгорья, где стрелок в эту минуту, вероятно, искал воду (или, может быть, был съедаем заживо каким-то неизвестным и интересным чудовищем — положа руку на сердце, Эдди не хотелось задумываться об этом). Короче, обозначив весь мир.

— Я понимаю, каково вам. Поначалу я и сам представлял собой тяжелый случай сомнений во взаправдашности всего этого. — Но так ли это было? Если вспомнить, Эдди, кажется, просто смирился и принял все, как неизбежное — возможно, из-за слабости, дурноты и раздиравшей его острой потребности в марафете. — Это пройдет.

— Нет, — снова сказала она. — По-моему, произошло одно из двух, и неважно, что именно, но я по-прежнему в Оксфорде, штат Миссисипи. А это все не настоящее.

И она продолжала (будь ее голос громче, или, быть может, если бы Эдди не затягивало в любовный омут, получилась бы чуть ли не нотация. Но в сложившихся обстоятельствах слова Одетты больше напоминали не выговор, а лирические стихи, и Эдди был вынужден постоянно напоминать себе: «Только вот на самом деле все это — чушь собачья, и ты должен убедить ее в этом. Ради нее самой»).

— Возможно, я получила травму головы, — сказала она. — Жители Оксфорд-Тауна печально известны тем, что любят помахать дубинкой или колуном.

Оксфорд-Таун.

Это название вызвало в далеких глубинах сознания Эдди неясный всплеск узнавания. Одетта произнесла его чуть напевно, что по непонятной причине ассоциировалось у него с Генри... с Генри и мокрыми пеленками. Почему? Как? Сейчас это не имело значения.

— Вы пытаетесь объяснить, что по-вашему все это — сон, который снится вам, пока вы лежите в обмороке?

— Или в коме, — откликнулась она. — И не нужно смотреть на меня так, словно вы считаете это абсурдом, поскольку ничего абсурдного тут нет. Вот, взгляните.

Она аккуратно раздвинула волосы повыше левого виска, и Эдди увидел: Одетта зачесывает их набок не просто из любви к такому стилю. Под водопадом волос открылась старая рана, уродливая, покрытая рубцами — не бурыми, а серовато-белыми.

— Кажется, в вашем времени жизнь порядком вас побила, — сказал он.

Одетта нетерпеливо пожала плечами.

— Порядком побила, порядком и обласкала, — сказала она. — Может быть, все уравновешивается. Я показала вам это только потому, что в возрасте пяти лет три недели провела в коме. Тогда я много грезила. О чем, вспомнить не могу, но мама, помнится, говорила, что было понятно: пока я продолжаю болтать, я не умру. А болтала я, похоже, беспрерывно, хотя, рассказывала мама, из дюжины слов и одного было не разобрать. Я помню другое: мои видения были очень яркими.

Одетта примолкла, оглядываясь.

— Такими же, каким кажется это место. И вы, Эдди.

Когда Одетта произнесла его имя, по рукам Эдди побежали колкие мурашки. Да, да, он подхватил любовный недуг. Притом в тяжелой форме.

— И он. — Она вздрогнула. — Он кажется мне здесь самым ярким.

— Так и должно быть. Я хочу сказать, неважно, что вы думаете — мы правда настоящие.

Она одарила Эдди вежливой улыбкой, в которой не было ни капли веры.

— Откуда у вас та штука на голове? — спросил он.

— Какая разница? Я просто хочу подчеркнуть, что случившееся однажды с тем же успехом может произойти снова.

— Нет, просто любопытно.

— В меня угодил кирпич. Это была наша первая поездка на север. Мы приехали в небольшой городок Элизабет — это в штате Нью-Джерси. Приехали в вагоне для «Джима Кроу».

— Это еще что такое?

Одетта наградила его недоверчивым, почти презрительным взглядом.

— Где вы жили до сих пор, Эдди? В бомбоубежище?

— Я из другого времени, — сказал он. — Можно спросить, сколько вам лет, Одетта?

— Достаточно, чтобы участвовать в выборах, и недостаточно, чтобы мной интересовалась служба социального обеспечения.

— Надо понимать, меня поставили на место.

— Впрочем, надеюсь, что мягко, — сказала она и улыбнулась той сияющей, лучезарной улыбкой, от которой руки Эдди покрывались гусиной кожей.

— Мне-то двадцать три, — сказал он, — но я родился в шестьдесят четвертом — в том году, из которого Роланд забрал вас.

— Вздор.

— Нет. Когда он забрал меня, я жил в восемьдесят седьмом.

— Ну хорошо, — секундой позже сказала Одетта, — это, конечно, очень упрочивает ваши доводы в пользу реальности окружающего, Эдди.

— Вагон для «Джима Кроу»... там должны были ездить чернокожие?

— Негры, — поправила она. — Называть негра чернокожим довольно грубо, вам не кажется?

— Примерно к восьмидесятому году вы все станете себя так называть, — сказал Эдди. — Когда я был пацаном, назвать черного парня негром было все равно, что ввязаться в драку. Ну, как черножопым обозвать.

Одетта с минуту неуверенно смотрела на него, потом опять покачала головой.

— Тогда расскажите мне про кирпич.

— Выходила замуж мамина младшая сестра, София, — начала она. — Правда, ма всегда звала ее Сестрица Синька — очень уж та любила синее. Или, как выражалась мама, по крайней мере «воображала, будто любит». Поэтому я всегда, даже до того, как мы познакомились, звала ее Тетей Синькой. Венчание было просто прелесть, а после устроили вечеринку. Я помню все подарки! — Она рассмеялась. — В детстве подарки всегда кажутся такими чудесными, правда, Эдди?

Он улыбнулся.

— Ага, это вы верно подметили. Подарки всегда помнишь, что свои, что чужие.

— В то время мой отец уже начал хорошо зарабатывать, но я знала только, что мы преуспеваем. Так это всегда называла мама. Однажды я рассказала ей, что девочка, с которой я играла, спросила, богатый ли у меня папа. Мать объяснила: если кто-нибудь из моих приятелей когда-нибудь снова задаст мне этот вопрос следует отвечать именно так: мы преуспеваем. Поэтому родители смогли подарить Тете Синьке прекрасный фарфоровый сервиз. Помню...

Голос Одетты дрогнул. Рука поднялась к виску и рассеянно потерла его, словно там зарождалась головная боль.

— Что помните, Одетта?

— Помню, мама подарила ей напамять.

— Что?

— Простите, у меня разболелась голова. От этого язык заплетается. И вообще не пойму, зачем я все это вам рассказываю.

— Вам неприятно?

— Нет. Мне все равно. Я хотела сказать, что мама подарила ей особую тарелочку. Белую, с вьющимся по краю нежным синим узором. — Одетта едва заметно улыбнулась. Эдди подумал, что улыбка не совсем спокойная. Воспоминание о тарелке напамять чем-то тревожило Одетту, и то, что близость, реальность — злободневность — этого воспоминания словно бы затмили ту крайне странную ситуацию, в которой очутилась Одетта, ситуацию, которая заслуживала если не полного, то преимущественного ее внимания, обеспокоило юношу. — Я вижу эту тарелочку так же ясно, как сейчас вижу вас, Эдди. Мать вручила ее Тете Синьке, а та расплакалась и никак не могла перестать. По-моему, похожую тарелочку тетя уже видела, правда, давно, когда они с мамой были маленькими, и, разумеется, их родители не могли позволить себе купить такую вещицу. Ни ей, ни тете в детстве ничего напамять не дарили. После вечеринки Тетя Синька с мужем на медовый месяц отправились в Грейт-Смоукиз. Они поехали поездом.

— В вагоне «Джима Кроу», — сказал он.

— Правильно! В вагоне «Джима Кроу»! Вот где в те дни ездили и ели негры. Вот что мы пытаемся изменить в Оксфорд-Тауне.

Она глядела на Эдди, почти наверняка ожидая настойчивых уверений в том, что она здесь, но Эдди снова попался в паутину собственных воспоминаний: мокрые пеленки и эти два слова. Оксфорд-Таун. Но внезапно пришли другие слова, одна-единственная строчка, и все-таки он сумел вспомнить: ее, повторяя снова и снова, напевал Генри; напевал, пока мать не сказала: будь любезен, замолчи, дай послушать Уолтера Кронкайта.

...Ах, лучше б расследовать дело скорей... Вот какие это были слова. Их монотонно, в нос, напевал Генри. Эдди попытался вспомнить еще что-нибудь, но не сумел. Собственно, удивляться было нечему — тогда ему не могло быть больше трех лет. Ах, лучше б расследовать дело скорей. От этих слов Эдди пробрал озноб.

— Эдди, с вами все в порядке?

— Да. А что?

— Вы задрожали.

Он улыбнулся.

— Ну, значит, по моей могилке гуляет Дональд Дак [внезапно вздрогнув, англичане и американцы говорят: «по моей могиле прошел гусь». Дак (duck), англ. — утка].

Одетта засмеялась.

— Ну, как бы там ни было, свадьбу я, по крайней мере, не испортила. Неприятность произошла, когда мы пешком возвращались на станцию. Мы переночевали у подруги Тети Синьки, а утром отец вызвал такси. Такси приехало почти сразу, но когда шофер увидел, что мы — цветные, то укатил, да так быстро, точно у него полыхала голова и уже занималось мягкое место. Подруга Тети Синьки еще раньше ушла на вокзал с нашим багажом — багажа была уйма, ведь мы собирались провести неделю в Нью-Йорке. Помню, отец сказал, что ждет — не дождется, чтобы увидеть, как засияет моя мордашка, когда в Центральном Парке пробьют часы и зверюшки затанцуют. До станции, сказал он, спокойно можно дойти пешком. Мать мигом согласилась — отличная мысль, тут не больше мили; будет очень приятно размять ноги после того, как мы уже просидели три дня в одном поезде и еще полдня просидим в другом. Отец отозвался — да, к тому же погода великолепная... но, кажется, я и в пять лет понимала — отец в бешенстве, они с мамой боятся вызвать другое такси, поскольку опять может произойти то же самое.

И мы зашагали по улице. Я шла у внутреннего края тротуара (мама опасалась, как бы мне не оказаться слишком близко к потоку машин) и, помнится, гадала, что имел в виду папа — неужели, когда я увижу те часы в Центральном парке, лицо у меня вправду засветится, и не больно ли это будет. Вот тут-то мне на голову и свалился кирпич. На какое-то время все окуталось тьмой. Потом начались сны. Яркие, живые сны.

Одетта улыбнулась.

— Как этот, Эдди.

— Кирпич упал сам или кто-то его сбросил?

— Никого так и не нашли. Полиция (мама рассказала мне об этом намного позднее, мне уже было лет шестнадцать) отыскала место, откуда, по их мнению, взялся этот кирпич — но он оказался не единственным, которого там недоставало, а еще больше было сидящих неплотно, кое-как. Под самым окном пятого этажа в многоквартирном доме. Дом предназначался к сносу, но, конечно, служил пристанищем куче народа. Особенно по ночам.

— Ясное дело, — сказал Эдди.

— Никто не видел, чтобы кто-то выходил из здания, и дело пошло по разряду несчастных случаев. Мать говорила, что думает, будто это и есть несчастный случай, но, по-моему, она кривила душой. Она даже не потрудилась попробовать объяснить мне, что думал отец. Оба они еще очень переживали из-за того, как таксист укатил, едва поглядев на нас. Это больше, чем что-либо другое убедило их, что наверху кто-то был. Он просто выглянул в окно, увидел, как мы подходим, и решил скинуть на черномазых кирпич. Скоро появятся ваши омарообразные?

— Нет, — сказал Эдди. — До темноты — нет. Выходит, первое ваше соображение — что все это коматозный сон типа тех, какие были, когда вас шарахнуло кирпичом. Только вместо кирпича на этот раз было что-то вроде полицейской дубинки.

— Да.

— А другое?

Лицо и голос Одетты были довольно спокойными, голова же полна отталкивающих, безобразных картин; они стаей диких гусей проносились перед ее мысленным взором и все представляли собой одно: Оксфорд-Таун, Оксфорд-Таун. Как там было в песенке? Двоих под луной укокошил злодей; Ах, лучше б расследовать дело скорей. Не совсем точно, но близко к тексту. Близко.

— Я могла сойти с ума, — сказала она.

Первым, что пришло Эдди в голову, было: Одетта, если вы думаете, что сошли с ума, вы рехнулись.

Однако по краткому размышлению молодому человеку показалось, что такая линия аргументации невыгодна.

Поэтому Эдди не стал ничего говорить и некоторое время молча сидел подле инвалидного кресла Одетты: колени подтянуты к груди, пальцы обхватили запястья.

— Вы действительно не могли жить без героина?

— И не могу, — отозвался Эдди. — Это все равно, что быть алкоголиком или баловаться крэком. Не та штука, с которой можно когда-нибудь завязать. Знаете, бывало, слышишь это, а в голове — «ну да-да-да, конечно». Но теперь я понял. Меня еще тянет к нему, — наверное, какая-то частица во мне будет всегда тянуться к героину, но физиологическая часть позади.

— Что такое «крэк»? — спросила Одетта.

— В вашем «когда» это еще не придумали. За основу берется кокаин. Правда, это все равно, что превращать тротил в атомную бомбу.

— Вы так делали?

— Господи Иисусе, нет. Мой профиль — героин. Я ведь уже рассказывал.

— Вы не похожи на наркомана, — заметила Одетта.

Эдди и в самом деле чувствовал себя великолепно — если оставить без внимания предательский запах, поднимавшийся от его тела и одежды (молодой человек получил возможность ополоснуться — и ополоснулся, простирнуть одежду — и простирнул, но без мыла ни одно, ни другое нельзя было сделать как следует). Волосы юноши (когда в его жизнь ступил Роланд, они были короткими — «так лучше проходить таможню, голуба»... ну и классной же хохмой это обернулось!) пока еще сохраняли сносную длину. Каждое утро он брился острым лезвием ножа Роланда, поначалу робко, но все более смело. Когда Генри отправлялся во Вьетнам, Эдди был слишком юн, чтобы бритье составляло часть его жизни, — впрочем, тогда оно и Генри обременяло не Бог весть как; бороду брат так и не отрастил, но иногда проходило дня три-четыре, прежде чем ворчанье ма заставляло его «скосить жнивье». Однако вернувшись, Генри оказался просто помешанным на бритье (так же ревностно он относился к нескольким другим вещам: припудриванью ног присыпкой после душа, чистке зубов по три-четыре раза на дню с последующим полосканием рта, к непременному аккуратному складыванью одежды). Таким же фанатиком он сделал и Эдди. Щетина выкашивалась каждое утро и каждый вечер, и теперь эта привычка глубоко сидела в Дийне-младшем вместе со всем прочим, чему он научился у Генри. Включая, разумеется, и то, для чего требовалась игла.

— Чересчур чистенький? — усмехаясь, спросил молодой человек.

— Чересчур беленький, — коротко ответила она, после чего на мгновение умолкла, сурово глядя на море. Эдди тоже молчал. Если и можно было как-нибудь остроумно возразить, он не знал, как.

— Простите, — сказала Одетта. — Это было очень зло, очень несправедливо и очень на меня непохоже.

— Да ладно.

— Нет. Это все равно, как если бы белый сказал человеку с очень светлой кожей что-нибудь вроде «Матерь божья, никогда б не догадался, что ты черномазый».

— Вам нравится думать, что вы более справедливы, — сказал Эдди.

— Я бы сказала, то, что нам нравится думать о себе, и то, каковы мы на самом деле, редко совпадает. Впрочем, согласна — мне нравится думать о себе, как о более справедливом и беспристрастном человеке. Поэтому пожалуйста примите мои извинения, Эдди.

— С одним условием.

— С каким? — она опять едва заметно улыбалась. Хорошо. Эдди нравилось, когда удавалось заставить ее улыбнуться.

— Дайте этому побольше шансов. Такое вот условие.

— Дать побольше шансов чему? — В голосе Одетты звучало легкое изумление. Возможно, от подобной нотки в голосе у кого-нибудь другого, Эдди почувствовал бы, что получил по макушке и ощетинился бы, но с Одеттой дело обстояло иначе. В ее устах это не звучало обидно. От нее, думал Эдди, не страшно услышать что угодно.

— Есть и третий вариант. Все это происходит на самом деле. То есть... — Эдди откашлялся. — Я не слишком силен во всякой философской дряни, или в этой... ну, знаете... метаморфозике или как там эта чертовня называется...

— Вы имеете в виду метафизику?

— Может быть. Не знаю. Наверное. Зато я знаю: нельзя зацикливаться на том, что не веришь собственным чувствам. Да что там, если ваше соображение, будто все это сон, верно...

— Я не говорила сон...

— Что бы вы ни говорили, сводится все к одному, правда? К ложной реальности.

Если секундой раньше в голосе Одетты и звучала еле различимая снисходительность, теперь она исчезла.

— Возможно, Эдди, философия с метафизикой — не ваша епархия, но в школе, должно быть, вы были страшным спорщиком.

— Отродясь не состоял в дискуссионном клубе. Это для голубых, страхолюдин да ботанов. Вроде шахматного кружка. Как понять — епархия? С чем это едят?

— Ничего особенного. То, в чем хорошо разбираешься. Лучше вы мне объясните. Что такое голубые?

Эдди некоторое время смотрел на нее, потом пожал плечами.

— Гомики. Петухи. Неважно. Обмениваться словечками можно до вечера — толку-то что? Я другое пытаюсь сказать: если все это сон, он может быть моим, а не вашим. Может, вы — плод моего воображения.

Улыбка Одетты дрогнула.

— Вы... вас не били по голове.

— Вас тоже никто не бил.

Теперь улыбка Одетты окончательно исчезла. Она довольно резко поправила:

— Никто, кого бы я запомнила.

— То же самое со мной! — сказал он. — Вы сказали, в Оксфорде народ грубый. Что ж, ребята с таможни тоже не то чтоб лучились радостью, когда не нашли марафет, который искали. Может, один из них засветил мне по башке рукояткой своей дуры, и лежу я сейчас в камере, в Бельвю, и вижу во сне вас с Роландом, покамест они пишут рапорты — объясняют, как во время допроса я повел себя агрессивно и пришлось меня утихомирить.

— Это не одно и то же.

— Почему? Потому, что вы — вся из себя интеллигентная чернокожая дама-общественница, а я — просто ширяла с нью-йоркской окраины? — Все это Эдди высказал с усмешкой, намереваясь добродушно высмеять Одетту, но та вспылила:

— Мне бы хотелось, чтобы вы прекратили называть меня черной!

Эдди вздохнул.

— Ладно, но к этому все равно привыкнут.

— Как ни крути, а вам следовало посещать дискуссионный клуб.

— Блядь, — сказал Эдди, и Одетта так повела глазами, что он опять невольно осознал: разница между ними не только в цвете кожи, она гораздо значительнее — они обращались друг к другу каждый со своего отдельного острова, океаном между которыми было время. Ну да ладно. Слово привлекло ее внимание. — Я не хочу с вами спорить. Я хочу, чтобы вы очнулись и осознали, что не спите, вот и все.

— Я могла бы действовать согласно диктату вашего третьего варианта — по крайней мере, временно, до тех пор, пока продолжает существовать такое... такое положение вещей... если бы не одно «но»: между тем, что произошло с вами, и тем, что случилось со мной, существует коренное отличие. Такое существенное, такое большое, что вы его не видите.

— Ну так покажите его мне.

— В вашем сознании нет разрывов. В моем — есть, и очень большой.

— Не понимаю.

— Я хочу сказать, что вы можете отчитаться за каждый прожитый миг, — сказала Одетта. — Ваш рассказ последовательно переходит от момента к моменту: самолет, внезапное вторжение этого... этого... его...

Она с явной неприязнью мотнула головой в сторону холмов.

— Припрятыванье наркотика, полицейские, взявшие вас под стражу, все прочее. История фантастичная, но в ней нет недостающих звеньев. Что касается меня, я вернулась из Оксфорда. Эндрю, мой шофер, встретил меня и отвез домой. Я приняла ванну и хотела выспаться: начиналась страшная мигрень, а единственное средство от действительно сильных мигреней — это сон. Но до полуночи оставалось совсем немного, и я подумала, что сначала посмотрю новости. Некоторых из нас отпустили, но, когда мы уезжали, большинство оставалось в кутузке. Мне хотелось выяснить, не пересмотрены ли их дела. Я вытерлась, надела халат и пошла в гостиную. Включила телевизор, программу новостей. Диктор принялся рассказывать о речи, которую только что произнес Хрущев по поводу американских советников во Вьетнаме. Он сказал: «Мы получили кинорепортаж из...» и исчез, и оказалось, что я качу по этому берегу. Вы говорите, будто видели меня сквозь этакую волшебную дверь, которая сейчас исчезла, — видели в Мэйси, где я воровала грошовые побрякушки. Уже достаточно абсурдно, но, даже будь это так, я сумела бы найти для кражи что-нибудь получше фальшивых драгоценностей. Я не ношу бижутерию.

— Лучше посмотрите еще разок на свои руки, Одетта, — спокойно сказал Эдди.

Она очень долго переводила взгляд с украшавшего ее левый мизинец «бриллианта» (слишком большого и вульгарного для того, чтобы быть настоящим) на крупный (слишком крупный и вульгарный для того, чтобы быть не настоящим) опал, красовавшийся на среднем пальце правой руки.

— Все это мне мерещится, — твердо повторила она.

— У вас что, пластинку заело? — В голосе Эдди впервые прозвучала неподдельная злость. — Каждый раз, как кто-то проткнет в вашей аккуратной историйке дырку, вы просто возвращаетесь к своему говенному «все это мне мерещится». Нужно поумнеть, 'Детта.

— Не называйте меня так! Терпеть этого не могу! — выкрикнула она так визгливо, что Эдди отшатнулся.

— Простите. Боже правый, я не знал!

— Я переместилась из ночи в день, из гостиной — на безлюдное взморье, я не в неглиже, я одета. И настоящая причина этого в том, что какой-то толстопузый, безмозглый полисмен-южанин ударил меня дубинкой по голове, вот и все!

— Но ваши воспоминания не обрываются на Оксфорде, — негромко заметил Эдди.

— Ч-что? — Неуверенность вернулась. Или, быть может, Одетта все понимала, но не желала понимать. Как с кольцами.

— Если вас огрели по голове в Оксфорде, почему ваши воспоминания на этом не обрываются?

— Логики в таких вещах обычно бывает немного. — Она снова потирала виски. — А теперь, Эдди, если вы не возражаете, я охотно закончила бы разговор. У меня опять начинается мигрень. И довольно сильная.

— По-моему, есть здесь логика или нет, все зависит от того, чему вы хотите верить. Я видел вас в Мэйси, Одетта. Я видел, что вы крали. Вы говорите, что не делаете таких вещей — но ведь вы сказали и другое: «я не ношу бижутерию». Сказали, хотя за время нашего разговора несколько раз посмотрели себе на руки. Кольца были там — но вы словно бы не могли их видеть, пока я не обратил на них ваше внимание, не заставил увидеть.

— Я не хочу говорить об этом! — крикнула она. — У меня болит голова!

— Ладно. Но вы знаете, где упустили последовательность событий, и было это не в Оксфорде.

— Оставьте меня, — без выражения сказала Одетта.

Эдди увидел стрелка, который тяжело тащился обратно с двумя полными бурдюками — один был обвязан вокруг талии, другой взвален на плечи. Вид у Роланда был очень усталый.

— Хотел бы я вам помочь, — проговорил Эдди, — но для этого, наверное, я должен быть настоящим.

Он постоял возле нее, но Одетта сидела, опустив голову, и безостановочно массировала виски кончиками пальцев.

Эдди пошел навстречу Роланду.

— Сядь, — Эдди забрал бурдюки. — Видуха у тебя — краше в гроб кладут.

— Так и есть. Я опять занемог.

Эдди посмотрел на пылающие щеки стрелка, на его потрескавшиеся губы, и кивнул.

— Я надеялся, что обойдется, но я не так уж удивлен, старик. Вдарить по микробам ты вдарил, но на цикл не хватило. У Балазара было слишком мало кефлекса.

— Я тебя не понимаю.

— Если не принимать пенициллиновый препарат достаточно долго, инфекция не дохнет. Ты просто загоняешь ее в подполье. Проходит несколько дней, и она возвращается. Нам понадобится еще кефлекс; впрочем, здесь по крайней мере есть дверь, через которую можно за ним сходить. В нужный момент от тебя потребуется только одно: не психовать. — Но при этом Эдди печально размышлял о том, что у Одетты нет ног, а переходы, которые приходится совершать в поисках воды, становятся все более долгими. Интересно, задумался он, мог ли Роланд выбрать более неподходящий момент, чтобы заболеть снова? Такую возможность Эдди допускал; он просто не понимал, как.

— Мне нужно рассказать тебе кое-что про Одетту.

— Ее зовут Одеттой?

— Угу.

— Чудесное имя, — сказал стрелок.

— Ага. Я тоже так подумал. А вот то, как она воспринимает это место, не так уж чудесно. Ей кажется, будто она не здесь.

— Знаю. И я ей не слишком нравлюсь, верно?

«Нет, — подумал Эдди, — но это не мешает ей считать тебя паскудной галлюцинацией». — Вслух он этого не сказал, только кивнул.

— Причины тут почти одни и те же, — продолжал стрелок. — Видишь ли, это не та женщина, которую я перенес сюда. Вовсе не та.

Эдди уставился на него и вдруг кивнул, объятый сильным волнением. Смазанный промельк в зеркале... то оскаленное лицо... Роланд прав. Господи Иисусе, конечно, он прав! Это была вовсе не Одетта!

Потом Эдди вспомнил руки, небрежно трогавшие шрамы, а до этого так же небрежно взявшиеся набивать большую дамскую сумочку блестящим хламом... почти как если бы женщине хотелось попасться.

Руки в кольцах.

В этих самых кольцах.

«Но это необязательно означает, что и руки были эти самые», — подумал он в исступлении, однако эта мысль задержалась всего на миг. Во время спора с Одеттой Эдди успел внимательно рассмотреть ее руки. Это были те самые руки — нежные, с длинными пальцами.

— Нет, — продолжал стрелок. — Не та. — Голубые глаза внимательно изучали Эдди.

— Ее руки...

— Послушай, — сказал стрелок, — послушай внимательно. Быть может, от этого зависят наши жизни — моя, поскольку мной вновь овладевает недуг, и твоя, поскольку ты влюбился в эту женщину.

Эдди ничего не сказал.

— Она — это две женщины в одном теле. Она была одной из них, когда я вошел в нее, и другой, когда я вернулся сюда.

Теперь Эдди ничего не мог сказать.

— Было и что-то еще. Что-то странное. Но то ли я не понял, что это, то ли понял, но оно ускользнуло от меня. Мне это показалось важным.

Взгляд Роланда скользнул мимо Эдди к инвалидному креслу. Оно, точно выброшенное на мель суденышко, одиноко стояло на морском берегу, там, где обрывался его короткий след, тянувшийся из ниоткуда. Потом стрелок опять посмотрел на Эдди.

— Я очень мало понимаю, что это или как такое может быть, но ты должен быть начеку. Понимаешь?

— Да. — Эдди показалось, что ему почти нечем дышать. Он понимал (по крайней мере, в доступном заядлому кинозрителю объеме), о какого рода вещах говорит стрелок, но на объяснения ему не хватало воздуха. Пока не хватало. Словно Роланд пнул его так, что дух вон.

— Хорошо. Потому что женщина, в которую я вошел по другую сторону двери, была так же страшна, как омарообразные твари, что выползают по ночам.

4. ДЕТТА НА ДРУГОЙ СТОРОНЕ

«Ты должен быть начеку», — сказал стрелок, и Эдди согласился, но стрелок знал, что Эдди не понимает, о чем речь; дальняя, невредимая половина сознания Эдди, в которой бывает заложено или не заложено выживание, не получила сигнала.

Стрелок понимал это.

На счастье Эдди, он это понимал.

Среди ночи Детта Уокер резко открыла глаза. Они были полны звездного света и ясного ума.

Она вспомнила все: как дралась с ними, как они привязали ее к креслу, как дразнили и обзывали: сука черномазая, сука черномазая.

Она вспомнила, как из волн полезли чудища, и тот мужик, что постарше, убил одного из них. Парень помоложе развел костер и занялся готовкой, а потом с ухмылочкой протянул ей нанизанное на палочку дымящееся мясо морского урода. Она вспомнила, что плюнула в белое рыло этого сопляка, и ухмылочка превратилась в злобную, сердитую гримасу. Беложопый саданул ее снизу в челюсть и сказал: «Ну, ничего, еще передумаешь, стерва ты черная. Погоди, вот увидишь». Потом они с Настоящим Гадом расхохотались. Настоящий Гад показал ей кусок говядины, насадил на вертел и принялся не спеша печь над костром, пылавшим на чужом, враждебном берегу, куда ее завезли.

От медленно подрумянивающейся говядины шел чрезвычайно соблазнительный запах, но она не подавала виду. Даже когда молодой замахал у нее перед лицом ломтем мяса, выпевая ну, кусни, сука черномазая, давай-давай, кусни, Детта сдержалась и сидела, как каменная.

Потом она забылась сном, и вот сейчас проснулась. Веревки, которыми ее связали, исчезли. Она больше не сидела в кресле — она лежала на одном одеяле, укрытая другим; лежала намного выше линии прилива, у которой все еще бродили, о чем-то спрашивая и порой выхватывая из воздуха невезучую чайку, омарообразные твари.

Она посмотрела влево и ничего не увидела.

Она посмотрела вправо и увидела двоих спящих, закутанных в массу одеял. Ближе лежал тот, что помоложе. А Настоящий Гад снял портупеи и положил рядом с собой.

Револьверы еще были в кобурах.

«Ты крупно ошибся, козел», — подумала Детта и перекатилась на правый бок. Зернистый хруст и скрип песка под ее телом не были слышны в хоре ветра, волн, вопрошающих созданий. Блестя глазами, она медленно поползла по песку (сама — точно один из чудовищных омаров).

Добравшись до портупей, Детта вытащила револьвер.

Он был очень тяжелым, рукоятка в ее ладони — гладкой, какой-то самостоятельно смертоносной. Тяжесть не вызвала беспокойства: руки у Детты Уокер были сильные.

Она проползла чуть дальше.

Молодой парень дрых — храпящий камень, ничего больше, — но Настоящий Гад тихонько зашевелился во сне, и Детта, с вытатуированным на лице злобным оскалом, замерла без движения. Он опять затих, и она расслабилась.

«Этот-то хитрожопый, гнида. Ой, гляди, Детта. Убедись, чтоб наверняка».

Она отыскала потертую защелку барабана, попыталась протолкнуть вперед, ничего не добилась и потянула ее на себя. Барабан открылся.

«Заряжен! Заряжен, паскуда! Сперва уделаешь молодого пиздюка. Тут Настоящий Гад проснется, а ты рот до ушей («улыбнись, ягодка, а то не видать, где ты есть») — да по рылу ему, по рылу, начистишь гниде ряшку по первому классу!»

Она защелкнула барабан, положила палец на курок... и стала ждать.

Поднялся сильный ветер. Детта взвела курок до конца.

И нацелила револьвер Роланда Эдди в висок.

Стрелок наблюдал за всем этим одним полуоткрытым глазом. Лихорадка вернулась, но пока что несильная... не настолько сильная, чтобы Роланд не доверял себе. Поэтому он ждал. Приоткрытый глаз был своего рода пальцем на спусковом крючке его тела; тела, которое становилось его револьвером всякий раз, как револьвера не оказывалось под рукой.

Женщина нажала курок.

Щелк.

Щелк, что же еще.

Когда они с Эдди, нагруженные бурдюками, вернулись со своего совещания, Одетта Холмс спала в инвалидном кресле глубоким сном, завалясь вбок. Соорудив на песке лучшую по их возможностям постель, они осторожно перенесли молодую женщину из кресла на расстеленные одеяла. Эдди был уверен, что она проснется, но Роланд лучше разбирался, что и как.

Он подстрелил омара, Эдди развел огонь, и они поели, оставив порцию Одетте на утро.

Затем состоялся разговор, и Эдди сказал нечто такое, что вдруг возникло перед Роландом подобно внезапной вспышке молнии. Это озарение было чересчур ярким и чересчур кратким, чтобы постичь все в полной мере, но Роланд увидел немало — так порой счастливый удар молнии позволяет различить очертания местности.

Он мог бы поделиться с Эдди уже тогда, но не стал, понимая, что должен быть для юноши Кортом, у Корта же вид ученика, залившегося кровью после неожиданного и болезненного удара, вызывал всегда один и тот же отклик: «Дитя не разумеет, что есть молоток, покамест, забивая гвоздь, не расплющит себе палец. Встань, червь, и прекрати скулить! Ты позабыл лик своего отца!»

И Эдди уснул, хотя Роланд велел ему быть начеку, а сам Роланд, уверившись, что его спутники спят (он подождал подольше, полагая, что Владычица способна на коварство), перезарядил револьверы, вложив в барабаны стреляные гильзы, отстегнул револьверные ремни (это причинило ему мгновенную острую боль) и положил их рядом с Эдди.

Потом он стал ждать.

Час, два, три.

В середине четвертого часа, когда его усталое, сжигаемое жаром тело силилось уплыть в дремоту, он скорее почувствовал, чем увидел, что Владычица проснулась, и сам также полностью очнулся от сна.

Он видел, как она перевернулась. Не спускал с нее глаз, пока она, впиваясь скрюченными пальцами в песок и подтягиваясь, подбиралась к тому месту, где лежали портупеи. Внимательно пронаблюдал, как она вытащила из кобуры револьвер, подползла поближе к Эдди и замерла, вскинув голову и раздувая ноздри — эта женщина не просто нюхала воздух, она пробовала его.

Да. Это ее он привез с той стороны.

Когда она глянула в его сторону, он не просто притворился спящим, потому что она почуяла бы надувательство; он уснул. Ощутив, что пристальный взгляд куда-то переместился, стрелок стряхнул сон и вновь приоткрыл один глаз. Он увидел, что женщина медленно поднимает револьвер (проделывая это с меньшим напряжением, чем выказал Эдди, когда в первый раз взял оружие при Роланде), направляет в голову Эдди... и медлит с невыразимо хитрой миной.

В этот миг она напомнила стрелку Мартена.

Она принялась возиться с барабаном и, хотя сперва взялась за него неправильно, чуть погодя открыла. Посмотрела на головки патронов. Роланд напрягся. Он ждал. Сначала — чтобы увидеть, поймет ли она, что капсюли уже пробиты, потом — чтобы посмотреть, не повернет ли она револьвер дулом к себе, не заглянет ли внутрь, не увидит ли пустоту вместо свинца (он думал над тем, не зарядить ли револьверы патронами, уже давшими осечку — но очень недолго; Корт учил: всяким револьвером в конечном итоге правит Старик Козлоногий, и единожды давший осечку патрон во второй раз может повести себя иначе). Сделай она это — и стрелок немедля бы прыгнул.

Но женщина защелкнула барабан, начала взводить курок... и опять остановилась. Остановилась, чтобы ветер скрыл единственный тихий щелчок.

Роланд подумал: «Вот она, другая. О Боже! Отвратительная, злобная, безногая — и все же стрелок; это так же верно, как то, что Эдди — стрелок».

Он ждал вместе с ней.

Налетел ветер.

Женщина оттянула спусковой крючок до полного взвода и поместила револьвер в полудюйме от виска Эдди. С ухмылкой, которая была гримасой упыря, она резко нажала на курок.

Щелк.

Роланд ждал.

Она снова нажала. Опять. И опять.

Щелк-щелк-щелк.

— Козлы ДРАНЫЕ! — завизжала она и плавным, грациозным движением повернула револьвер дулом к себе.

Роланд напружинил ноги, но не прыгнул. Дитя не разумеет, что такое молоток, покамест, забивая гвоздь, не расплющит себе палец.

«Если она убьет его, она убьет и тебя».

«Плевать», — непреклонно ответил голос Корта.

Эдди пошевелился. Нет, рефлексы у парня были неплохие; он метнулся в сторону достаточно быстро, чтобы не дать оглушить или убить себя. Вместо того, чтобы опуститься на уязвимый висок, тяжелая рукоять револьвера разбила челюсть.

— Что... Господи!

— КОЗЛЫ ДРАНЫЕ! КОБЕЛИ БЕЛОЖОПЫЕ! — истошно вопила Детта, и Роланд увидел, что она заносит револьвер во второй раз. Пусть она была безногой, пусть Эдди уже откатывался прочь, дальше рисковать он не смел. Коль скоро Эдди не усвоит урок сейчас, он не усвоит его уже никогда. В следующий раз, когда стрелок велит Эдди быть начеку, Эдди последует совету, и потом... эта стерва оказалась шустра. Было бы неумно и дальше полагаться на проворство Эдди или на немощность Владычицы.

Распрямив напружиненные ноги, он перелетел через Эдди и, силой удара отбросив Детту назад, приземлился на нее сверху.

— Приспичило, кобелина? — закричала она в лицо Роланду, одновременно прижимаясь своим лобком к его паху и занося руку, все еще сжимающую револьвер, над его головой. — Разобрало? Щас получишь, чего тебе надо, щас дам, в натуре!

— Эдди! — снова крикнул стрелок — теперь он не просто орал, он приказывал. Эдди, с подбородка которого капала кровь (челюсть уже начинала распухать) еще секунду просидел на корточках, бессмысленно тараща широко раскрытые глаза. «Ну же, шевелись, не можешь, что ли? — подумал Роланд. — Или не хочешь?» Его силы таяли. Когда эта женщина в очередной раз обрушит вниз тяжелую рукоять револьвера, она сломает ему руку... то есть, если он успеет загородиться. Если нет, она проломит ему голову.

Потом Эдди стряхнул оцепенение. Он поймал стремительно опускавшийся револьвер, и Детта с пронзительным визгом повернулась к нему, щелкая зубами, точно вампир, и ругаясь на уличном patois [Patois (франц.) — уличный простонародный жаргон], таком беспросветно южном, что его не понимал даже Эдди, а Роланду казалось, будто женщина вдруг заговорила на иностранном языке. Но Эдди сумел вырвать револьвер из ее руки и, когда нависшая над Роландом «дубинка» исчезла, он смог пригвоздить Детту к песку.

Она и тогда не унялась и продолжала брыкаться, рваться вверх и сквернословить. На темном лице выступил пот.

Эдди глазел на все это, по-рыбьи открывая и закрывая рот. Он нерешительно дотронулся до своей челюсти, сморщился, отнял руку, внимательно осмотрел пальцы и оставшуюся на них кровь.

Детта продолжала верещать: прикончу обоих, рискните здоровьем, попробуйте меня снасильничать, я вас пиздой укокошу, вот посмотрите, это ж не дырка, а хуй знает что с зубами на входе, охота разведать, так сами убедитесь.

— Что, черт подери... — тупо проговорил Эдди.

— Ремень, — пропыхтел стрелок. — Тащи сюда. Я перекачу ее наверх, а ты схватишь ее за руки и стянешь кисти за спиной.

— ХРЕНА С ДВА! — взвизгнула Детта, и ее безногое тело забилось с такой силой, что Роланд чуть не слетел. Он чувствовал, как она опять и опять силится поднять обрубок правой ноги, чтобы заехать ему по причинному месту.

— Я... я... она...

— Живее, Господь прокляни лик твоего отца! — взревел Роланд, и Эдди наконец сдвинулся с места.

Связывая Детту и затягивая ремень, они дважды едва не упустили ее. Наконец Эдди сумел накинуть завязанную затяжной петлей портупею Роланда на запястья женщины, когда, приложив к этому все силы, стрелок все-таки завернул ей руки за спину (то и дело, как мангуста от змеи, отшатываясь перед стремительными выпадами, которые Детта делала головой, силясь укусить; укусов он избежал, но, покуда Эдди закончил, насквозь промок от слюны). Тут-то Эдди, удерживая короткий конец затяжной петли, и стянул путами эти сведенные вместе кисти. Он не хотел сделать больно этому отчаянно бьющемуся, пронзительно кричащему, сыплющему проклятиями существу. Оно было куда злее чудовищных омаров, поскольку обладало более развитым интеллектом, поставлявшим ему информацию, но Эдди знал за ним и другую способность — быть прекрасным. Он не хотел обижать ее другое «я», скрывавшееся где-то внутри этого сосуда, как живая голубка прячется в самой глубине одного из потайных отделений волшебного ящика фокусника).

Где-то внутри этого орущего, визжащего существа скрывалась Одетта Холмс.

Хотя мул — последнее животное, ходившее под седлом у стрелка, — издох слишком давно, чтобы помнить о нем, у Роланда сохранился кусок его веревочной привязи (которая, в свою очередь, некогда была отличным арканом). Привязав с помощью этой веревки Детту к инвалидному креслу, как еще раньше рисовало ей воображение (а может, ложная память — впрочем, итог был один, верно?), они отошли.

Если бы не ползучие омарообразные твари, Эдди спустился бы к воде и вымыл руки.

— Похоже, меня сейчас вывернет, — сообщил он голосом, срывавшимся то на бас, то на дискант, как у мальчишки-подростка.

— Чего стали-то? Валяйте, схавайте друг дружке ЗАЛУПЫ! — визгливо посоветовало трепыхавшееся в кресле существо. — А? Коли вы перед пиздинкой черной бабы труса празднуете! Ну, валяйте! Чего тут сомневаться! Пососите друг дружке шершавого! Валяйте, пока можно, потому как Детта Уокер щас вылезет из этого кресла — и амбец херам вашим тощим, беложопые! Оторву и вон тем ходячим бензопилам скормлю!

— Вот женщина, в чьем сознании я побывал. Теперь ты мне веришь?

— Я и раньше тебе верил, — сказал Эдди. — Я же говорил.

— Ты думал, будто веришь. Ты верил только верхним слоем сознания. Веришь ты теперь до конца? До донышка?

Эдди посмотрел на визжащее, судорожно извивающееся в инвалидном кресле существо, и отвел глаза. В лице не осталось ни кровинки, только из рваной раны на подбородке сочились редкие алые капли. С этого бока физиономия Эдди начинала приобретать некоторое сходство с воздушным шаром.

— Да, — выговорил он. — Боже мой, да.

— Эта женщина — чудовище.

Эдди заплакал.

Стрелку захотелось утешить его, но, не в силах совершить такое святотатство (слишком уж хорошо он помнил Джейка), он ушел в темноту, сжигаемый изнутри жаром и болью нового приступа лихорадки.

Той ночью, намного раньше — Одетта еще спала, — Эдди сказал: похоже, я, может быть, понимаю, что с ней неладно. Может быть. Стрелок спросил, что Эдди имеет в виду.

— Может быть, она шизофреничка.

Роланд только головой покрутил. Эдди объяснил свое понимание шизофрении, нахватанное по крупицам из фильмов вроде «Трех лиц Евы» и всевозможных телепрограмм (главным образом, из мыльных опер, которые они с Генри смотрели, тащась от кайфа). Роланд кивнул. Да. Болезнь, описанная Эдди, вроде бы подходила. Женщина с двумя лицами, светлым и темным. Как на пятой карте Таро, открытой ему человеком в черном.

— И эти... шизофрены... не знают, что у них есть другой?

— Нет, — отозвался Эдди. — Но... — Его голос постепенно затих. Молодой человек угрюмо следил за исполинскими омарами — а те знай ползали по песку и допытывались о чем-то, ползали и допытывались.

— А как же?

— Я не мозгоправ, — сказал Эдди, — поэтому, в общем-то, не знаю...

— Мозгоправ? Что такое мозгоправ?

Эдди постукал себя по виску.

— Врач, который лечит голову. Соображаловку. По-настоящему называется «психиатр».

Роланд кивнул. Мозгоправ ему нравилось больше. Поскольку мозгов у Владычицы было слишком много. В два раза больше, чем нужно. Не мешало бы их вправить.

— Но, по-моему, шизики почти всегда знают, что с ними что-то не то, — сказал Эдди. — Из-за провалов в памяти. Может, я ошибаюсь, но я всегда понимал так: обычно в шизике сидят два человека, из-за пробелов в воспоминаниях считающие, что страдают частичной потерей памяти. Эти пробелы образуются тогда, когда ситуацией завладевает второе «я». А она... она говорит, что помнит все. Она действительно думает, будто помнит все.

— Я думал, ты сказал, что, по ее мнению, на самом деле ничего не происходит.

— Угу, — сказал Эдди, — но покамест забудь об этом. Я пытаюсь сказать вот что: неважно, в чем она убеждена. В ее воспоминаниях этот берег стоит сразу за гостиной, где она сидела в халате и смотрела двенадцатичасовые новости. Никакого провала. Никакого разрыва. Ей совершенно невдомек, что ее гостиную от универмага Мэйси, где ты ее сцапал, отделяет некий промежуток времени, на который в ее теле воцарилась какая-то иная личность. Черт, могли пройти сутки, а то и несколько недель. Я знаю, что все еще была зима — почти все покупатели в том универмаге были в пальто...

Стрелок кивнул. Восприятие Эдди обострялось. Хорошо. Сапоги, шарфы и торчавшие из карманов пальто и курток перчатки ускользнули от его внимания — и все же процесс пошел.

— ...но сколько времени Одетта была той другой женщиной больше никак не определишь — сама-то она этого не знает. Сдается, она оказалась в совершенно новой для себя ситуации, и историей о том, как ей прошибли голову, просто защищает обе стороны.

Роланд кивнул.

— И кольца. Увидеть их было для нее настоящим потрясением. Она старалась не подавать вида, но все равно это было заметно.

Роланд спросил:

— Если две эти женщины не знают, что существуют в одном теле, и даже не подозревают, что что-то может быть не в порядке; если у каждой из них своя, отдельная, цепочка воспоминаний, частью — подлинных, а частью — придуманных сообразно тем промежуткам времени, когда появляется другая, как нам быть? Как жить рядом с ней?

Эдди пожал плечами.

— Меня не спрашивай. Это твоя проблема. Ты же сказал, что она тебе нужна. Ты же, черт возьми, собственной шеей рисковал, чтобы притащить ее сюда. — Эдди на минуту задумался, припомнив, как с ножом Роланда в руке сидел на корточках над телом стрелка, почти касаясь лезвием его горла, и неожиданно невесело рассмеялся. «Ты БУКВАЛЬНО рисковал своей шеей, мужик», — подумал он.

Воцарилось молчание. К этому времени Одетта уже спокойно дышала. Стрелок совсем было собрался в очередной раз повторить Эдди свое предостережение быть начеку и (достаточно громко, чтобы Владычица — если она лишь притворялась — услышала) объявил, что ложится спать, как вдруг Эдди сказал нечто, одной внезапной вспышкой озарившее сознание Роланда и заставившее понять хотя бы часть того, что так нужно было знать.

Под конец, когда эта женщина оказалась здесь.

Под конец она изменилась.

Он что-то заметил, что-то...

— Сказать тебе кое-что? — спросил Эдди, мрачно вороша золу раздвоенной клешней убитого накануне вечером омара. — Когда ты поволок ее сквозь дверь, мне показалось, что шизик — я.

— Почему?

Эдди подумал, затем пожал плечами. Объяснить было слишком трудно, а может, он просто слишком устал.

— Это неважно.

— Почему?

Эдди посмотрел на Роланда, увидел, что тот задает серьезный вопрос по серьезной причине (по крайней мере, он так подумал), и на минуту углубился в воспоминания.

— Честное слово, мужик, это трудно описать. Я поглядел в эту дверь. Тут у меня крыша и поехала. Когда видишь, как в этой двери кто-то движется, то мерещится, будто движешься вместе с ними. Ну, знаешь, о чем я толкую.

Роланд кивнул.

— Так вот, я до последнего смотрел все это, как фильм... ну, неважно, не суть. А потом ты развернул ее лицом сюда, и я в первый раз увидел себя. Словно... — Эдди перебирал слова и ничего не находил. — Не знаю. Наверное, должно было бы казаться, что смотришься в зеркало, но мне так не показалось, потому... потому что я смотрел как бы на другого человека. Словно меня вывернули наизнанку. Словно я был одновременно в двух местах. Черт, ну, не знаю.

Но стрелка точно громом поразило. Так вот что он ощутил, когда они проникли в этот мир; вот что с ней произошло... нет, не только с ней, с ними: мгновение Детта и Одетта смотрели друг на друга, но не так, как смотришь на свое отражение в зеркале, нет — как два разных человека; зеркало стало оконным стеклом и на миг Одетта увидела Детту, Детта — Одетту, и обе одинаково ужаснулись.

«Теперь знают обе, — мрачно подумал стрелок. — Быть может, не знали прежде, но знают теперь. Они могут пытаться скрыть это от себя самих, но миг прозрения был, знание пришло и, должно быть, осело в сознании, никуда не делось».

— Роланд?

— Что?

— Просто хотел убедиться, что ты не спишь с открытыми глазами. Потому как, знаешь ли, на минуту у тебя сделался такой вид, точно ты за тыщу лет и за тридевять земель отсюда. За горами, за лесами, за широкими морями.

— Коли так, теперь я вернулся, — сказал стрелок. — И иду спать. Помни, что я сказал, Эдди: будь начеку.

— Буду смотреть в оба, — отозвался Эдди. Впрочем, Роланд знал: дозор нынче ночью нести ему самому, болен он или нет.

Из чего и воспоследовало дальнейшее.

После всех треволнений Эдди с Деттой Уокер в конце концов уснули, на сей раз окончательно (обессилевшая Детта не столько уснула, сколько впала в забытье, свесившись вбок, и в кресле ее удерживали веревки).

Но стрелок лежал без сна.

«Придется свести их обеих в бою, — думал он. Впрочем, чтобы объяснить ему, что подобный поединок может оказаться битвой не на жизнь, а на смерть, никакие «мозгоправы» не требовались. — Если победит светлая, Одетта, все еще может быть хорошо. Если верх возьмет темная, несомненно, все пропало».

И все же стрелок чувствовал, что в действительности следует не убивать, а объединять. Он уже осознал (и не без одобрения): в уличной грубости, в непримиримости и упрямстве Детты Уокер есть много такого, что в будущем окажется ценным для него — для всех; он нуждался в Детте — но хотел, чтобы она находилась под контролем. Путь предстоял неблизкий. Детта считала их с Эдди чудовищами, принадлежавшими к некоему виду, который она называла Кобели Беложопые. Это было всего лишь, чем опасное заблуждение, но на пути им предстояло встретиться с настоящими чудовищами — исполинские омары были не первыми и не последними. Та отчаянная, «дерись-до-последнего», баба, в которую он вошел и которая этой ночью вновь явилась из укрытия, могла бы очень пригодиться в схватке с подобными монстрами, если бы смягчить ее спокойной человечностью Одетты Холмс, особенно теперь, когда стрелок остался без двух пальцев и почти без пуль, а лихорадка нарастала.

«Впрочем, это шаг вперед. Думаю, если бы мне удалось заставить их признать друг друга, это вызвало бы столкновение. Как это можно устроить?»

Всю ту долгую ночь Роланд пролежал без сна, размышляя, и, хотя чувствовал, как усиливается жар, сжигающий его изнутри, ответа на свой вопрос так и не нашел.

Незадолго до рассвета Эдди проснулся. Он увидел, что стрелок, завернувшись в одеяло на манер индейца, сидит у прогоревшего в пепел вчерашнего костра, и присоединился к нему.

— Как самочувствие? — понизив голос, спросил Эдди. Владычица, крест-накрест оплетенная веревками, еще спала, порой вздрагивая, что-то бормоча и постанывая.

— Нормально.

Эдди оценивающе взглянул на него.

— По тебе не скажешь.

— Спасибо, Эдди, — сухо сказал стрелок.

— Тебя трясет.

— Пройдет.

Владычица опять дернулась и что-то промычала. На сей раз слово было почти понятным — возможно, Оксфорд.

— Боже ты мой, не могу я этого видеть, — пробормотал Эдди. — Связанная, как какая-нибудь паршивая телка в хлеву.

— Она скоро проснется. Может статься, тогда ее можно будет развязать.

Ни тот, ни другой не сумели яснее выразить вслух надежду, что, когда Владычица откроет глаза, их приветствует спокойный — ну, может, слегка озадаченный — взгляд Одетты Холмс.

Пятнадцатью минутами позже, когда над холмами пробились первые лучи солнца, эти глаза и в самом деле открылись... но вместо спокойного, внимательного взгляда Одетты Холмс мужчины увидели бешеный, злобно сверкающий взгляд Детты Уокер.

— Сколько раз вы меня снасильничали, покамест я была в отрубе? — спросила Детта. — У меня в пизде так склизко да сально, словно кто поработал там парой тех махоньких белых огарков, что вы, кобели беломясые, величаете херами.

Роланд вздохнул.

— Ну, двинулись, — сказал он, с гримасой поднимаясь на ноги.

— Никуда я с тобой не пойду, козел вонючий, — фыркнула Детта.

— Пойдешь, еще как пойдешь, — заверил Эдди. — Прости, родная.

— Куда ж, по-вашему, я отправлюсь?

— Ну, — сказал Эдди, — то, что было за Дверью Номер Раз, оказалось не так уж опасно для жизни. То, что было за Дверью Номер Два, уже хуже. Теперь, значит, вместо того, чтобы, как нормальные люди, бросить это дело, мы двинем дальше, проверять Дверь Номер Три. Исходя из развития событий, там, по-моему, запросто может оказаться Годзилла или Трехглавое Чудовище Гидра. Впрочем, я оптимист. Я все еще надеюсь найти за ней кастрюльки из нержавейки.

— Не пойду.

— Пойдешь, пойдешь, — сказал Эдди и зашел за кресло. Детта опять забилась, но узлы завязывал стрелок, и от отчаянной возни они только туже затянулись. Довольно скоро Детта это поняла и утихла. Она была полна яда, но далеко не глупа. На Эдди она оглянулась с такой усмешкой, что он слегка отпрянул. Ему почудилось, что более злобного выражения на человеческом лице он еще не видел.

— Ну, может, чуток и прокачусь, — сказала Детта, — только, может, не так далеко, как ты думаешь, лебедь ты мой белый. И, видит Бог, не так быстро, как ты думаешь.

— То есть?

Снова хитрая, полная предвкушения ухмылка через плечо.

— Узнаешь, лебедь белый. — Взгляд женщины, безумный, но убедительный, ненадолго переместился на стрелка. — Это вы оба-два узнаете.

Эдди обхватил ладонями ручки, похожие на ручки велосипедного руля (ими заканчивались расположенные на спинке инвалидного кресла рычаги), и путники вновь двинулись на север, оставляя на казавшейся бесконечной полосе прибрежного песка не только следы ног, но и сдвоенный след кресла Владычицы.

День выдался кошмарный.

Перемещаясь по такой однообразной местности, подсчитывать пройденное расстояние трудно, но Эдди понимал: их продвижение вперед замедлилось настолько, что они буквально ползут.

Кто в этом виноват, он тоже понимал.

О да.

«Это вы оба-два узнаете», — заявила Детта, трогаясь в путь. Не прошло и получаса, как это узнавание началось.

Кресло.

Прежде всего это. Катить инвалидное кресло по мелкому песку было так же невозможно, как ехать на машине по глубокому, неубранному снегу. Песчаная мергельная поверхность прибрежной полосы, по которой они шли, позволяла везти его, но далеко не без труда. То оно некоторое время плавно катило вперед, хрустя шинами из твердой резины по ракушкам и стреляя в обе стороны мелкой галькой... а то вдруг попадало в занесенное более мелким песком углубление. Тогда, чтобы выкатить из впадины этот «экипаж» с его увесистой и не расположенной помогать пассажиркой, Эдди приходилось с кряхтением пихать его плечом. Песок жадно засасывал колеса. Приходилось толкать инвалидную коляску вперед и одновременно с маху, всей тяжестью, налегать на рычаги, отжимая их книзу, не то привязанная к коляске женщина исполнила бы вместе с ней кувырок через голову с приземлением лицом в песок.

Попытки Эдди везти ее, не опрокидывая, вызывали у Детты омерзительные смешки.

— Как ты там, сладенький, хорошо времечко проводишь? — спрашивала она всякий раз, как кресло въезжало в одно из таких сухих болот.

Стрелок подошел помочь, но Эдди отмахнулся.

— Еще успеешь, — сказал он. — Мы будем меняться. «Впрочем, я думаю, что мои заходы будут куда длиннее, — зазвучал голос у него в голове. — При том, как он выглядит, ему очень скоро придется из кожи вон лезть, чтобы только держаться на ногах. Какое уж там толкать кресло с бабой. Нет-с, Эдди, боюсь, вся эта бочка меда — твоя. Бог наказал, ясно? Все эти годы ты был наркашом, и знаешь, что? Наконец стал толкачом!»

Он коротко, задышливо рассмеялся.

— Над чем смеемся, белый мальчик? — спросила Детта, и, хотя Эдди подумал, что по замыслу фраза должна была прозвучать саркастически, вышло лишь капельку сердито.

Вероятно, тут мне смешочки разводить нечего, подумал он. Категорически. Во всяком случае, касательно ее.

— Тебе не понять, дуся. Успокойся.

— Я тебя успокою, — сказала она. — Не успеет эта мутотень кончиться, я тебя с твоим дружком-мудилой так успокою — по всему берегу кусочки лягут. Даже не сомневайся. А покамест лучше побереги дыхалку — как толкать-то будешь? Ты и так уж, кажись, подзапыхался?

— Ну, тогда чеши языком одна, — тяжело пропыхтел Эдди. — У тебя-то, похоже, чтоб вони напустить, дыхалки всегда хватает.

— Да уж, вони я напущу, сука белая! Вот сдохнешь, прямо в твое мертвое рыло нафуняю!

— Обещанья, обещанья. — Эдди вытолкнул кресло из песка и покатил вперед. По крайней мере, некоторое время оно шло сравнительно легко. Солнце еще толком не поднялось из-за горизонта, а молодой человек уже вспотел.

«День будет занимательный и поучительный, — подумал он. — Уже понятно».

Остановки.

Второе — остановки.

Они наткнулись на полоску твердого песка, и Эдди покатил кресло быстрее, смутно размышляя, что, если бы суметь сохранить это крохотное ускорение, то следующую песчаную западню, может быть, удалось бы проскочить на чистой инерции.

Ни с того, ни с сего кресло остановилось. Стало как вкопанное, с глухим стуком ударив Эдди в грудь поперечиной. Эдди охнул. Роланд оглянулся, но даже кошачья быстрота его реакции не смогла помешать креслу Владычицы опрокинуться — в точности так, как оно угрожало сделать, попадая в каждую следующую песчаную западню. Кресло перевернулось, а с ним перевернулась и Детта, связанная и беспомощная, но дико хохочущая. Когда Роланду с Эдди удалось, наконец, снова выправить кресло, Детта еще гоготала. Кое-где веревки затянулись так туго, что, должно быть, немилосердно врезались в тело, прекратив доступ крови к конечностям. Лоб был рассечен; тонкая алая струйка, сочась из раны, затекала в бровь. Но Детта все равно продолжала кудахтать от смеха.

К тому времени, как кресло вновь встало на колеса, запыхавшиеся мужчины судорожно хватали ртами воздух. Вес кресла вместе с сидевшей в нем женщиной в целом составлял добрых двести пятьдесят фунтов, причем большая часть приходилась на кресло. Эдди пришло в голову, что, вырви стрелок Детту из его времени, из восемьдесят седьмого года, кресло могло бы весить фунтов на шестьдесят меньше.

Детта хихикнула, фыркнула, поморгала, избавляясь от попавшей в глаза крови.

— Ишь ты! Вы, молодые-холостые, меня кувырнули, — сказала она.

— Позвони адвокату, — пробурчал Эдди. — Подай на нас в суд.

— А обратно ставили вверх головой, так совсем умаялись. Да и потратили минут десять, не меньше.

Стрелок оторвал кусок от своей рубашки (к этому времени от нее осталось так мало, что жалеть, в общем, было уже нечего) и левой рукой потянулся стереть кровь с пореза на лбу Детты. Детта щелкнула зубами, да так свирепо, что Эдди подумал: замешкайся отпрянувший Роланд хоть на секунду, и Детта Уокер снова уравняла бы счет пальцев на его руках.

Она хихикала, уставясь на стрелка глазами, полными недоброго, подлого веселья, но Роланд разглядел притаившийся на самом их дне страх. Детта боялась его. Боялась — ведь он был Настоящим Гадом.

Почему он был Настоящим Гадом? Быть может, на неком более глубоком уровне Детта понимала, что он знает о ней?

— Почти достала тебя, сволочь белая, — сказала она. — В этот раз почти достала. — И захихикала как ведьма.

— Подержи ей голову, — ровно произнес стрелок. — Кусается, как хорек.

Эдди держал Детте голову, а стрелок тем временем осторожно очищал рану тряпочкой. Рана была неширокой и с виду неглубокой, но стрелок не собирался рисковать. Он медленно спустился к воде, намочил обрывок рубахи в соленой воде и вернулся.

Когда он приблизился к Детте, та завопила благим матом.

— Не тронь, не смей, убери эту фигню! Не смей в меня тыкать всякой дрянью, из этой воды ядовитые твари вылазят! Не тронь! Убери! Убери-и!

— Держи ей голову, — сказал Роланд прежним ровным тоном. Детта исступленно мотала головой из стороны в сторону. — Я не хочу рисковать.

Эдди придержал голову Детты... и зажал, как в тисках, когда женщина попыталась стряхнуть его руки и освободиться. Увидев, что речь идет о деле, она немедленно затихла и перестала демонстрировать страх перед сырой тряпкой. В конце концов, она ведь притворялась.

Пока Роланд обмывал рану, тщательно удаляя последние прилипшие песчинки, Детта улыбалась.

— По совести говоря, поглядеть на тебя, так ты не просто без задних ног, — заметила она. — Поглядеть на тебя, так ты хворый, слышь, беломясый? Не сказала б я, что ты готов ко всяким там долгим походам. По-моему, ты ваще ни к чему такому не готов.

Эдди обследовал несложные рычаги управления инвалидного кресла и нашел аварийный ручной тормоз, намертво стопоривший оба колеса. Детта тайком просунула туда руку, терпеливо дождалась, чтобы Эдди развил достаточно большую, по ее мнению, скорость, и, дернув тормоз, намеренно опрокинулась. Зачем? Только для того, чтобы задержать их продвижение вперед. Никаких резонов для такого поступка не было, но женщине вроде Детты, подумал Эдди, резоны и не нужны. У такой особы желание учинить нечто подобное диктуется чистой подлостью.

Роланд чуть-чуть ослабил ее путы, чтобы кровь могла свободнее течь по сосудам, а потом крепко привязал руку женщины подальше от тормоза.

— Ништяк, начальник, — сказала Детта, одаряя его светлой и радостной, но чересчур зубастой улыбкой. — Это ничего. Найдутся другие способы попридержать вас, ребята. На любой вкус найдутся.

— Пошли, — без выражения сказал стрелок.

— Старик, ты в порядке? — спросил Эдди. Стрелок казался очень бледным.

— Да. Пошли.

Они снова зашагали по прибрежному песку.

Стрелок настаивал на том, чтобы на час сменить Эдди у кресла, и юноша неохотно уступил. Через первую песчаную западню Роланд провез Детту сам, но, чтобы вытолкнуть кресло из следующей, потребовалась энергичная помощь Эдди. Стрелок судорожно ловил ртом воздух, на лбу крупными каплями выступил пот.

Эдди дал ему пройти еще немного. Роланд довольно искусно лавировал, объезжая те участки, где песок был достаточно рыхлым, чтобы засосать колеса, но в конце концов кресло снова увязло. Тяжело дыша, Роланд бился изо всех сил, пытаясь вытолкнуть его из ловушки, а ведьма (поскольку теперь Эдди думал о ней именно так) выла от смеха и, не таясь, откидывалась назад, чтобы намного усложнить задачу... но Эдди сумел вытерпеть в роли наблюдателя лишь несколько секунд, а потом плечом отодвинул стрелка в сторону и, одним злым, стремительным рывком накренив кресло, вытянул его из песка. Кресло затряслось, зашаталось, и Эдди понял, что Детта, с диковинной прозорливостью выбрав единственно верный момент, чтобы подвинуться вперед, насколько позволяют веревки, пытается опрокинуть его.

Очутившись рядом с Эдди, Роланд всей тяжестью навалился на спинку кресла, и оно прочно стало на песок.

Детта оглянулась и заговорщически подмигнула им, да так непристойно, что Эдди почувствовал, как его руки покрываются гусиной кожей.

— Опять вы, молодые-холостые, чуть меня не кувырнули, — сказала она. — А вам надо бы за мной приглядывать. Я-то просто увечная старуха, вот вам бы обо мне и заботиться в охотку.

Она захохотала. Она чуть не лопалась со смеху.

Несмотря на то, что Эдди был неравнодушен к обитавшей в сознании Детты другой женщине (даже короткого времени, в течение которого молодой человек видел Одетту и говорил с ней, оказалось довольно, чтобы он почувствовал себя почти влюбленным), руки у него так и зачесались от желания сомкнуться у нее на горле и задушить этот смех — задушить раз и навсегда.

Она снова быстро глянула назад, поняла, о чем думает Эдди (словно это было написано на нем красными чернилами), и зашлась еще сильнее. Ее глаза подзадоривали: «Ну, валяй, белый. Валяй, коли охота. Ну, давай, давай!»

«Иными словами, опрокинь не только кресло, опрокинь и бабу, — подумал Эдди. — Опрокинь с концами. Ей же только того и надо. Может, у нее в жизни одна-единственная настоящая цель — погибнуть от руки белого».

— Ну, хватит, — сказал он, опять принимаясь толкать кресло. — Нравится тебе или нет, сладенькая, мы едем кататься по морскому бережку.

— Пошел на хуй, — фыркнула она.

— Заткни им себе глотку, детуля, — учтиво ответил Эдди.

Стрелок шагал рядом, не поднимая головы.

Часам к одиннадцати, если верить солнцу, они оказались у большого скопления вышедших на поверхность почвы камней. Там путники сделали почти часовой привал, укрывшись в тени от солнца, карабкавшегося в зенит. Эдди со стрелком доели остатки убитого накануне вечером омара; Детта же от предложенной ей порции отказалась, зная (так она объяснила Эдди), что они хотят сделать. Коли-ежели они хотят это сделать, сказала она, пусть не пытаются ее отравить, а прикончат голыми руками. Отраву в еду, сказала она, подсыпают только трусы.

«Эдди прав, — думал стрелок. — Эта женщина создала собственную цепочку воспоминаний. Она знает все, что происходило с ней прошлой ночью, хотя спала по-настоящему крепко».

Детта была убеждена, что они, глумясь, приносили ей куски мяса, от которого несло смертью и разлагающимся трупом, а сами ели солонину, запивая пивом из фляжек. Она свято верила, что они то и дело подсовывают ей хорошие куски с собственного стола, а в последний момент, когда она уже готова вцепиться в еду зубами — убирают их, разумеется, от души смеясь. В мире (или, по крайней мере, в голове) Детты Уокер, Кобели Беложопые общались с темнокожими женщинами только двумя способами: насиловали их или насмехались над ними. Или и то, и другое сразу.

Это было просто смешно. Эдди Дийн в последний раз видел говядину во время своей поездки в небесном вагоне. Сам Роланд не видел ни кусочка мяса с тех самых пор, как доел вяленое — а давно ли это было, знали только боги. Что же касается пива... Стрелок нырнул в глубины памяти.

Талл.

В Талле было пиво. Пиво и говядина.

Боже, как здорово было бы хлебнуть пива. Горло болело. Так хорошо было бы унять эту боль пивом. Даже лучше, чем астином из мира Эдди.

Они отошли подальше от Детты.

— Что, не гожусь в компашку таким белым парням? — прокаркала она им вслед. — Или, может, просто охота подрочить друг дружке? Огарки свои белые почесать?

Запрокинув голову, она завизжала от смеха, да так, что чайки, у которых четвертью мили дальше, на камнях, проходило что-то вроде слета, испуганно поднялись в воздух, оглашая его жалобными криками.

Стрелок сидел, свесив руки между колен, и думал. Наконец он поднял голову и сказал Эдди:

— Из десяти слов, которые она произносит, мне понятно примерно одно.

— Я тебя здорово обскакал, — откликнулся Эдди. — Из каждых трех слов я въезжаю самое малое в два. Да наплевать. Почти все это крутится возле кобелей беложопых.

Роланд кивнул.

— Там, откуда ты родом, многие темнокожие так говорят? Другая так не разговаривает.

Эдди помотал головой и засмеялся.

— Нет. Я тебе скажу кое-что довольно забавное... Мне, по крайней мере, оно кажется довольно забавным, но, может, просто потому, что здесь, в ваших краях, смеяться особо не над чем. Так вот, это лажа. Полная лажа. А она об этом — ни сном, ни духом.

Роланд посмотрел на него и ничего не сказал.

— Помнишь, как она прикидывалась, будто боится воды, когда ты обмывал ей лоб?

— Да.

— Ты понял, что она придуривается?

— Не сразу, но довольно скоро.

Эдди кивнул.

— Это был спектакль, и она знала, что это спектакль. Но она — прекрасная актриса и на несколько секунд одурачила нас обоих. Ее манера разговаривать — тоже игра на публику. Но похуже. Такой маразм, такая чертова липа!

— По-твоему, она хорошо притворяется только тогда, когда знает, что притворяется?

— Да. А говорит она, как гибрид черноты из книжки под названием «Мандинго», которую мне как-то довелось прочесть, с Бабочкой Мак-Куин из «Унесенных ветром». Ясное дело, для тебя эти имена — пустой звук, но я хочу сказать, что она говорит штампами. Знаешь такое слово?

— Оно означает то, что всегда говорят или думают люди, не умеющие мыслить самостоятельно — или делающие это редко.

— Угу. Мне бы и вполовину так хорошо не сказать.

— Эй, молодые-холостые, вы что, еще не надрочились, а? — Голос Детты звучал все более хрипло и надтреснуто. — А может, вы свои огарки белые просто найти не можете? Так, что ли?

— Пошли. — Стрелок медленно поднялся. Он покачнулся, заметил взгляд Эдди и улыбнулся. — Обойдется, продержусь.

— Долго?

— Сколько понадобится, — ответил стрелок, и от безмятежности его тона сердце Эдди объял холод.

В этот вечер, чтобы убить на ужин омара, стрелок потратил последний точно годный патрон. Он взялся бы вечером следующего дня за методическую проверку тех, что считал негодными, если бы не одно «но»: по убеждению Роланда, Эдди был весьма недалек от истины — дошло до того, что окаянных тварей придется забивать камнями.

Вечер шел своим чередом: костер, приготовление ужина, очистка мяса от скорлупы, трапеза — теперь они ели медленно, без энтузиазма. «Заправляемся, точно тачки — бензином, вот и все», — вертелось в голове у Эдди. Предложили поесть и Детте, но та пошла вопить, хохотать, сквернословить, и спросила, долго ли ее будут держать за дурочку, а потом бешено заметалась из стороны в сторону, налегая на веревки всем телом, равнодушная к тому, что путы неуклонно затягиваются все туже, и подгоняемая единственным стремлением: попытаться так или иначе опрокинуть кресло, чтобы ненавистные белые смогли усесться за еду не раньше, чем снова ее поднимут.

Долей секунды раньше, чем Детте удалось проделать свой трюк, Эдди крепко схватил ее, а Роланд с обеих сторон подпер колеса камнями.

— Будешь сидеть тихо — немного ослаблю веревки, — сказал Роланд.

— Отсоси мне говно из жопы, козел драный!

— Я не понял, что это значит: да или нет?

Детта глянула на стрелка сощуренными глазами, заподозрив, что под невозмутимым спокойствием тона прячется острый шип сатиры (Эдди и самому было интересно разобраться, но понять, так это или нет, он не мог), и чуть погодя угрюмо проговорила:

— Не буду я рыпаться. Слишком, еж твою вошь, жрать охота, чтоб большой шухер подымать. А вы, молодые-холостые, отпишете мне нормальной шамовки или хотите голодом заморить? Такая, значитца, задумка? Удавить меня кишка тонка, отраву я ни в жисть жрать не стану, и план у вас, значитца, должен быть такой. Чтоб я с голодухи подохла. Ладно-ладно, поглядим. Поглядим. Факт.

И опять одарила их ледяной ухмылкой, от которой холод пробирал до костей.

Вскоре она уснула.

Эдди потрогал щеку Роланда. Роланд коротко взглянул на него, но не отстранился.

— Все нормально.

— Ага. Ты же у нас герой кверху дырой. Вот что я тебе скажу, герой: сегодня мы ушли не больно-то далеко.

— Я знаю. — К тому же был истрачен последний годный патрон. Впрочем, без этой информации Эдди мог обойтись — по крайней мере, до утра. Эдди не был болен, но совершенно выбился из сил. Слишком вымотался для того, чтобы услышать очередную плохую новость.

«Не болен, нет. Пока нет. Но чересчур долгий путь без отдыха — и усталость обернется хворью».

В известном смысле Эдди уже занемог — больны были они оба. В углах рта у юноши появились лихорадки, на коже — шелушащиеся пятна. У стрелка ощутимо шатались в лунках зубы, а между пальцами ног и уцелевшими — рук давно уже образовались глубокие кровоточащие трещины. Пища была, но изо дня в день — одна и та же; протянуть на таком однообразном меню какое-то время было можно, однако в финале путников ждала смерть, такая же несомненная, как если бы они голодали.

«Все очень просто, — думал Роланд. — Мы подхватили на суше Болезнь Мореходов. Забавно. Нам нужны фрукты. Нужна зелень».

Эдди мотнул головой в сторону Владычицы.

— Она собирается и дальше вставлять нам палки в колеса.

— Если только не вернется та, другая, что живет у нее внутри.

— Хорошо бы, но рассчитывать на это нельзя, — сказал Эдди. Он взял обломок обугленной клешни и принялся чертить на земле бессмысленные узоры. — Есть идеи насчет того, далеко ли может быть следующая дверь?

Роланд покачал головой.

— Я спрашиваю только потому, что если расстояние между Номерами Два и Три такое же, как между Номерами Один и Два, можно оказаться в глубоком дерьме.

— Мы и сейчас уже в глубоком дерьме.

— По шейку, — мрачно согласился Эдди. — Просто я все думаю, сколько смогу толочь воду в ступе.

Роланд хлопнул юношу по плечу (Эдди аж заморгал, до того редко стрелок обнаруживал свои чувства) и сказал:

— Одного наша Владычица не знает.

— Да ну? Чего же?

— Мы, Кобели Беложопые, можем толочь воду в ступе очень долго.

Тут Эдди расхохотался — он хохотал во все горло, глуша смех рукавом, чтобы не разбудить Детту. На сегодня он наобщался с ней досыта, большое спасибо.

Стрелок, улыбаясь, посмотрел на него.

— Я пошел спать, — сказал он. — Будь...

— ...начеку. Угу. Буду.

Следующим номером программы оказались крики.

Эдди уснул в ту же секунду, как его голова коснулась свернутой в узел рубашки, и, кажется, каких-нибудь пять минут спустя Детта начала вопить.

Он вмиг проснулся, готовый ко всему, будь то даже Король-Омар, поднявшийся из морской пучины отомстить за своих убиенных чад, или ужас, спустившийся с холмов. Во всяком случае, Эдди казалось, будто он мгновенно очнулся от сна, однако стрелок был уже на ногах, а в левой руке сжимал револьвер.

Стоило Детте увидеть, что оба ее спутника проснулись, как она немедленно прекратила крик.

— Просто я подумала: дай погляжу, легки ли вы, ребятушки, на подъем, — сказала она. — Тут могут быть эти... трепливые твари. Место, кажись, подходящее. Вот мне и захотелось убедиться: ежели я увижу, как такой трепач подползает, смогу вас вовремя на ноги поднять, или нет. — Но в ее глазах не было страха; там сверкало недоброе, пакостное веселье.

— Матерь Божья, — обалдело выговорил Эдди. Луна уже взошла, но едва поднялась над горизонтом — они не спали и двух часов.

Стрелок убрал револьвер в кобуру.

— Не вздумай повторить, — предостерег он восседавшую в инвалидном кресле Владычицу.

— А коли повторю, ты-то что сделаешь? Снасильничаешь меня?

— Если б мы хотели надругаться над тобой, сейчас ты уже была бы обесчещена очень основательно, — ровным тоном произнес стрелок. — Больше так не делай.

Он снова улегся, натянув на себя одеяло.

«Господи Иисусе, Боже милостивый, — подумал Эдди, — что за напасть, что за гадство такое...» — больше он ничего не успел подумать, поскольку опять уплыл в измученный сон, и тут воздух расколол новый пронзительный крик Детты. Она орала, как пожарная сирена. Весь пылая от адреналина, сжав кулаки, Эдди снова вскочил — и тогда Детта хрипло, резко расхохоталась.

Эдди поглядел на небо и увидел, что с тех пор, как Детта разбудила их в первый раз, луна сместилась меньше, чем на десять градусов.

«Она собирается и дальше вытворять то же самое, — устало подумал он. — Спать она не будет. Она будет следить за нами, и когда убедится, что мы погружаемся в глубокий сон, туда, где заряжаешься новой энергией, разинет пасть и снова начнет вопить. И так — снова и снова, пока реветь станет нечем».

Смех Детты вдруг смолк. К ней приближался Роланд — темный силуэт в лунном свете.

— Ты, белый, не подходи, — проговорила Детта, но в ее голосе слышалась нервная дрожь. — Ничего ты мне не сделаешь.

Роланд остановился перед ней, и Эдди на миг уверился — полностью уверился — что терпение стрелка истощилось и он просто прихлопнет эту бабу, как муху. К его величайшему изумлению, вместо этого Роланд опустился перед ней на одно колено, точно поклонник, решившийся просить руки и сердца.

— Послушай, — сказал он, и Эдди с трудом поверил своим ушам, так нежно прозвучал голос стрелка. Не менее глубокое удивление юноша заметил и на лице Детты, только там к нему примешивался страх. — Послушай меня, Одетта.

— Чегой-то ты величаешь меня О-Деттой? Меня звать по-другому.

— Заткнись, курва, — прорычал стрелок и прежним мягким, нежным голосом продолжил: — Если ты слышишь меня и если ты вообще можешь с ней совладать...

— Чегой-то ты так со мной говоришь? Чегой-то ты так говоришь, будто с кем другим толкуешь? Кончай свои беложопские фигли-мигли! Сей же момент, слышишь?

— ...не давай ей разевать пасть. Я могу заткнуть ей рот кляпом, но не хочу этого делать. Твердый кляп — дело опасное. Бывает, люди и насмерть задыхаются.

— А НУ, ХВАТИТ, КОЛДУН СРАНЫЙ! КОБЕЛЬ БЕЛОЖОПЫЙ!

— Одетта. — Голос стрелка шелестел, как едва начавший накрапывать дождик.

Женщина замолкла, уставясь на него огромными глазами. За всю свою жизнь Эдди не видел в человеческом взгляде такой ненависти и такого страха.

— По-моему, эта стерва не переживала бы, даже если б и впрямь удавилась кляпом. Она хочет отправиться к праотцам, но, может быть, пуще того хочет, чтобы умерла ты. Но ты пока еще жива, и не думаю, что Детта — нечто совершенно новое в твоей жизни, слишком уж она чувствует себя в тебе как дома. Так, может быть, ты услышишь меня и сумеешь хотя бы отчасти контролировать ее, пусть даже выйти к нам ты еще не можешь.

Не дай ей разбудить нас в третий раз, Одетта.

Я не хочу затыкать ей рот кляпом.

Но, если придется, я это сделаю.

Он поднялся и, не оглядываясь, отошел, чтобы опять завернуться в одеяло и сразу же уснуть.

Детта, раздувая ноздри, продолжала смотреть на него широко раскрытыми глазами.

— Врешь, колдун белый, — прошептала она.

Прилег и Эдди. Однако, несмотря на его сильнейшую усталость, на сей раз сон пришел заявить свои права на юношу очень нескоро. Молодой человек приближался к краю обрыва, за которым лежало царство ночных грез, — и всякий раз отшатывался из опасений перед криками Детты.

Примерно часа через три, когда луна уже спускалась с небосклона, он наконец отключился.

Детта в ту ночь больше не кричала — то ли потому, что Роланд напугал ее, то ли потому, что хотела сберечь голос для будущих сигналов тревоги, а может быть — может быть, не более того — потому, что Одетта услышала стрелка и осуществила контроль, о котором он ее просил.

В конце концов заснув, Эдди пробудился вялым и неотдохнувшим. Уповая на чудо, он поглядел в сторону кресла: пусть там будет Одетта, Боже, прошу Тебя, пусть сегодня утром это будет Одетта...

— С добрым утречком, лебедь белый, — сказала Детта, по-акульи ухмыльнувшись. — Я уж думала, до обеда продрыхнешь. А это нельзя, верно? Против факту не попрешь: нам еще не одну милю отмахать надо, ага? Ага! И сдается, рвать пупок тебе придется, да, можно сказать, единолично — тот-то, другой чувак, у которого зенки как у ведьмака, все хиреет, как ни поглядишь, вот что я тебе скажу — хиреет! Думаю, жратву переводить ему недолго осталось — хоть то чудное копченое мясо, что вы, белые, сундучите на случай побаловаться друг с дружкой, с огарками своими недомерочными, хоть что! Ну, погнали, беложопый! Детта не хочет, чтоб остановка была за ней. — Веки и голос женщины едва заметно дрогнули; Детта хитро скосила глаза на Эдди: — По крайности, с самого начала.

«Ты нонешний денек запомнишь, белый, — обещал этот хитрый взгляд. — Надолго запомнишь, ой, надолго. Факт».

В тот день они прошли три мили — может быть, чуть-чуть меньше. Кресло Детты опрокидывалось дважды: один раз — с ее легкой руки, которая опять медленно и неприметно подобралась к ручному тормозу и рванула его; во второй раз Эдди обошелся без посторонней помощи, чересчур сильно толкнув кресло, увязшее в одной из проклятых песчаных ловушек. Случилось это под вечер, и Эдди попросту запаниковал, подумав, что на этот раз не сможет вытащить его оттуда, не сможет — и все. Поэтому он поднатужился, дрожащими руками мощно толкнул кресло вверх и, естественно, перестарался. Детта кувырнулась, точно Шалтай-Болтай с пресловутой стены, и Эдди с Роландом немало потрудились прежде, чем вернули кресло в исходное положение. Работу они закончили как раз вовремя. Пропущенная у Детты под грудью веревка теперь туго затянулась на горле. Скользящий узел, умело завязанный стрелком, душил женщину. Лицо Детты приобрело странный синеватый оттенок, она была на грани обморока, и все равно продолжала с хрипом выдавливать из себя мерзкий смешок.

«Оставь ее, что же ты? — чуть не сказал Эдди, когда Роланд быстро наклонился, чтобы ослабить узел. — Пусть удавится! Не знаю, хочется ли ей ухандокать себя, как ты говорил, зато ухандокать нас ей хочется наверняка... ну так брось ее, пусть!»

Потом он вспомнил Одетту (хотя их свидание было таким кратким и казалось таким далеким, что воспоминание о нем уже начинало тускнеть) и подался вперед, помочь.

Стрелок нетерпеливо оттолкнул его одной рукой.

— Двоим места нет.

Когда веревку распустили и Владычица принялась жадно хватать ртом воздух (выталкивая его обратно взрывами злого смеха), Роланд обернулся и критически посмотрел на Эдди.

— Думаю, пора делать привал на ночь.

— Чуть попозже. — Эдди почти молил. — Я могу пройти еще немного.

— Факт! Он вона какой крепкий парняга! Такой и мокрощелку стервозную оттараканит, и еще сил хватит, чтоб вечерком тебе по первому классу отсосать, огарок белый!

Она по-прежнему наотрез отказывалась есть; лицо постепенно превращалось в сплошные углы и обводы. Глаза сверкали из все больше углублявшихся глазниц.

Роланд не обращал на нее абсолютно никакого внимания, пристально изучая Эдди. Наконец он кивнул.

— Немного — да. Но только немного. Далеко не пойдем.

Двадцать минут спустя Эдди и сам объявил: шабаш. Ему казалось, что руки у него превратились в желе.

Они уселись в тени камней. Кричали чайки, возвращался прилив, а они ждали, чтобы солнце село и гигантские омары, появившись на берегу, начали свой тягостный перекрестный допрос.

Понизив голос так, что Детте было не услышать, Роланд объяснил Эдди, что у них, кажется, кончились боевые патроны. Эдди чуть крепче сжал губы, и только. Роланд остался доволен.

— Придется тебе самому размозжить голову одному из них, — сказал Роланд. — Я слишком слаб, чтобы управиться с достаточно большим для такого дела камнем... и не промазать.

Теперь настала очередь Эдди внимательно приглядеться к собеседнику.

То, что он увидел, ему совершенно не понравилось.

Роланд отмахнулся от его испытующего взгляда.

— Не беда, — сказал он. — Не беда, Эдди. Что есть, то есть.

— Ка, — сказал Эдди.

Стрелок кивнул и бледно улыбнулся.

— Ка.

— Кака, — сказал Эдди. Они переглянулись и рассмеялись. Казалось, хриплые звуки, срывавшиеся с губ стрелка, удивили и даже слегка напугали его. Смеялся он недолго. Когда смех смолк, у Роланда сделался отчужденный и унылый вид.

— Чего ржете? Надо понимать, сумели наконец наиграться друг с дружкой? — хриплым, срывающимся голосом крикнула им Детта. — А трахаться когда начнете? Вот чего мне охота поглядеть! Ваш потрах!

Эдди убил омара.

Детта, как и раньше, есть отказалась. Демонстративно съев пол-куска у нее на глазах, вторую половину Эдди протянул ей.

— Не-е! — сказала она. Глаза у нее зажглись, в них заплясали искры. — ХРЕН-ТО! Ты натолкал отравы в другой конец. Который силишься впарить мне.

Без лишних слов Эдди взял остаток мяса, положил в рот, прожевал и проглотил.

— Ничего не значит, — угрюмо сказала Детта. — Отцепись, сволочь белопузая.

Эдди отцепляться не собирался.

Он принес ей другой кусок.

— Разорви пополам сама. Отдашь мне любую половину. Я ее съем, потом ты съешь остальное.

— Меня на ваши штучки не подловишь, мистер Беложопый. Раз я сказала — отзынь, стало быть, я это и имела в виду. Отзынь.

Ночью Детта молчала... но наутро все еще была тут как тут.

За день они прошли всего две мили, хотя Детта не старалась опрокинуть кресло. Быть может, подумал Эдди, она становится слишком слаба для попыток саботажа. Или же поняла, что в них, собственно, нет необходимости. Сходились воедино три роковых фактора: усталость Эдди, ухудшающееся состояние Роланда и наконец начавшиеся после бесконечных дней однообразия изменения пейзажа.

Песчаные западенки теперь попадались реже, но это было слабое утешение. Земля пошла комковатая, все больше напоминавшая убогое неудобье и все меньше — песок (местами росли пучки бурьяна; при взгляде на них возникало такое чувство, будто им стыдно, что они здесь). Из этого странного сочетания песка с землей выступало великое множество крупных камней, и Эдди обнаружил, что лавирует, объезжая их, так же, как раньше лавировал с креслом Владычицы среди песчаных ловушек. Он понимал: довольно скоро прибрежного песка не останется вовсе. Медленно, но верно приближались холмы, бурые и унылые. Между холмами вились лощины. Эдди чудилось, будто это зарубки, оставленные тупым топором некоего неуклюжего великана. Вечером, уже засыпая, он услышал наверху, в одном из таких ущелий, нечто, схожее с пронзительным визгом очень крупной кошки.

Полоса прибрежного песка казалась бесконечной, но юноша постепенно начинал сознавать: предел у нее все-таки есть. Эти разрушенные дождями и ветрами холмы намеревались где-то впереди попросту вытеснить ее, свести на нет, строем прошагать к морю и войти в него — быть может, чтобы стать сперва своего рода мысом или полуостровом, а затем цепочкой островов архипелага.

Это тревожило его, но состояние Роланда тревожило его больше.

Теперь стрелок не столько сгорал в лихорадке, сколько словно бы таял, исчезал, становился прозрачным.

Опять появились багровые полосы, безжалостно поднимавшиеся по внутренней стороне правого предплечья к локтю.

Последние два дня Эдди непрерывно смотрел вперед, щурясь в надежде разглядеть вдали дверь — ту самую волшебную дверь. Последние два дня он ждал возвращения Одетты.

Ни дверь, ни Одетта не появлялись.

Вечером — Эдди уже засыпал — его посетили две страшных мысли (так иногда за явным смыслом анекдота кроется второй, тайный):

Что, если никакой двери нет?

Что, если Одетта Холмс мертва?

— Проснись и пой, козел драный! — Надтреснутый, визгливый голос Детты вырвал Эдди из небытия. — Кажись, теперь остались только ты да я да мы с тобой, ягодка. Сдается мне, дружок твой, наконец, приказал долго жить. Небось, уж черта в пекле в жопу дерет.

Эдди посмотрел на Роланда, калачиком свернувшегося под одеялом, и на один ужасный миг подумал, что стерва права. Потом стрелок пошевелился, издал сиплый стон и, шаря по земле руками, принял сидячее положение.

— Е-мое, вы гляньте! — Детта так много визжала и вопила, что теперь голос у нее временами почти полностью пропадал, превращаясь в неясный шепот сродни посвисту зимнего ветра под дверями. — А я думала, начальник, ты дал дуба!

Роланд медленно поднимался с земли. Эдди опять показалось, будто стрелок цепляется за перекладины невидимой лесенки, и он ощутил злую жалость — знакомое, рождавшее странную ностальгию чувство. Секундой позже он понял: так бывало, когда они с Генри смотрели по телевизору бокс, и один боксер ранил другого — ранил страшно, жестоко, еще и еще. Толпа вопила, требуя крови, вопил, требуя крови, Генри, но Эдди, сидя перед телевизором, только посылал мысленные волны судье: «Прекрати это, мужик, что ты, ослеп на хуй, что ли? Он там у тебя кончается! КОНЧАЕТСЯ! Прекращай бой, мать твою еби!»

Прекратить этот бой не было никакой возможности.

Роланд поглядел на нее загнанными, лихорадочно блестевшими глазами.

— Так думали многие, Детта. — Он посмотрел на Эдди. — Ты готов?

— Похоже, так. А ты?

— Да.

— Ты в силах?

— Да.

Они двинулись дальше.

Около десяти часов Детта принялась тереть виски.

— Стойте, — сказала она. — Меня мутит. Кажись, щас вывернет.

— Наверное, виноват вчерашний плотный ужин, — отозвался Эдди, не останавливаясь. — Не надо было тебе есть десерт. Я же говорил, пирог с шоколадной глазурью — пища тяжелая.

— Меня щас вывернет! Я...

— Эдди, стой! — велел стрелок.

Эдди остановился.

Женщина в кресле вдруг судорожно задергалась, словно сквозь нее пропустили ток. Широко раскрывшиеся глаза свирепо засверкали неведомо на что. Она закричала:

— Я РАСКОКАЛА ТВОЮ ТАРЕЛКУ, СИНЬКА, СТАРУШЕНЦИЯ ТЫ ВОНЮЧАЯ! РАСКОКАЛА, БЛЯДЬ, И РАДА, ЧТО...

Внезапно она перегнулась вперед и, если бы не веревки, выпала бы из кресла.

«Господи Иисусе, умерла! С ней случился удар, она умерла», — подумал Эдди. Он двинулся в обход кресла, памятуя о том, какой коварной и гораздой на всякие штуки может быть эта женщина, и остановился — так же внезапно, как пошел. Он посмотрел на Роланда. В ту же секунду посмотрел на него и Роланд. Его взгляд был совершенно непроницаем и ничего не выдавал.

Потом женщина застонала. Открыла глаза.

Ее глаза.

Глаза Одетты.

— Боже милостивый, я опять упала в обморок, да? — сказала она. — Ради Бога извините, что вам пришлось меня привязать. Дурацкие ноги! Наверное, я могла бы сесть чуть повыше, если бы вы...

Тут уж подкосились ноги у Роланда, и он без чувств медленно опустился на землю примерно тридцатью милями южнее того места, где оканчивалось Западное Взморье.

5. ПЕРЕТАСОВКА

Эдди Дийну уже не казалось, что они с Владычицей плетутся по последним ярдам прибрежной полосы. В его представлении они даже не шли. Они словно бы летели.

Одетта Холмс по-прежнему явно не питала к Роланду ни доверия, ни симпатии. Однако отчаянное положение стрелка нашло в ней и понимание, и отклик. Теперь Эдди казалось, что вместо мертвой глыбы резины и металла, к которой по чистой случайности приторочено человеческое тело, он толкает едва ли не планер.

«Идите. Раньше я присматривал за тобой, и это было важно. Теперь я буду только задерживать тебя».

Юноша почти сразу же убедился, до чего прав стрелок. Эдди толкал кресло, Одетта работала рычагами.

За пояс штанов Эдди был засунут один из револьверов стрелка.

«Помнишь, как я велел тебе быть начеку, а ты не послушался?»

«Да».

«Скажу еще раз: будь настороже. Всякую минуту. Если вернется другая, не жди ни секунды. Дай ей по башке».

«Что, если я убью ее?»

«Тогда все будет кончено. Но если она убьет тебя, нам тоже крышка. А она попытается, если вернется. Попытается».

Эдди не хотел бросать Роланда. Не только из-за кошачьего вопля в ночи, хоть он не шел у юноши из головы. Просто Роланд стал его единственным пробным камнем в этом мире, чужом и для Эдди, и для Одетты.

И все-таки он понимал, что стрелок прав.

— Не хотите отдохнуть? — спросил молодой человек Одетту. — Еще осталось, чем подкрепиться.

— Пока нет, — ответила женщина, хотя ее голос звучал устало. — Но скоро захочу.

— Ладно. Но хотя бы бросьте рычаги. У вас нет сил. Вас... понимаете, ваш желудок...

— Ну, хорошо. — Одетта обернулась (ее лицо блестело от пота) и благосклонно улыбнулась Эдди, отчего тот почувствовал сразу и слабость, и прилив сил. За такую улыбку он мог бы отдать жизнь... и, как ему думалось, отдал бы, потребуй того обстоятельства.

Он от души надеялся, что обойдется без этого, но, разумеется, вовсе исключить такую возможность было нельзя. Время переросло в вопрос жизни и смерти, в нечто, важное до крика.

Одетта опустила руки на колени, и Эдди покатил кресло дальше. Тянувшийся за ними след терял четкость, поскольку прибрежный песок становился все тверже, зато повсюду в беспорядке были разбросаны камни. Они могли стать причиной катастрофы, попасть в которую при той скорости, с какой двигались путники, ничего не стоило. Случись что-то действительно серьезное, Одетта могла пострадать — это было бы скверно. Вдобавок в такой аварии могло погибнуть кресло, что было бы плохо для них и, вероятно, еще хуже для стрелка — в одиночестве он бы почти наверняка погиб. А если бы Роланд погиб, Эдди с Одеттой навсегда застряли бы в чужом мире.

Роланд был слишком болен и слаб, чтобы идти, и Эдди против воли пришлось взглянуть в лицо одному нехитрому факту: их было трое, двое — калеки.

На что же было уповать, на что надеяться?

Кресло.

Кресло — надежда, единственная надежда, ничего, кроме надежды.

Бог в помощь.

Стрелок пришел в сознание вскоре после того, как Эдди оттащил его в тень выдававшихся из земли камней. Лицо Роланда там, где не было смертельно бледным, горело чахоточным румянцем. Грудь быстро поднималась и опускалась. Правую руку оплетала сеть тонких багровых полос.

— Накорми ее, — хрипло велел он Эдди.

— Ты...

— Обо мне не беспокойся. Не пропаду. Накорми ее. Думаю, теперь она поест. А ее сила тебе еще понадобится.

— Роланд, что, если она только прикидывается, будто...

Стрелок нетерпеливо отмахнулся.

— Никем она не прикидывается — просто она в своем теле одна. Мы оба это знаем — стоит только взглянуть ей в лицо. Ради своего отца, накорми ее, пусть поест, а сам тем временем возвращайся ко мне. Теперь каждая минута на счету. Каждая секунда.

Эдди поднялся, но стрелок левой рукой притянул его обратно. Больной ли, нет ли, но свою силу он не утратил.

— И ничего не говори про другую. В чем бы ни убеждала тебя эта, как бы ни объясняла, не возражай.

— Почему?

— Не знаю. Знаю только, что это было бы ошибкой. А теперь делай, что сказано. Хватит терять время!

Одетта сидела в своем кресле, глядя на море с выражением легкого недоуменного изумления. Когда Эдди предложил ей омара — несколько щедрых кусков, оставшихся от вечерней трапезы — она печально улыбнулась.

— Я поела бы, если бы могла, — сказала она, — но вы же знаете, что будет.

Эдди, который понятия не имел, о чем она толкует, смог только пожать плечами и сказать:

— Попытка не пытка, Одетта. Понимаете, вам надо есть. Мы должны идти как можно быстрее.

Одетта с коротким смешком коснулась его руки. Эдди почудилось, будто ему вдруг передалось что-то вроде электрического заряда. Да, это была она, Одетта. Юноша понял это не хуже Роланда.

— Вы мне очень нравитесь, Эдди. Вы так старались. Были так терпеливы. Он тоже... — Одетта кивком показала туда, где, привалясь спиной к камню и наблюдая за ними, лежал стрелок, — ...но такого человека любить трудно.

— Да. Я-то знаю.

— Попробую еще разок. Ради вас.

Одетта улыбнулась. Эдди вдруг понял, что мир вращается из-за нее и ради нее, и подумал: «Боже, прошу Тебя, у меня в жизни было так мало... пожалуйста, не отнимай ее у меня больше. Пожалуйста».

Она взяла мясо, сморщила в потешном унынии нос и подняла глаза на Эдди.

— Это обязательно?

— Только самую капельку, — сказал он.

— С тех пор я больше никогда не ела моллюсков, — сказала Одетта.

— Пардон?

— Я думала, я вам рассказывала.

— Может быть, — сказал Эдди и нервно хохотнул. Именно тогда приказ стрелка не давать Одетте узнать о существовании другой принял в его памяти угрожающие размеры.

— Однажды, когда мне было лет десять или одиннадцать, мы ели их на ужин. Мне страшно не понравилось, что на вкус они как маленькие резиновые шарики, а позже меня ими вырвало. С тех пор я их больше не ела. Но... — Она вздохнула. — «Капельку», как вы выражаетесь, я попробую.

Точно ребенок, принимающий полную ложку заведомо противного лекарства, Одетта положила в рот маленький кусочек омара. Сперва она жевала медленно, потом быстрее. Проглотила. Взяла еще кусочек. Прожевала, проглотила. Еще один. Теперь она буквально пожирала мясо.

— Э, э, притормозите! — сказал Эдди.

— Должно быть, это какой-то другой сорт! Да, ну конечно же! — Сияя, она посмотрела на Эдди. — Мы проехали по берегу моря дальше, и фауна изменилась! Кажется, моя аллергия прошла! И вкус не такой гадкий, как раньше... а я действительно старалась удержать это в желудке, правда же? — Она, не таясь, взглянула на Эдди. — Я очень старалась.

— Угу. — Собственный голос показался Эдди несущимся из приемника очень далеким радиосигналом. «Она думает, что каждый день ела, а потом все до крошки из нее вылетало, оттого она так ослабела. Всесильный Боже». — Угу. Вы старались изо всех сил.

— Так... — с трудом, поскольку рот у нее был полон, выговорила Одетта. — Так вкусно! — Она рассмеялась — нежно, очаровательно. — И обратно не запросится! Усвоится! Я знаю! Я чувствую!

— Только не перестарайтесь, — предостерег Эдди и подал ей бурдюк с водой. — С непривычки. Вас же... — Он сглотнул, и в горле у него явственно (по крайней мере, для него самого) пискнуло. — Вас же все время рвало.

— Да. Да.

— Я на несколько минут отлучусь — мне нужно переговорить с Роландом.

— Хорошо.

Но прежде, чем Эдди смог уйти, Одетта опять крепко схватила его за руку.

— Спасибо вам, Эдди. Спасибо, что были так терпеливы. И поблагодарите его. — Она мрачно примолкла. — Поблагодарите, только не говорите, что я его боюсь.

— Не скажу, — сказал Эдди и пошел обратно к стрелку.

Одетта помогала даже тогда, когда не работала рычагами. Она прокладывала курс с проницательностью женщины, долгие годы пробиравшейся в инвалидном кресле по миру, который еще и не помышлял о признании подобных ей ущербных людей.

— Налево, — окликала она, и Эдди спешил взять влево, проскальзывая мимо валуна, который торчал из вязкого песка, точно сердито ощеренный гнилой клык. Сам Эдди мог и не заметить камень.

— Направо, — окликала Одетта, и Эдди, едва не угодив в одну из песчаных ловушек, которые попадались все реже, как послушная лошадка, забирал вправо.

Наконец они остановились, и Эдди лег на землю, тяжело дыша.

— Поспите часок, — сказала Одетта. — Я вас разбужу.

Эдди посмотрел на нее.

— Я не лгу. Я заметила состояние вашего друга, Эдди...

— Знаете, друг — не вполне точное сло...

— ...понимаю, насколько важно время и не позволю вам из чувства ложной жалости проспать больше часа. Определять время по солнцу я умею очень хорошо. А выбившись из сил, вы сослужите этому человеку плохую службу, не так ли?

— Да, — сказал Эдди, думая: «Ты же не понимаешь. Если я засну, а Детта Уокер вернется...»

— Спите, Эдди, — сказала Одетта, и Эдди, будучи слишком утомлен (и слишком влюблен), чтобы усомниться, доверился ей. Он заснул. Она разбудила его, как и обещала, через час, и по-прежнему была Одеттой, и они двинулись дальше, и теперь она снова помогала юноше, орудуя рычагами. Они полным ходом катили по сужающейся песчаной полосе к двери, которую Эдди все время лихорадочно высматривал и неизменно не находил.

Оставив Одетту поглощать свою первую за много дней трапезу, Эдди вернулся к стрелку. Роланд выглядел как будто бы чуть получше.

— Присядь, — сказал он Эдди.

Эдди присел на корточки.

— Оставь мне полупустой бурдюк. Это все, что мне нужно. Ее отвези к двери.

— Что, если я не...

— Не найдешь? Найдешь. Здесь были первые две, здесь будет и эта. Если вы доберетесь туда сегодня до заката, дождись темноты и убей двух омаров. Нужно будет устроить ее в надежном укрытии и оставить ей поесть. Если сегодня вечером ты не доберешься до двери, убей трех омаров. На.

Он протянул Эдди один из револьверов.

Эдди с уважением взял его, снова удивившись, какой же он тяжелый.

— Я думал, все патроны ни к черту.

— Вероятно. Но я заряжал теми, что, по-моему, намокли меньше прочих — три штуки были у пряжки патронной ленты слева, три — у пряжки справа. Может, хоть один да выстрелит. А повезет — так два. На ползучих гадов их не трать. — Роланд коротко смерил Эдди оценивающим взглядом. — Там могут оказаться другие твари.

— Так ты тоже слышал?

— Если ты про тварь, мяукавшую в холмах — да. Если про Нечистого Духа, как говорят твои глаза — нет. Я слышал дикую кошку в зарослях, вот и все. Быть может, голос у нее вчетверо больше ее самой. Быть может, ее ничего не стоит отогнать палкой. Думать же следует о нашей спутнице. Если вернется другая, как бы тебе не пришлось...

— Если у тебя на уме мокруха, я пас!

— Быть может, придется ранить ее в руку. Понятно?

Эдди нехотя кивнул. Может, чертовы патроны все равно не захотят стрелять, так какой смысл лезть из-за этого в бутылку?

— Когда доберешься до двери, женщину оставишь. Найдешь укрытие, спрячешь ее как можно лучше и с креслом вернешься ко мне.

— А револьвер?

Глаза стрелка полыхнули так ярко, что Эдди непроизвольно дернул головой, словно Роланд ткнул ему под нос пылающий факел.

— О боги! Оставить ей заряженный револьвер, когда в любую минуту может вернуться другая? Ты лишился рассудка?

— Но патроны...

— На хуй патроны! — крикнул стрелок. Ветер внезапно стих, и слова Роланда отчетливо разнеслись над пляжем. Одетта повернула голову. Долгую минуту она смотрела на мужчин, потом вновь обратила взгляд в сторону моря. — Револьвер ей не оставлять!

Эдди говорил негромко, на случай очередного затишья.

— Что, если пока я буду возвращаться к тебе, из зарослей спустится какая-нибудь тварь? Какая-нибудь кошка, которая вчетверо больше своего голоса, а не наоборот? Что-то, что нельзя прогнать палкой?

— Оставишь ей горку камней, — сказал стрелок.

— Камней! И прослезился тут Иисус! Ну и дерьмо же ты, приятель, мать твою в гроб!

— Я думаю, — сказал стрелок. — Ты, похоже, на это не способен. Я дал тебе револьвер, дабы половину того пути, что тебе нужно проделать, ты мог бы защищать эту женщину от опасностей вроде той, о которой толкуешь. Ты хотел бы, чтобы я забрал револьвер? Тогда, возможно, ты мог бы умереть за нее. Это доставило бы тебе радость? Весьма романтично... если не считать того, что тогда ко дну пойдет не только она одна, а все. Все трое.

— Очень логично. Однако ты все равно паскудное дерьмо.

— Уходи или оставайся. Довольно оскорблений.

— Ты кое-что забыл, — с яростью сказал Эдди.

— Это что же?

— Ты забыл посоветовать мне повзрослеть. Генри вечно говорил: «Ох, да повзрослей же ты, пацан...»

Стрелок улыбнулся усталой, странной красоты улыбкой.

— Думаю, ты уже повзрослел. Пойдешь или останешься?

— Пойду, — ответил Эдди. — Что ты собираешься есть? Она умяла все остатки.

— Паскудное дерьмо что-нибудь придумает. Паскудное дерьмо занималось этим не один год.

Эдди отвел глаза.

— Я... это... извини, что обозвал тебя, Роланд. Очень... — Он вдруг резко, пронзительно рассмеялся, — ...очень уж трудный был день.

Роланд опять улыбнулся.

— Да, — согласился он. — Верно.

В тот день по времени они показали лучший за все путешествие результат, но вот уже и солнце золотой дорожкой расплескалось по глади океана, а никакой двери в поле зрения все еще не было. Хотя Одетта твердила, что прекрасным образом способна выдержать еще полчаса пути, Эдди объявил привал и помог женщине выбраться из кресла. Он перенес ее на пятачок ровной, с виду довольно гладкой земли, снял со спинки и сиденья кресла подушки и осторожно устроил на них Одетту.

— Господи, какое счастье — вытянуться, — вздохнула она. — Но... — Ее чело затуманилось. — Я все время думаю про этого человека, Роланда. Мы оставили его там совсем одного, и, честное слово, мне это вовсе не нравится. Эдди, кто он? Что он такое? — Словно высказывая запоздалое соображение, Одетта прибавила: — И почему он так много кричит?

— Наверное, просто натура такая, — сказал Эдди, резко развернулся и отправился собирать камни. Роланд почти никогда не кричал. Молодой человек догадывался, что отчасти на эту мысль Одетту натолкнули события нынешнего утра — НА ХУЙ патроны!, но остальное было ложными воспоминаниями о том времени, когда она была Одеттой только в своем представлении.

Как и наказывал Роланд, Эдди убил трех омаров и так сосредоточился на том, чтобы подстрелить последнего, что от четвертого, наступавшего на него справа, отпрыгнул в самый последний момент. Увидев, как чудовище щелкнуло клешнями, цапнув пустоту там, где минутой раньше находилась его нога, он подумал о пальцах, которых лишился стрелок.

Он варил омара на костре из сухого дерева — мало-помалу вторгающиеся в прибрежную полосу холмы и становящаяся все более обильной растительность облегчили и ускорили поиск хорошего топлива, — а на западном небосклоне таял последний свет дня.

— Смотрите, Эдди! — вскрикнула Одетта, указывая вверх.

Он посмотрел и увидел сверкавшую на груди ночи одинокую звезду.

— Какая красота, правда?

— Да, — отозвался Эдди и вдруг, безо всякой на то причины, его глаза наполнились слезами. Где же он был всю свою окаянную жизнь? Где он был, с кем, что делал и почему вдруг почувствовал себя таким грязным, таким донельзя обгаженным?

Запрокинутое лицо Одетты было ужасно в своей неопровержимой при слабом свете звезд красоте, неведомой, впрочем, самой ее обладательнице, которая лишь смотрела широко раскрытыми, удивленными глазами на звезду и тихонько смеялась.

— Звездочка светлая, звездочка ясная, — проговорила она, умолкла и посмотрела на юношу. — Знаете это, Эдди?

— Угу. — Эдди смотрел в землю. Его голос звучал достаточно внятно, но, подними молодой человек глаза, Одетта увидела бы, что он плачет.

— Тогда помогайте. Но вы должны смотреть на нее.

— Ладно.

Он утер слезы ладонью и вместе с Одеттой стал глядеть на звезду.

— Звездочка светлая... — Одетта посмотрела на него, и он подхватил.

— Звездочка ясная...

Она протянула руку, отыскивая руку Эдди, и он ответил на пожатие — смуглые пальцы восхитительного светло-шоколадного оттенка переплелись с восхитительно белыми, точно грудка голубки.

— В небе сверкает, такая прекрасная, — серьезно выговаривали они хором; в этот миг они были мальчиком и девочкой; мужчиной и женщиной они станут позже, когда полностью стемнеет и Одетта окликнет Эдди — «вы спите?», а он скажет — «нет», и она попросит обнять ее, потому что ей холодно. — Первую звездочку, что разгляжу, исполнить желанье мое попрошу...

Они переглянулись, и Эдди заметил, что по щекам Одетты текут слезы. Соленая влага вновь застлала юноше глаза, пролилась — пусть, он не таился от своей спутницы. Он не стыдился своих слез, чувствуя лишь невыразимое облегчение.

Они улыбнулись друг другу.

— Звездочка, звездочка, ярко гори, чудо, волшебница, мне сотвори, — сказал Эдди и подумал: «Пожалуйста, пусть это всегда будешь ты».

— Чудо, волшебница, мне сотвори, — эхом откликнулась Одетта, думая: «Если мне суждено умереть в этом незнакомом и странном месте, пусть моя смерть будет не слишком тяжелой и пусть со мной будет этот милый молодой человек».

— Простите, что расплакалась, — извинилась она, вытирая глаза. — Обычно я себе такого не позволяю, но день...

— Был такой тяжелый, — закончил за нее Эдди.

— Да. А вам нужно поесть, Эдди.

— И вам тоже.

— Надеюсь только, что опять плохо мне не станет.

Он улыбнулся.

— Думаю, не станет.

Позже под кружащими в медленном гавоте чужими диковинными галактиками оба думали, что никогда еще любовный акт не бывал таким полным и сладостным.

На рассвете они снялись с места и стремительно двинулись дальше. К девяти часам Эдди уже жалел, что не спросил Роланда, как следует поступить, если, очутившись там, где холмы обрубают полосу прибрежного песка, они так и не обнаружат в поле зрения никакой двери. Этот вопрос представлял определенный интерес, поскольку, вне всяких сомнений, песчаный берег вскоре действительно должен был закончиться.

По сути дела, песчаный берег больше уже не был песчаным; земля стала твердой и довольно ровной. Выступающих камней почти не осталось — по предположениям Эдди, почти все их унесло сбегавшими с холмов талыми водами, а может быть, наводнениями в дождливое время года (с тех пор, как Эдди попал в этот мир, не упало ни капли дождя; тучи несколько раз затягивали небо, но затем ветер вновь разгонял облака).

В девять тридцать Одетта крикнула:

— Стоп, Эдди! Стоп!

Он остановился так резко, что ей пришлось крепко схватиться за подлокотники кресла, не то она вылетела бы из него. В мгновение ока Эдди обогнул кресло и оказался перед ней.

— Прости, — сказал он. — Ты в порядке?

— Все отлично. — Он увидел, что спутал волнение с сигналом бедствия. Одетта показала:

— Вон там! Видишь?

Эдди загородился от солнца, но ничего не увидел. Он прищурился. Всего лишь на миг ему показалось... нет, конечно же, это был попросту трепет разогретого зноем воздуха, поднимавшегося от утоптанной земли.

— Вряд ли, — сказал он и улыбнулся. — Разве что очень захотеть.

— А по-моему, я вижу! — Она повернула к Эдди взбудораженное, улыбающееся лицо. — Стоит, сама, одна! Там, где кончается песок.

Эдди опять посмотрел в ту сторону, на сей раз щурясь так сильно, что на глаза навернулись слезы. И опять на долю секунды ему почудилось, будто он что-то увидел. «Увидел-увидел, — подумал он и улыбнулся. — Разглядел ее желание».

— Может быть, — сказал он — не потому, что верил. Потому, что верила Одетта.

— Поехали!

Эдди вернулся за кресло и, улучив момент, помассировал себе местечко пониже спины, где поселилась ровная ноющая боль. Одетта оглянулась.

— Интересно, чего ты ждешь?

— Ты действительно думаешь, что засекла ее, да?

— Да!

— Ну ладно, тогда поехали!

Эдди снова принялся толкать кресло.

Получасом позже он тоже увидел дверь. «Господи Иисусе, — подумал он. — А она видит не хуже Роланда. Может, даже лучше».

Им обоим не хотелось останавливаться на обед, но поесть было необходимо. Наскоро перекусив, они покатили дальше. Возвращался прилив, и Эдди со все возрастающим беспокойством поглядывал вправо, на закат. Их путь по-прежнему пролегал значительно выше линии прилива, отмеченной спутанной морской травой и бурыми водорослями, но Эдди не оставляла мысль, что к тому времени, как они доберутся до двери, они окажутся в неуютно тесном углу, ограниченном с одной стороны морем, а с другой — склонами холмов, которые он теперь очень четко различал. Ничего приятного в этом пейзаже не было. Холмы оказались каменистыми, усеянными низкорослыми деревьями (их впившиеся в землю корявые корни походили на скрюченные артритом пальцы, навсегда сведенные в беспощадном захвате) и колючими на вид кустами. Не слишком-то крутые склоны были, однако, чересчур круты для инвалидного кресла. Возможно, Эдди хватило бы сил занести Одетту повыше — собственно, его вполне могли принудить к этому обстоятельства — но он и помыслить не мог о том, чтобы оставить ее там.

Его ушей впервые коснулось жужжание насекомых. Звук немного напоминал стрекот маленьких сверчков, но был выше, тоньше и полностью лишен ритма — просто монотонное рииииииииии, вроде того, что издают высоковольтные провода. Он в первый раз увидел не чаек, а других птиц. Среди них попадались крупные, важные — они кружили над сушей, распластав неподвижные крылья. «Ястребы, — подумал Эдди. Время от времени птицы складывали крылья и камнем падали вниз. — Охотятся. Охотятся за кем? Ну... за мелкими зверюшками». Это не внушало опасений.

И все же кошачий вопль, услышанный ночью, не шел у Эдди из головы.

Ближе к вечеру они уже ясно различали третью дверь. Ее, как и первых двух, быть не могло — и тем не менее она стояла, как вкопанная.

— Потрясающе, — услышал Эдди негромкий голос Одетты. — Совершенно потрясающе.

Дверь была именно там, где он и подозревал — внутри угла, знаменовавшего, что хоть сколько-нибудь легкому продвижению на север пришел конец. Она стояла чуть повыше границы полной воды, меньше чем в девяти ярдах от того места, где из земли, точно исполинская рука, покрытая вместо волосков серо-зеленой щетиной, нежданно-негаданно выбивались холмы.

Солнце обморочно клонилось к воде, прилив закончился; было, вероятно, четыре часа (так сказала Одетта, и Эдди поверил — ведь раньше она уже говорила, что хорошо определяет время по солнцу, а еще она была его возлюбленной), когда они достигли двери.

Они просто смотрели на нее: Одетта — из кресла, руки на коленях, Эдди — от края моря. Отношение к двери у них было двойственным: с одной стороны, они смотрели на нее так, как минувшей ночью смотрели на вечернюю звезду, то есть по-детски; с другой стороны — совершенно иначе. Желание на звезду загадывали дети радости. Теперь же и Эдди, и Одетта были мрачны и полны недоверчивого удивления — так малыши разглядывают действительное воплощение того, что бывает только в сказках.

На двери было что-то написано.

— Что это значит? — наконец спросила Одетта.

— Не знаю, — откликнулся Эдди, но слова принесли холодок безнадежности; юноша чувствовал: на сердце крадучись находит тень.

— Разве? — спросила она, глядя на него более внимательно.

— Да. Я... — Он сглотнул. — Не знаю.

Одетта еще секунду смотрела на него.

— Пожалуйста, отвези меня за нее. Мне бы хотелось взглянуть. Я знаю, что ты хочешь вернуться к нему, но, может быть, ты сделаешь это для меня?

Эдди был согласен.

Они поехали вокруг двери, к тому ее краю, который находился чуть повыше.

— Подожди! — вскрикнула Одетта. — Ты видел?

— Что?

— Поехали обратно! Смотри! Смотри внимательно!

На этот раз Эдди вместо того, чтобы следить за возможными препятствиями, внимательно наблюдал за дверью. Когда кресло проезжало по склону над ней, Эдди увидел, как дверь сужается в перспективе, увидел петли — петли, погруженные словно бы в ничто, увидел боковое ребро...

И тут оно исчезло.

Боковое ребро исчезло.

Воду от Эдди должны были бы заслонять три, возможно, даже четыре дюйма плотной древесины (дверь выглядела необычайно крепкой), но ничто не мешало ему видеть море.

Дверь исчезла.

Тень Эдди была, а вот дверь пропала.

Он откатил кресло на два фута назад, чтобы занять позицию чуть южнее того места, где стояла дверь, и оказалось, что боковое ребро никуда не делось.

— Ты видишь? — прерывающимся голосом спросил он.

— Да! Оно опять здесь!

Он провез кресло на фут вперед. Дверь не исчезала. Еще шесть дюймов. Здесь. Еще два. Здесь. Еще дюйм... и никакой двери. Точно и не бывало.

— Иисусе, — прошептал он, — Господи Иисусе.

— Она откроется перед тобой? — спросила Одетта. — А передо мной?

Эдди медленно шагнул вперед и крепко взялся за ручку двери, на которой было написано одно-единственное слово.

Он попробовал повернуть ручку по часовой стрелке; потом против.

Ручка не сдвинулась ни на йоту.

— Ладно. — Тон Одетты был спокойным, смиренным. — Дверь открывается ему. Думаю, это понятно и тебе, и мне. Иди за ним, Эдди. Сейчас же.

— Сперва я должен позаботиться о тебе.

— Со мной все будет отлично.

— Ничего подобного. Линия прилива слишком близко. Если я брошу тебя здесь, то, когда стемнеет, омары вылезут и пообедают тобо...

Речь Эдди внезапно пресек послышавшийся наверху, в холмах, клокочущий кошачий рык — так нож обрубает тонкую бечевку. Ворчание зверя донеслось с приличного расстояния — но меньшего, чем в прошлый раз.

Взгляд Одетты на миг, не более, порхнул к револьверу стрелка, засунутому за пояс штанов Эдди, потом так же быстро вернулся к лицу молодого человека. Эдди почувствовал, что у него горят щеки.

— Он не велел отдавать мне револьвер, правда? — мягко сказала она. — Он не хочет, чтобы оружие попало ко мне в руки. По какой-то причине он не хочет, чтобы оно оказалось у меня.

— Патроны отсырели, — с трудом ответил он, — ими, наверное, все равно не выстрелишь.

— Я понимаю. Завези меня чуть повыше, на склон, ладно? Я знаю, как, должно быть, устала у тебя спина — Эндрю называет это «санитарской ломотой» — но, если ты завезешь меня чуть повыше, омары мне будут не страшны. А там, откуда рукой подать до этих страшилищ, вряд ли появится что-нибудь еще.

Эдди подумал: «Во время прилива, пожалуй, да... но если снова начнется отлив, тогда как?»

— Дашь мне какой-нибудь еды и камней, — сказала Одетта, не ведая, что эхом вторит стрелку, и Эдди снова залился румянцем. Его лоб и щеки пылали, как бока кирпичной печки.

Одетта посмотрела на него, едва заметно улыбнулась и покачала головой, будто Эдди говорил вслух.

— Не будем спорить. Я же видела, что с ним и как. Ему отпущено очень и очень мало времени. Препираться некогда. Отвези меня чуть повыше, оставь еды и камней, потом забирай кресло и отправляйся.

Как можно быстрее устроив Одетту, Эдди вытащил револьвер стрелка и рукояткой вперед протянул ей. Но Одетта покачала головой.

— Он рассердится на нас обоих. На тебя — за то, что отдал, а на меня еще сильнее — за то, что взяла.

— Чепуха! — выкрикнул Эдди. — Почем ты знаешь?

— Знаю, — ответила Одетта тоном, не терпящим возражений.

— Хорошо, предположим, это правда. Только предположим. Но если ты не возьмешь револьвер, рассержусь я.

— Убери. Не люблю я всякие пистолеты. Я не знаю, как с ними обращаться. Если из темноты на меня что-нибудь выскочит, я первым делом напущу в штаны. После чего наставлю револьвер не в ту сторону и всажу пулю в себя. — Она умолкла, мрачно глядя на Эдди. — Есть и еще кое-что. Возможно, для тебя это тоже не секрет. Я не хочу прикасаться ни к чему, принадлежащему этому человеку. Ни к чему. Я думаю, что на меня его вещи способны «навести порчу», как это всегда называла моя мама. Мне нравится думать о себе, как о современной женщине... но я не испытываю никакого желания остаться у подножия погруженных во тьму земель без тебя, зато с привязавшимся ко мне злосчастьем

Эдди посмотрел на револьвер, потом на Одетту. В его глазах по-прежнему был вопрос.

— Убери, — велела она сурово, как школьная учительница. Эдди вдруг захохотал и подчинился.

— Что ты смеешься?

— Ты говоришь, как мисс Хатэвэй. Моя училка из третьего класса.

Чуть улыбаясь, не отрывая блестящих глаз от глаз Эдди, Одетта негромко, приятным голосом пропела: «Тени божественной ночи спускаются... сумерек время пришло...» — Ее голос замер, и оба посмотрели на запад, но, хотя тени уже удлинились, звезда, на которую они загадывали желание прошлой ночью, еще не появлялась.

— Что-нибудь еще, Одетта? — Эдди испытывал острое нежелание уходить. Хотелось медлить и медлить. Он подумал, что стоит действительно тронуться в обратный путь, и это пройдет, но пока стремление ухватиться за любой предлог и остаться казалось очень сильным.

— Поцелуй. Если ты не против, я удовольствовалась бы этим.

Он приник к ее губам долгим поцелуем. Уже когда он отстранился, Одетта, поймав его за запястье, пристально и напряженно всмотрелась в его лицо.

— До прошлой ночи я ни разу не занималась любовью с белым, — сказала она. — Не знаю, важно ли это для тебя. Я даже не знаю, важно ли это для меня. Но я подумала, что ты должен знать.

Эдди подумал.

— Для меня — нет, — сказал он. — Ночью все кошки серы. Я люблю тебя, Одетта.

Она накрыла его ладонь своей.

— Ты милый молодой человек и не исключено, что я отвечаю тебе взаимностью, хотя обоим нам слишком рано...

В этот миг, будто по сигналу, в «зарослях», как их именовал стрелок, заворчала дикая кошка. Судя по звуку, она по-прежнему находилась в четырех или пяти милях от них — и все же почти вдвое ближе, чем в прошлый раз. К тому же голос как будто бы принадлежал крупному зверю.

Путники повернули головы на звук. Эдди почувствовал, что волоски на шее сзади силятся встать дыбом. Им это удалось не вполне. «Пардон, волосики, — тупо подумал он. — Наверное, причесон у меня несколько длинней, чем надо».

Рычание перешло в пронзительный страдальческий вопль, точно там, откуда оно неслось, погибало страшной смертью какое-то живое существо (возможно, на самом деле это означало всего-навсего удачную случку). На мгновение этот почти непереносимый вой завис в воздухе, а затем пошел на убыль, соскальзывая во все более низкие регистры, и в конце концов не то смолк, не то утонул в непрекращающемся плаче ветра. Они подождали, но крик не повторился. Для Эдди, однако, это было неважно. Вытащив револьвер из-за пояса, он протянул его Одетте.

— Бери и не выступай. Если тебе позарез приспичит им воспользоваться, ты ни хрена не добьешься — с этой дрянью всегда так — но все равно, бери.

— Хочешь поспорить?

— Да спорь, ради Бога. Спорь сколько хочешь.

Задумчиво поглядев в почти что светло-карие глаза Эдди, Одетта улыбнулась, но улыбка вышла несколько усталой.

— Кажется, спорить я не стану. — Она взяла револьвер. — Пожалуйста, поспеши.

— Есть! — Он опять поцеловал ее, на сей раз торопливо, и чуть было не сказал «береги себя»... но серьезно, братва, как она могла «беречь себя» при таком раскладе?

Пробираясь в сгущающихся сумерках вниз по склону (исполинские омары еще не выползали, но их еженощное появление было не за горами), Эдди опять посмотрел на слово, написанное на двери, и каждую клеточку его тела пронизал знобящий холод. Слово было подходящее. Боже правый, такое подходящее! Он опять посмотрел туда, откуда спускался. Мгновение он не мог разглядеть Одетту, потом заметил какое-то движение. Более светлое пятнышко коричневой ладони. Одетта махала ему.

Помахав в ответ, Эдди развернул кресло, наклонил его так, что передние, более хрупкие и маленькие колеса оторвались от земли, и побежал. Он бежал на юг той же дорогой, которой они пришли. Примерно первые полчаса рядом быстро скользила его тень — пригвожденная к подметкам кроссовок невероятная тень тощего великана, вытянувшаяся на ярды и ярды к востоку. Потом солнце село, тень исчезла, а в волнах закувыркались уродливые клешнястые твари.

Минут через десять после того, как Эдди услышал первые звуки их бормотания, он поднял голову и увидел вечернюю звезду, равнодушно горевшую на густо-синем бархате небес.

Тени божественной ночи спускаются... сумерек время пришло... Спаси ее и сохрани. Ноги уже ныли, затрудненное дыхание было слишком жарким, в груди горело, в перспективе ждал третий переход, теперь уже со стрелком в качестве пассажира, но хотя Эдди догадывался, что Роланд на добрых сто фунтов тяжелее Одетты и надо бы поберечь силы, он все равно продолжал бежать. Спаси и сохрани, вот мое желание, спаси и сохрани мою любимую.

И, словно предвещая беду, где-то в страдальческих изгибах лощин взвизгнула дикая кошка... только эта кошка, судя по голосу, была большой аки лев, рыкающий в африканских джунглях.

Эдди прибавил ходу, толкая перед собой порожнее кресло, и вскоре ветер принялся омерзительно-тонко подвывать в свободно вращающихся спицах приподнятых передних колес.

Ушей стрелка коснулся тонкий заунывный вой. Звук этот приближался, и Роланд напрягся, но, расслышав тяжелое дыхание, расслабился. Эдди. Он мог сказать это даже с закрытыми глазами.

Стонущий звук мало-помалу затих, стремительные шаги замедлились, и Роланд открыл глаза. Перед ним, пыхтя и отдуваясь, стоял Эдди. По щекам юноши струился пот. Рубашка прилипла к груди одним темным пятном. Последние остатки образа «мальчика из колледжа», на котором настаивал Джек Андолини, исчезли. Волосы свисали на лоб. Штаны разъехались в шагу. Картину дополняли синевато-лиловые круги под глазами. Эдди Дийн был воплощением неряшества.

— Справился, — выговорил он. — Я здесь. — Молодой человек огляделся, потом опять посмотрел на стрелка, словно никак не мог поверить. — Господи Иисусе, я в самом деле здесь.

— Ты отдал ей револьвер.

Эдди подумал, что стрелок выглядит плохо — не лучше, чем до первого, сокращенного, курса кефлекса, быть может, чуть хуже. Казалось, жар горячки так и пышет от него волнами. Эдди понимал, что должен бы жалеть Роланда, но, похоже, в эту минуту был способен испытывать только адскую злость.

— Я из кожи вон лезу, чтоб попасть сюда в рекордное время, и все, что ты можешь мне сказать, это «Ты отдал ей револьвер». Ну, спасибо, приятель. То есть особых изъявлений благодарности я и не ждал, но это уж ни в какие ворота не лезет, едрена мать.

— По-моему, я сказал единственно важную вещь.

— Ну, раз уж ты завел об этом речь — да, я отдал ей револьвер, — сказал Эдди, подбоченясь и язвительно глядя на стрелка сверху вниз. — А теперь выбирай: либо ты садишься в кресло, либо я его складываю и пробую запихнуть тебе в жопу. Чего изволите, барин?

— Ничего. — Роланд едва заметно улыбался, словно и не хотел, но ничего не мог с собой поделать. — Сперва ты вздремнешь, Эдди. Когда придет время смотреть, мы посмотрим, что к чему, но сейчас тебе нужно выспаться. Ты вымотан.

— Я хочу вернуться к ней.

— Я тоже. Но если ты не отдохнешь, то свалишься по дороге. Просто свалишься. Скверно для тебя, еще хуже для меня и хуже всего для нее.

Эдди секунду постоял в нерешительности.

— Ты уложился в недурное время, — признал стрелок. Он прищурился на солнце. — Сейчас четыре, быть может, четверть пятого. Ты проспишь пять — возможно, семь — часов, и будет уже совсем темно...

— Четыре. Четыре часа.

— Хорошо. Будешь спать, пока не стемнеет — я считаю, это не пустяки. Потом поешь. Потом мы тронемся в путь.

— Ты тоже поешь.

Снова — слабая улыбка.

— Попробую. — Стрелок невозмутимо посмотрел на Эдди. — Теперь твоя жизнь в моих руках; полагаю, ты это понимаешь.

— Да.

— Я тебя похитил.

— Да.

— Хочешь убить меня? Если так, лучше сделай это сейчас и больше не ставь никого из нас... — Когда стрелок дышал, в груди у него негромко свистело. Эдди слышал эти хрипы, но они очень мало волновали его, — ...в затруднительное положение.

— Я не хочу убивать тебя.

— Тогда... — Речь Роланда прервал внезапный резкий приступ кашля. — ...Укладывайся, — закончил стрелок.

Эдди улегся. Бывало, сон медленно наплывал на него, но сейчас он схватил юношу грубыми руками неловкого в своем рвении любовника. Эдди услышал (или это ему только пригрезилось), как Роланд говорит: «Но отдавать ей револьвер не следовало», и неведомо на сколько времени погрузился в тьму и неведение, а потом Роланд затряс его, чтобы разбудить. Когда Эдди наконец сел, ему показалось, что в его теле не осталось ничего, кроме боли: боли и тяжести. Мышцы словно бы превратились в заржавленные блоки, шкивы и лебедки заброшенного цеха. Из первой попытки встать ничего не вышло. Он тяжело плюхнулся обратно на песок. Со второй попытки Эдди удалось подняться, однако он чувствовал, что даже на такое простое действие, как поворот кругом, у него уйдет порядка двадцати минут. Причем поворачиваться будет больно.

Роланд вопросительно смотрел на него.

— Ты готов?

Эдди кивнул.

— Да. А ты?

— Да.

— Сможешь?

— Да.

И они принялись за еду... а после Эдди пустился в свой третий и последний поход по окаянному взморью.

За вечер они проехали приличное расстояние, и все же, когда стрелок объявил привал, Эдди испытал смутное разочарование. Он ничем не проявил своего несогласия, поскольку попросту чересчур устал, чтобы идти дальше без отдыха, однако, отправляясь в путь, надеялся пройти больше. Тяжесть. Вот что было нешуточной проблемой. По сравнению с Одеттой, везти Роланда было все равно, что везти железные брусья. Перед рассветом Эдди проспал еще четыре часа. Он проснулся, когда над разрушающимися холмами, в которые выродились горы, вставало солнце, и прислушался к кашлю стрелка. Кашель был слабым, хриплым — перханье старика, возможно, больного воспалением легких.

Их глаза встретились. Приступ кашля превратился в смех.

— Неважно, каким я кажусь, Эдди. Я еще не уходился. А ты?

Эдди подумал о глазах Одетты и потряс головой.

— Уходился — не уходился, но куда девать чизбургер с «будончиком» — нашел бы.

— С бутончиком? — с сомнением повторил стрелок, представляя себе яблони и весенние цветы в Придворных Садах Его Величества.

— Неважно. Ну, запрыгивай, дружок. Четырех колес тебе не будет, с ветерком прокатить тоже не обещаю, но все равно на десяток-другой миль мы уедем.

Сказано — сделано; однако и второй день расставания с Одеттой склонился к закату, а они все еще медленно тащились к тому месту, где молодым людям явилась третья дверь. Эдди прилег было, думая покемарить еще часика четыре, но спустя каких-нибудь два часа пронзительный крик одной из диких кошек вырвал его из сна. Сердце у Эдди колотилось. Боже правый, судя по тому, как эта сволочь вопила, она была огромадной.

Он увидел, что стрелок приподнялся на локте, блестя в темноте глазами.

— Готов? — спросил Эдди. Кривясь от боли, он медленно поднялся.

— А ты? — снова очень тихо поинтересовался Роланд.

Эдди размял спину. В ней захрустело и затрещало, точно там один за другим вспыхивали снизанные в гирлянду крохотные бенгальские огни.

— Угу. Но я бы и вправду плотно занялся бы чизбургером.

— Я думал, тебе хотелось курочки.

Эдди тяжело вздохнул.

— Дай отдохнуть, старик.

К тому времени, как солнце скрылось за холмы, третья дверь была видна как на ладони. Еще через два часа они наконец оказались возле нее.

«Опять все вместе», — подумал Эдди, готовый рухнуть на песок.

Но он, видимо, ошибался. Никаких признаков Одетты Холмс не было. Ее и след простыл.

— Одетта! — пронзительно крикнул Эдди, и теперь его голос был таким же сорванным и хриплым, как у второго номера Одетты.

Но к нему не вернулось даже эхо — ничего, что можно было бы хотя бы спутать с ее голосом. Невысокие, изъязвленные холмы не желали отражать звук. Слышался только грохот волн, гораздо более громкий на этом тесном клине суши, гулкий рокот прибоя, гудевшего в конце тоннеля, прорытого им в рыхлом, крошащемся камне скал, да непрекращающиеся причитания ветра.

— Одетта!

На этот раз Эдди завопил так громко, что голос у него сорвался, а голосовые связки оцарапало что-то вроде острого зубца рыбьей кости. Глаза Эдди лихорадочно обшаривали холмы в поисках светло-коричневого пятнышка (которое оказалось бы ладонью Одетты), или движения (если бы Одетта приподнялась), или... (прости ему, Боже) ярких брызг крови на буром камне.

Он обнаружил, что гадает, как поступит, если все же увидит кровь или найдет револьвер, в гладкий сандал рукояти которого окажутся глубоко впечатаны следы зубов. Подобное зрелище могло довести Эдди до истерики, даже свести с ума, однако он продолжал высматривать — это ли, что-то другое, все равно.

И ничего не видел, ничего не слышал — даже намека на ответный крик.

Стрелок тем временем внимательно изучал третью дверь. Он ожидал увидеть только одно слово; слово, которое употребил человек в черном, перевернув на пыльной Голгофе, где они держали совет, шестую карту из колоды Таро. «Смерть, — сказал тогда Уолтер, — но не твоя, стрелок».

Однако слово, написанное на двери, вовсе не было словом СМЕРТЬ. Беззвучно шевеля губами, стрелок снова прочитал:

ТОЛКАЧ

«И все же оно означает смерть», — подумал Роланд и понял: так и есть.

Звук удаляющегося голоса Эдди заставил его оглядеться. Эдди, не переставая выкрикивать имя Одетты, уже карабкался на первый склон.

Секунду Роланд раздумывал. Может быть, стоило просто отпустить его?

Возможно, Эдди нашел бы Одетту. Возможно даже, он нашел бы ее живую, не слишком сильно пострадавшую и по-прежнему, что называется, «в себе». Стрелок полагал, что эта парочка смогла бы даже устроить себе тут своего рода жизнь — взаимная любовь Одетты и Эдди могла бы как-нибудь задушить полную яда белену, именовавшую себя Деттой Уокер. Да, он полагал возможным, что вместе эти двое просто задавили бы Детту насмерть. Роланд был своего рода суровым романтиком... и все-таки достаточным реалистом, чтобы знать: порой любовь действительно побеждает все. Что же до него самого... даже будь Роланд в силах добыть из мира Эдди те снадобья, что однажды уже почти вылечили его, смогли бы они излечить его или хотя бы положить начало исцелению теперь? Теперь Роланд был очень болен и ловил себя на том, что гадает, не слишком ли далеко зашло дело. Руки и ноги терзала тупая ноющая боль, в голове глухо стучало, в забитой мокротой груди ощущалась тяжесть. Когда он кашлял, в левом боку что-то болезненно скрежетало, словно ребра там были сломаны. Левое ухо пылало. Возможно, думал он, пришло время покончить с этим, попросту объявить отбой.

Тут все в нем восстало против подобной мысли.

— Эдди! — крикнул он. Кашля на сей раз не было и в помине: голос стрелка прозвучал мощно, властно.

Эдди обернулся: одна нога — на сырой земле, другая прочно стоит на выдающемся из почвы каменном уступе.

— Давай, — сказал он, делая короткий странный жест, словно отметал что-то. Жест этот говорил о желании избавиться от стрелка и тем самым получить возможность заняться настоящим делом, важным делом — поисками и, при необходимости, спасением Одетты. — Все нормально. Давай, прошвырнись на ту сторону и добудь лекарство, которое тебе нужно. Когда вернешься, мы оба будем здесь.

— Сомневаюсь.

— Я должен ее найти. — Эдди посмотрел на Роланда — это был совершенно беззащитный взгляд очень молодого человека. — Я хочу сказать, мне правда нужно.

— Мне понятна и твоя любовь, и твое стремление, — сказал стрелок, — но я хочу, Эдди, чтобы на этот раз мы пошли вместе.

Эдди долгое время не сводил с Роланда неподвижного взгляда, словно силясь поверить в то, что услышал.

— Вместе, — наконец ошеломленно выговорил он. — Вместе! Боже правый, теперь я думаю, что и правда все расслышал. Все, трам-тарарам! В прошлый раз, когда ты был так же решительно настроен оставить меня здесь из желания рискнуть собственной шеей — я ведь мог перерезать тебе горло. Сейчас ты хочешь рискнуть тем, что какая-нибудь тварь вырвет глотку ей.

— Быть может, это уже произошло, — ответил Роланд, хотя знал, что кривит душой: Владычица, возможно, и пострадала, однако не погибла.

К несчастью, понимал это и Эдди. Не то семь, не то десять дней без героина замечательно обострили его способность соображать. Молодой человек указал на дверь:

— Ты же знаешь, что она не погибла. Иначе эта проклятая штука пропала бы. Вот разве что ты врал, когда говорил, будто толку не будет, если не будет хоть одного из нас троих.

Эдди попытался опять повернуться лицом к склону, но взгляд Роланда как гвоздями удерживал его на месте.

— Хорошо, — сказал стрелок. Почти таким же мягким его голос был тогда, когда, не обращая внимания на истошные вопли и полное ненависти лицо Детты, он говорил с женщиной, запертой где-то за этим уродливым фасадом. — Она жива. Что ж она тогда не отзывается?

— Ну... возможно, ее унесла одна из этих тварей... кошек... — Но голос Эдди звучал нерешительно.

— Кошка убила бы ее, наелась и бросила бы остальное. Самое большее — оттащила бы труп в тень, чтобы ночью вернуться и доесть мясо, которое, быть может, еще не успело бы испортиться на солнце. Но, будь это так, дверь бы исчезла. Кошки — не насекомые, которые, парализовав добычу, уносят ее, чтобы съесть позднее. И ты это знаешь.

— Это не обязательно верно, — возразил Эдди. На миг ему послышался голос Одетты — «Вам следовало бы состоять в команде спорщиков, Эдди» — однако он отогнал эту мысль. — Может быть, явилась кошка и Одетта попыталась ее застрелить, но первые два патрона в твоем револьвере дали осечку. Черт побери, может, не два, а четыре или даже пять. Кошка добирается до нее, калечит, вот-вот убьет, и вдруг... БАБАХ! — Эдди звонко стукнул кулаком по ладони — картина, стоявшая у него перед глазами, была такой живой и яркой, словно он видел все это воочию. — Пуля убивает кошку, или, может, только ранит, или просто пугает, и зверюга дает деру. Что скажешь?

Роланд негромко заметил:

— Мы бы услышали выстрел.

На секунду Эдди застыл, потеряв дар речи, не в силах придумать никаких встречных доводов. Конечно, они бы непременно услышали выстрел. Когда они в первый раз услышали мяуканье дикой кошки, та, должно быть, находилась в пятнадцати, если не в двадцати милях от них. Пистолетный же выстрел...

Он неожиданно хитро посмотрел на Роланда и сказал:

— А может быть, ты слышал. Может, пока я спал, ты слышал выстрел.

— Он бы разбудил тебя.

— Только не сейчас, старик. Я так выматываюсь, что засыпаю...

— Мертвецким сном, — прежним мягким тоном закончил стрелок. — Это чувство мне знакомо.

— Тогда ты понимаешь...

— Это не то же самое, что быть мертвым. Вчера ночью ты отключился именно так, но стоило завизжать одной из кошек — и ты в считанные секунды очнулся и оказался на ногах. Ведь ты тревожишься за эту женщину. Никакого выстрела не было, Эдди, и ты это знаешь. Ты бы непременно его услышал. Оттого, что она тебе небезразлична.

— Ну так, может быть, Одетта размозжила голову этой твари камнем! — закричал Эдди. — Откуда, черт возьми, мне это знать, если вместо того, чтобы проверять возможные варианты, я стою тут и препираюсь с тобой? Может, она лежит где-то там, наверху, раненая! Вот что я хочу сказать, старик! Раненая или умирающая от потери крови! Понравилось бы тебе, если бы я прошел с тобой в дверь и, пока мы были бы на другой стороне, Одетта бы умерла? Понравилось бы тебе, если б ты оглянулся раз — дверь на месте, оглянулся другой — а ее как не бывало, потому что не стало Одетты? Тогда ты навсегда застрянешь в моем мире, а не наоборот! — Юноша стоял, сжав кулаки, тяжело дыша и сердито сверкая глазами.

Роланд ощутил усталое раздражение. Кто-то — быть может, Корт, но ему казалось, что, скорее, отец — любил говорить: «Что спорить с влюбленным, что пытаться выпить океан ложкой — все едино». Если этому присловью требовалось какое-нибудь подтверждение, оно стояло сейчас перед Роландом, все — дерзкий вызов и готовность защищаться. «Давай-давай, — говорила поза Эдди Дийна. — Валяй, стрелок, я могу ответить на любой вопрос, какой ты мне задашь».

— Могло случиться так, что ее нашла не кошка, — сказал теперь Эдди. — Пусть это твой мир, но, по-моему, в этой его части ты бывал не чаще, чем я — на Борнео. Ты ведь не знаешь, что может рыскать в холмах наверху, верно? Вдруг она попала в лапы, к примеру, какой-нибудь здоровенной обезьяне?

— Да уж. В чьи-то лапы она попала, — согласился стрелок.

— Ну, слава Богу, болезнь не окончательно лишила тебя здравого рассуд...

— И мы оба знаем, чьи это лапы. Детты Уокер. Вот кому она попалась. Детте Уокер.

Эдди открыл рот, но при виде беспощадного лица стрелка все доводы молодого человека ненадолго, всего на несколько секунд (которых, впрочем, обоим хватило на то, чтобы признать правду), выродились в молчание.

— Так быть не должно.

— Подойди-ка поближе. Толковать, так толковать. Всякий раз, как мне приходится перекрикивать волны, это выдирает из моей глотки очередной кусок. Во всяком случае, ощущение именно такое.

— Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие глазки? — сказал Эдди, не двигаясь с места.

— Черт побери, что ты мелешь?

— Есть одна такая сказочка. — Эдди и в самом деле спустился чуть пониже, но прошел по склону совсем немного, ярда четыре, не больше. — Небылица. А небылицы — это то, что у тебя в голове, если ты веришь, будто сумеешь уговорить меня подойти к этому креслу достаточно близко.

— Достаточно близко? Зачем? Не понимаю, — сказал Роланд, хотя все прекрасно понимал.

С высоты почти в сто пятьдесят футов и, вероятно, доброй четвертью мили восточнее эту живую картину напряженно наблюдали темные глаза — глаза, столь же умные, сколь лишенные человеческого милосердия. Разобрать слова участников описываемой сцены было невозможно — ветер, волны и гулкий рокот прибоя, пробивавшего свой подземный тоннель, позаботились об этом — однако чтобы понять, о чем толкуют эти люди, Детте не было надобности слышать, что они говорят. Она и без подзорной трубы видела, что Настоящий Гад теперь вдобавок был Взаправду Хворым. Может, Настоящий Гад и горел желанием несколько дней, а то и недель, помучить безногую негритянку (судя по окружающей обстановке, с развлечениями в этих местах было туго), но Взаправду Хворому, думала Детта, хотелось только одного, а именно — убрать отсюда свою белую задницу. Воспользоваться волшебной дверью и утянуть в нее свое сраное очко. Впрочем, раньше самому ему не приходилось уносить ноги. Ни ноги, ни то место, откуда они растут. Раньше Настоящий Гад сидел ни много, ни мало, у нее, у Детты, в голове. Ей по-прежнему не хотелось думать ни о том, как это происходило и что она чувствовала, ни о том, как легко, играючи, он подавил все ее отчаянные попытки вытолкнуть его вон из своего сознания и опять обрести контроль над собой. Это было страшно. Жутко. Хуже того — Детта не понимала. Что, собственно, было настоящим источником ее ужаса? Само вторжение? Нет, и уже одно это изрядно пугало. Детта знала: обследуй она себя более тщательно, она могла бы понять... но она не хотела этого делать. Подобные изыскания могли увести в места вроде тех, что в древние времена внушали благоговейный страх мореходам; ни больше, ни меньше — на край света, туда, где картографами поставлена пометка «ЗДЕСЯ ЗМЕЮКИ». Вторжение Настоящего Гада было отвратительно возникшим с ним ощущением привычности, словно такие поразительные вещи случались с Деттой и раньше — не однажды, но много раз. Впрочем, испуганная ли, нет ли, она не поддалась панике и все примечала даже во время схватки с незваным гостем. Детта помнила, как заглянула в дверной проем, когда стрелок ее руками катил к нему инвалидное кресло. Она помнила, что увидела тело Настоящего Гада, простертое на песке, и Эдди, присевшего над ним с ножом в руке.

Кабы этот Эдди вонзил нож в горло Настоящему Гаду! То-то было бы здорово! Что там — свиней резать! И рядом не лежало!

Эдди устоял перед искушением, но тело Настоящего Гада Детта увидела. Оно дышало, и все равно, тело было самым подходящим словом — никчемная вещь вроде старого джутового мешка, который какой-то кретин доверху набил сорной травой или кукурузной шелухой.

Сознание Детты было уродливо и безобразно, точно грубое растление ребенка, но соображала она еще быстрее и бойчее, чем Эдди. «Настоящий Гад тут все ссаниной с уксусом исходил. Ну, теперь все. Слезай, приехали. Он знает, что я тут, наверху, и единственно, чего хочет, так это унести ноги, покамест я не спустилась и не выдернула их ему из жопы. Правда, его сопливый дружок... у того силенки еще хоть отбавляй, тот еще не натешился вволю, не накуражился надо мной досыта. Этому поганцу неймется подняться сюда, выследить меня и поймать, а как там будет Настоящий Гад, ему похуй. Факт. Думает, дескать, такому жеребцу, как я, безногая черномазая сучка не ровня. Мне, мол, в бега ударяться неохота, мне охота сперва эту черную мандавошку отследить. Вот, дескать, вдую ей раз-другой, а уж потом можно топать, куда зажелаешь. Вот что он, небось, думает, но это ништяк. Все будет в ажуре, сволочь белопузая. Коли ты воображаешь, будто можешь объегорить Детту Уокер, подымись сюда, в эти Овраги, и попробуй. Ты еще узнаешь, золотко, что со мной мудохаться — как против ветра ссать, тут я ас! Ты еще узнаешь...»

Однообразный ход мыслей Детты вдруг прервал некий звук, явственно донесшийся к ней сквозь прибой и ветер: тяжкий грохот револьверного выстрела.

— А по-моему, ты понимаешь это лучше, чем показываешь, — сказал Эдди. — До фига как хорошо понимаешь. По-моему, тебе хочется, чтобы я подошел туда, где меня можно будет схватить, вот что. — Не отрывая взгляда от лица Роланда, юноша дернул головой в сторону двери и, не ведая, что неподалеку кто-то думает то же самое, прибавил: — Знаю, знаю, ты болен. Но, может быть, ты делаешь вид, что намного слабее, чем на самом деле. Может, ты самую капельку филонишь.

— Может быть, — без улыбки проговорил Роланд и добавил: — Однако это не так.

Хотя... отчасти это было именно так.

— Впрочем, от нескольких лишних шагов вреда не будет, правда? Долго орать я не смогу. — Словно в подтверждение правоты стрелка, последний слог прозвучал хриплым лягушачьим кваком. — Но мне необходимо заставить тебя подумать, что ты делаешь... что ты надумал сделать. Раз уж нельзя убедить тебя пойти со мной, возможно, я сумею хотя бы... заставить тебя снова насторожиться.

— Ради твоей драгоценной Башни, — фыркнул Эдди, однако, оскальзываясь и вздымая изорванными теннисными туфлями вялые облачка темной, красновато-бурой пыли, спустился до середины уже преодоленного им ранее участка склона.

— Ради моей драгоценной Башни и твоего драгоценного здоровья, — сказал стрелок. — Не говоря уж о твоей драгоценной жизни.

Из кобуры на левом бедре, повинуясь руке Роланда, выскользнул второй и последний револьвер. Стрелок посмотрел на него с выражением и печальным, и в то же время отстраненно-холодным.

— Если ты думаешь, что сумеешь меня испугать...

— Не думаю. Ты же знаешь, что я не могу застрелить тебя, Эдди. Но мне кажется, тебе действительно необходимо преподать наглядный урок того, как изменилось положение дел. Как сильно оно изменилось.

Роланд поднял револьвер, прицелился — не в юношу, в пустынный океан, где ходили большие волны — и большим пальцем спустил курок. В ожидании оглушительного грохота выстрела Эдди внутренне подобрался.

Ничего подобного. Только унылый щелчок.

Роланд опять оттянул боек. Барабан провернулся. Стрелок нажал на курок, и вновь они не услышали ничего, кроме слабого щелчка.

— Не переживай, — сказал Эдди. — Там, откуда я родом, Министерство Обороны наняло бы тебя после первой же осечки. С таким же успехом ты мог бы...

Но оглушительное «БА-БАХ!» револьвера обрубило окончание фразы так же аккуратно и чисто, как Роланд в бытность свою учеником, упражняясь в стрельбе по мишеням, обрубал с деревьев мелкие веточки. Эдди подскочил. Выстрел мигом оборвал доносившееся с холмов непрерывное рииииииииии насекомых, которые медленно и осторожно возобновили пение лишь после того, как Роланд положил револьвер себе на колени.

— И что, черт возьми, это доказывает?

— Полагаю, что все зависит от того, к чему ты прислушаешься, а что откажешься выслушать, — чуть резковато ответил Роланд. — Это должно доказывать, что среди этих патронов есть и хорошие. Кроме того, это наводит на подозрения — на сильные подозрения — что в том револьвере, который ты отдал Одетте, часть патронов, возможно, даже все патроны — годные.

— Чушь собачья! — Эдди помолчал. — С чего бы?

— А вот с чего: револьвер, из которого я сейчас стрелял, я зарядил патронами с самого низа патронных лент — иными словами, теми, что намокли сильнее прочих — и сделал это просто для того, чтобы убить время до твоего возвращения. Понятно, нельзя сказать, что заряжать револьвер — дело долгое, даже если на руке не хватает двух пальцев! — Роланд рассмеялся, но смех почти сразу перешел в кашель, и чтобы унять его, стрелок прижал ко рту обкорнанный кулак. Когда кашель стих, Роланд продолжил: — Однако после того, как пробуешь стрелять подмокшими патронами, револьвер следует разобрать, а механизм — вычистить. «Револьвер разобрать, механизм вычистить, личинки», — вот первое, что вдолбил нам Корт, наш учитель. Я не знал, сколько времени затрачу на разборку, чистку и сборку револьвера, если у меня всего полторы руки, но подумал, что коль скоро намерен жить и дальше — а я намерен, Эдди, твердо намерен — это лучше выяснить. Выяснить и со временем научиться управляться быстрее, как по-твоему? Подойди поближе, Эдди! Во имя своего отца, подойди поближе!

— Чтобы лучше видеть тебя, дитя мое, — сказал Эдди, делая, впрочем, пару шагов в сторону Роланда. Пару шагов, не больше.

— Когда в первый же раз, как я нажал на курок, грянул выстрел, я чуть в штаны не наложил, — сказал стрелок. Он опять рассмеялся. Потрясенный Эдди понял, что Роланд достиг той грани, за которой начинались горячка и бред. — Первый же «желудь» выстрелил! Но поверь — это было последнее, чего я ожидал.

Эдди попробовал определить, не лжет ли стрелок — и насчет револьвера, и насчет своего состояния. Да, парняга приболел. Но действительно ли так уж сильно? Эдди не знал. Если Роланд притворялся, притворялся он классно; что касается револьверов, Эдди никак не мог сказать, что — правда, что — ложь: опыта обращения с оружием у него не было. До того, как очутиться в перестрелке на хате у Балазара, он за всю свою жизнь стрелял из пистолета, наверное, раза три. Генри, быть может, и разобрался бы, но Генри был мертв... мысль, которая имела обыкновение неизменно заставать Эдди врасплох, наново ввергая в пучину горя.

— Больше ни один не выстрелил, — продолжал стрелок, — я прочистил механизм, перезарядил револьвер и опять прощелкал весь барабан. На этот раз я взял те патроны, что занимали гнезда чуть поближе к пряжкам патронных лент. Те, что должны были отсыреть еще меньше — ведь самыми сухими были самые ближние к пряжкам патроны. Ими мы все время и заряжали револьверы, чтобы добыть еду.

Роланд замолчал, сухо покашлял в ладонь и продолжал.

— Я полностью прощелкал барабан во второй раз и наткнулся на два годных патрона. Я опять разобрал револьвер, снова вычистил его и зарядил в третий раз. Только что у тебя на глазах я трижды спустил курок, проверяя первые три из заряженных мною гнезд. — Стрелок слабо улыбнулся. — А знаешь, после первых двух щелчков я подумал: вот оно, мое окаянное везенье — заполнил барабан одной сыростью. Не слишком убедительная демонстрация получилась бы, а, Эдди? Ты не подойдешь немного поближе?

— Совершенно неубедительная, — отозвался Эдди. — Нет, спасибочки, я думаю, что подходить ближе, чем сейчас, не буду. Какой же урок я, по идее, должен извлечь из всего этого, Роланд?

Роланд посмотрел на Эдди так, как смотрят на слабоумных.

— Да будет тебе известно, я отправил тебя сюда не умирать. Я обоих вас отправил сюда не для того, чтобы вы погибли. Великие боги, Эдди, где твои мозги? У нее револьвер с боевыми патронами! — Стрелок пристально смотрел на молодого человека. — Она где-то наверху, в холмах. Возможно, ты воображаешь, будто сумеешь напасть на след этой женщины и выйти на нее, но, если земля действительно такая каменистая, какой кажется с этого места, удачи не жди. Эта женщина — Детта, а не Одетта! — залегла там наверху, Эдди, залегла с заряженным боевыми патронами револьвером в руке. Стоит мне оставить тебя, как ты отправишься за ней, и тогда она вышибет тебе кишки через задницу.

Он снова судорожно закашлялся.

Эдди не сводил глаз с сотрясаемого кашлем человека в инвалидном кресле. Волны тяжело бились о берег, ветер выдувал свою нескончаемую идиотскую ноту. Наконец он услышал собственный голос:

— Один патрон из тех, о которых знаешь, что они в порядке, ты мог и припрятать. По-моему, ты вполне способен на такое. — И, сказав так, Эдди понял: да, верно — он считает Роланда способным и на это, и на любую другую подлость.

Его Башня.

Его проклятая Башня.

Но каково коварство — вложить уцелевший патрон в третье гнездо барабана! Придает происходящему нужный оттенок реальности, не так ли? Отчего становится трудно не верить.

— В моем мире, — сказал Эдди, — есть одно присловье. «Этот и эскимосу холодильник продаст». Вот такая поговорка.

— Как ее понимать?

— А так: да пошел ты...

Стрелок долгое время смотрел на молодого человека, потом кивнул.

— То есть ты остаешься. Хорошо. Когда эта женщина — Детта, те... дикие животные, что, возможно, водятся в округе... не так опасны для нее, как если бы она была Одеттой. Для тебя самого — по крайней мере, пока — было бы безопаснее держаться от нее подальше, однако ситуация мне понятна. Она мне не по душе, но времени спорить с дураком у меня нет.

— Значит ли это, — вежливо поинтересовался Эдди, — что никто никогда не пытался поспорить с тобой насчет этой Темной Башни, к которой ты так решительно настроен добраться?

Роланд устало улыбнулся.

— На самом деле — очень многие. Полагаю, потому-то я и понял, что тебя не уговоришь. Дурак дурака видит издалека. Как бы там ни было, я чересчур слаб, чтобы схватить тебя, ты — явно слишком осмотрителен, чтобы поддаться на мои уговоры и подойти туда, где я сумел бы тебя ухватить, а времени осталось так мало, что не до споров. Мне остается только идти, уповая на лучшее. Но перед уходом я в последний раз скажу тебе — послушай меня, Эдди! — будь начеку.

И Роланд сделал нечто такое, что заставило Эдди устыдиться всех своих сомнений (впрочем, нимало не поколебав его решимости): привычно тряхнув запястьем, он откинул барабан револьвера, высыпал все патроны и заменил их новыми — из ближайших к пряжкам патронных лент петель. Еще одно неуловимо быстрое движение, и барабан со щелчком вернулся на место.

— Разбирать и чистить уже нет времени, — сказал Роланд, — но, полагаю, это погоды не сделает. Ну, лови — да смотри, лови аккуратно, не добавляй в механизм грязи. В моем мире вообще осталось не так уж много исправных механизмов.

Он перебросил револьвер через разделявшее их пространство. Поглощенный своими заботами и тревогами Эдди в самом деле чуть было не упустил его, однако в конце концов благополучно засунул оружие за пояс штанов.

Стрелок выбрался из инвалидного кресла, чуть не упав, когда под его надавившими на поручни ладонями оно скользнуло назад. Шатаясь, он направился к двери, схватился за ручку и та в его руке свободно повернулась. Разглядеть, куда же открывается дверь, Эдди не сумел, однако услышал приглушенный шум уличного движения.

Роланд оглянулся. На страшно бледном лице мерцали голубые глаза снайпера.

Все это Детта наблюдала из своего укрытия, хищно поблескивая глазами.

— Помни же, Эдди, — хрипло повторил Роланд и ступил вперед. У границы дверного проема его тело сплющилось, словно вместо пустого пространства наткнулось на каменную стену.

Эдди испытал жадное стремление подойти к двери, заглянуть в нее и увидеть, куда — и в какое когда — она ведет. Вместо этого он развернулся и опять обшарил холмы внимательным взглядом, держа руку на рукоятке револьвера.

Я в последний раз скажу тебе.

Внезапно Эдди, внимательно осматривавший пустынные бурые холмы, испугался.

Будь начеку.

Там, наверху, ничто не двигалось.

По крайней мере, Эдди ничего не замечал.

И все равно чувствовал ее.

Не Одетту; в этом стрелок был прав.

Эдди чувствовал Детту.

Он сглотнул и услышал, как в горле у него пискнуло.

Начеку.

Да. Но молодой человек впервые в жизни испытывал такую страшную потребность выспаться. Довольно скоро беспощадная жажда сна полностью захватит его; если Эдди не сдастся добровольно, сон возьмет его силой.

И тогда, пока он будет спать, появится Детта.

Детта.

Борясь с усталостью, Эдди окинул взглядом неподвижно застывшие холмы (глаза казались опухшими, веки — тяжелыми) и стал гадать, сколько же времени пройдет прежде, чем Роланд вернется с третьим, с Толкачом, кем бы тот (или та) ни был.

— Одетта? — без особой надежды позвал он.

Ответом ему была лишь тишина. Для Эдди началось время ожидания.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ТОЛКАЧ

1. ГОРЬКОЕ ЛЕКАРСТВО

Когда стрелок вошел в сознание Эдди, тот испытал мгновенную тошноту и такое чувство, будто за ним следят (сам Роланд ничего подобного не ощутил; об этом он узнал позже, от Эдди). Иными словами, юноша смутно почуял присутствие стрелка. В случае Детты Роланд, хочешь не хочешь, был вынужден незамедлительно выйти вперед. Детта не просто учуяла его присутствие — создавалось странное впечатление, что она ждала стрелка — стрелка или более частого гостя. Как бы там ни было, с первой же секунды пребывания Роланда в ее сознании она полностью сознавала его присутствие.

Джек Морт [Морт — Mort (фр.) — смерть] не почувствовал ничего.

Он был слишком сосредоточен на мальчике.

Джек следил за мальчишкой вот уже две недели.

Сегодня он собирался его толкнуть.

Глаза, которыми смотрел сейчас стрелок, видели мальчика со спины, но даже со спины Роланд узнал его. Это был мальчик, встреченный им на постоялом дворе в пустыне; мальчик, спасенный им от Прорицательницы в горах; мальчик, чьей жизнью он пожертвовал, когда наконец настало время выбирать — спасти его или догнать человека в черном; мальчик, который перед тем, как сорваться в бездну, сказал: «Раз так, идите. Есть и другие миры, не только этот». Да, вне всяких сомнений, мальчик был прав.

Мальчик этот был Джейк.

В одной руке он держал невзрачный коричневый бумажный пакет, в другой, за продернутую в горловину веревку — синюю полотняную сумку. Сквозь матерчатые бока выпирали какие-то углы, и стрелок подумал, что в сумке, должно быть, книги.

Мальчик ждал, чтобы перейти улицу, наводненную потоком машин — Роланд понял, что это одна из улиц того самого города, откуда он забрал Невольника и Владычицу. Впрочем, все это сейчас было неважно. Важно было только одно: то, что произойдет — или не произойдет — в следующие несколько секунд.

Джейк попал в мир стрелка отнюдь не через волшебную дверь; он прошел другим, более грубым и понятным порталом: мальчик родился в мире Роланда, расставшись с жизнью в своем мире.

Его убили.

Точнее, его толкнули.

Джейка, шагавшего в школу с пакетом бутербродов в одной руке и книжками в другой, толкнули на мостовую, и его переехала машина.

Толкнул мальчика человек в черном.

«Сейчас он сделает это! Вот сейчас он его столкнет! Так какая кара назначена мне за то, что в своем мире я погубил его! Мальчика убьют у меня на глазах, а я не успею остановить убийцу!»

Однако всю жизнь стрелок только и делал, что противился тупому и жестокому року — если угодно, это было его ка — а посему, даже не задумавшись, вышел вперед, повинуясь столь глубинным и непостижимым рефлексам, что они превратились почти в инстинкты.

И в это мгновение в голове у него вдруг мелькнула жуткая и в то же время ироническая мысль: что, если телесная оболочка, в которую он вошел, по своей природе тело человека в черном? Что, если стремглав ринувшись спасать мальчика, стрелок увидит, как его, Роланда, руки протягиваются вперед и толкают? Если ощущение, что он владеет ситуацией, лишь иллюзия, и последняя веселая шутка Уолтера в том, что Роланд сам убьет мальчика?

На один-единственный миг Джек Морт потерял тонкую крепкую стрелу своей сосредоточенности. Он, уже готовый прянуть вперед и столкнуть мальчишку в поток машин, испытал некое ощущение, которое его сознание истолковало неверно — так порой тело относит острую боль, источником которой служит одна его часть, на счет совсем другой.

Когда стрелок выступил на первый план, Морт подумал, что ему на шею села какая-то букашка. Не пчела, не оса — ничего, способного по-настоящему ужалить — просто какое-то насекомое, укус которого вызывает зуд. Возможно, комар. В этом он и усмотрел причину того, что в решающий момент его сосредоточенность ослабла. Пришлепнув букашку, Джек Морт вернулся к мальчишке.

Все, как ему показалось, произошло в мгновение ока; в действительности прошло семь секунд. Морт не почувствовал ни быстрого продвижения стрелка вперед, ни его столь же быстрого отступления; никто из прохожих (люди с еще припухшими от сна лицами и обращенными внутрь полусонными глазами шли на работу; главным образом — с расположенной в соседнем квартале станции метро) не заметил, как за очками в строгой золотой оправе всегда темно-голубые глаза Джека посветлели. Никто не заметил и того, как они вновь потемнели до своей обычной синевы. Однако это произошло и, вновь сосредоточив свое внимание на мальчике, Морт с острой, словно колючка терна, яростью разочарования понял, что случай упущен. Свет сменился.

Проводив глазами мальчишку, переходившего улицу вместе с прочими баранами, Джек и сам повернул назад той же дорогой, что пришел, проталкиваясь против течения сквозь подобный океанскому приливу поток пешеходов.

— Эй, мистер! Смотреть надо, куда...

Девчонка-подросток с кислой физиономией — Джек ее и не заметил. Он грубо, сильно отпихнул ее в сторону. Целая охапка книжек разлетелась, обозленная девчонка принялась скликать на голову Джека все беды и несчастья — но он не оглянулся. Он, не останавливаясь, шагал по Пятой авеню, уходя от Сорок третьей улицы, где сегодня назначил мальчишке умереть. Он шагал, нагнув голову и так крепко сжав губы, что казалось, будто у него вовсе нет рта и только повыше подбородка — шрам от давно зажившей раны. Пробравшись через затор на углу, Морт не пошел медленнее, а, напротив, прибавил ходу, широким шагом пересекая Сорок вторую, Сорок первую, Сороковую улицы. Где-то в середине следующего квартала он миновал дом мальчишки и едва взглянул на него, хотя в течение последних трех недель по учебным дням каждое утро шел отсюда следом за мальчишкой; от дома на Пятой авеню Морт вел его три с половиной квартала до того угла, который в мыслях называл просто «Местом События».

Девчонка, на которую он налетел, что-то визгливо кричала ему вслед, но Джек Морт этого не замечал. Это занимало его не больше, чем какая-нибудь заурядная бабочка занимает энтомолога-любителя.

В своем роде Джек очень напоминал энтомолога-любителя.

По профессии он был преуспевающим бухгалтером-ревизором.

Толкать было только его хобби.

Стрелок вновь отступил вглубь сознания этого человека и там лишился чувств. Если он и испытал какое-то облегчение, то лишь потому, что этот человек не был человеком в черном. Это не был Уолтер.

Все прочее являлось источником предельного, беспросветного ужаса... и полного просветления.

Расставшийся со своей бренной оболочкой дух Роланда, его ка, остался прежним — острым, проницательным и чуждым каким бы то ни было недугам, однако внезапность, с какой развеялось неведение, подействовала на него, точно предательский удар в висок.

Знание пришло к Роланду не тогда, когда он выступил вперед, а в тот миг, когда, убедившись, что мальчик в безопасности, он прокрался обратно. Роланд познал связь между человеком, в чьем сознании находился, и Одеттой — слишком фантастичную и все же, к его ужасу, слишком подходящую, чтобы быть совпадением. Он понял, чем в действительности может оказаться извлечение троих и кем — сами трое.

Этот человек, Толкач, не был третьим; третьей Уолтер назвал Смерть.

Смерть... но не твоя. Вот что сказал Уолтер, который даже в последние минуты был умен, как Сатана. Ответ законника... он был столь близок к истине, что истина могла прятаться в его тени. Смерть поджидала его не для того, чтобы унести в мир теней — для того, чтобы воплотиться в нем.

Невольник, Владычица.

Третьей была Смерть.

Роланд вдруг исполнился уверенности, что третий — он сам.

Роланд ринулся вперед — снаряд, безмозглая ракета, запрограммированная лишь на одно: засечь человека в черном и в тот же миг метнуть в него занятую ею телесную оболочку.

Мысли о том, что может случиться, если он воспрепятствует человеку в черном убить Джейка — о возможном парадоксе, о свище во времени и измерениях, который способен зачеркнуть, вымарать из жизни все происшедшее после того, как он прибыл на постоялый двор — пришли только потом... Ведь, несомненно, если бы Роланд спас Джейка в этом мире, никакого Джейка там он бы не встретил, а весь последующий ход событий претерпел бы изменения.

Какие? Невозможно даже строить догадки. В частности, странствию стрелка мог бы прийти конец, однако эта мысль никогда не приходила ему в голову. И уж конечно такие запоздалые рассуждения были спорны; заметь Роланд человека в черном — и никакие последствия, никакой парадокс, никакой предначертанный судьбой ход событий не смогли бы помешать ему, пригнув голову занятого им тела, попросту протаранить грудь Уолтера. Роланд был бы так же бессилен поступить иначе, как револьвер не властен отказать пальцу, который жмет на курок, отправляя пулю в полет.

Если при этом все шло к черту — черт с ним.

Роланд быстро прощупал взглядом скопление прохожих на углу, заглянув в лицо каждому (женщин он рассматривал не менее подробно и внимательно, чем мужчин, убеждаясь, что среди них нету той, которая лишь притворяется женщиной).

Уолтера там не оказалось

Стрелок постепенно расслабился — так в последнюю секунду может расслабиться палец, лежащий на спусковом крючке. Нет; Уолтера нигде поблизости от мальчика не было, и стрелок ощутил неизвестно откуда взявшуюся уверенность, что это — не то когда. Не совсем то. То когда было близко (до него оставалось две недели, неделя, даже, может быть, всего один-единственный день), но еще не наступило.

Поэтому Роланд повернул обратно.

По дороге он увидел...

...и от потрясения свалился без чувств: когда-то — давно — этот человек, в чье сознание открывалась третья дверь, сидел у самого окна убогой, покинутой жильцами комнатенки в здании, полном пустующих нежилых комнат — то есть, если не считать частенько ночевавших там пьянчужек и помешанных. Алкашню выдавал бьющий в нос отвратительный запах пота и нездоровый — мочи. Сумасшедших — вонь безумных, спутанных, мутных мыслей. Всю обстановку комнаты составляли два стула. Джек Морт использовал оба: один, чтобы сидеть на нем, второй — в качестве подпорки, чтобы не открывалась дверь, выходящая в коридор. Он не думал, что ему вдруг помешают, но лучше было не рисковать. Морт сидел достаточно близко к окну, чтобы выглядывать на улицу, но достаточно далеко от косой границы тени, чтобы не опасаться случайных зрителей.

В руке у него был крошащийся красный кирпич.

Его Морт выковырял из наружной стены, из-под самого окна, где таких неплотно сидящих кирпичей было предостаточно. Кирпич был старый, выветрившийся по углам, но тяжелый. К нему, как ракушки к днищу корабля, пристали куски допотопной штукатурки.

Джек собирался сбросить этот кирпич кому-нибудь на голову.

Кому — не имело значения. Когда речь шла об убийстве, Джек Морт становился работодателем, предоставляющим равные шансы всем, независимо от пола, цвета кожи или вероисповедания.

Чуть погодя внизу на тротуаре появилась семья из трех человек: мужчина, женщина, маленькая девочка. Девочка шла с внутренней стороны, вдоль домов, вероятно, чтобы держаться в безопасном отдалении от потока машин — здесь, так близко от вокзала, движение было весьма оживленным. Впрочем, автомобили не волновали Джека Морта. Его беспокоило другое: прямо напротив, на другой стороне улицы, дома уже снесли, оставив пустырь, усеянный мешаниной обломков досок, битого кирпича и сверкающего стекла.

Высунуться было делом всего нескольких секунд, к тому же глаза Джека Морта прятались за солнечными очками, а рыжеватые волосы прикрывала не соответствующая времени года вязаная шапочка. Это было то же самое, что стул под ручкой двери. Даже когда учтенные опасности тебе не угрожают, не вредно уменьшить число тех, что остались неучтенными.

Еще Джек надел футболку, которая была ему сильно велика и доходила почти до середины бедер. Если бы его заметили, такое облачение-мешок помогло бы скрыть истинные размеры и очертания тела (Джек был очень худым). Оно служило и иной цели: всякий раз устраивая кому-нибудь «сброс глубинной бомбы» (ведь Джек всегда думал об этом именно так: «сброс глубинной бомбы»), он кончал в штаны. Мешковатая футболка заодно закрывала и пятно, неизменно образовывавшееся на джинсах.

Семья приближалась.

«Не пори горячку, еще рано, погоди, вот и все, погоди...»

Трепеща, Джек подобрался к краю окна, выставил кирпич наружу, отвел назад, к самому животу, опять выставил, опять убрал (на сей раз, однако, лишь на половину расстояния), а затем (теперь уже, как всегда в предпоследний момент, само спокойствие и хладнокровие) высунулся из окна.

Он сбросил кирпич и стал смотреть, как тот падает.

Кувыркаясь, кирпич полетел вниз. В солнечном свете Джеку отчетливо были видны приставшие к нему ракушки известкового раствора. В такие минуты все становилось четким и ясным, как никогда, обнаруживало свою точную, строгую, геометрически правильную суть — вот что выталкивал в реальность Джек Морт; так скульптор, взмахнув молотком, опускает его на стамеску, меняя камень, творя из неодушевленной грубой кальдеры [кальдера — котлообразная впадина с крутыми склонами, образовавшаяся вследствие провала вершины вулкана] некую новую сущность; возникала самая замечательная вещь на свете — логика, которая одновременно была и экстазом, исступлением, безудержным восторгом.

Порой Джек промахивался или задевал жертву по касательной — ведь скульптор, случается, ваяет скверно или впустую, — но сегодняшний бросок был безупречным. Кирпич попал девчонке в ярком полосатом льняном платьишке прямехонько в голову. Морт увидел брызнувшую кровь (она была ярче, чем кирпич, но в конце концов должна была засохнуть до такого же темного бордо). Услышал, как пронзительно закричала мать девочки. В следующий момент он сорвался с места.

Он пересек комнату и отшвырнул в дальний угол стул, подпиравший дверь (второй стул — тот, на котором он сидел, выжидая — Джек пинком отбросил в сторону, пробегая по комнате). Рывком задрав футболку, он вытащил из заднего кармана большой платок и воспользовался им, чтобы повернуть ручку.

Оставлять отпечатки пальцев воспрещается.

Только дураки, которым не хочется жить, оставляют отпечатки пальцев.

Дверь качнулась, открываясь, и Джек Морт немедленно затолкал платок обратно в задний карман. Напустив на себя вид человека, находящегося в легком подпитии, он двинулся по коридору шаткой походкой. Не озираясь.

Озирались тоже только дураки.

Умные люди знали, что попытки оглядеться и выяснить, не засек ли тебя кто-нибудь — самый верный способ обратить на себя внимание. Озирающийся человек — это именно то, что может запомнить свидетель несчастного случая. Потом какой-нибудь умник-легавый может счесть происшествие подозрительным, и начнется расследование. И все — из-за одного нервного взгляда по сторонам. Джек не думал, чтобы кто-нибудь сумел связать его с преступлением, даже сочтя «несчастный случай» внушающим подозрения, и расследование имело бы место, но...

Идти следует лишь на допустимый риск, прочее же сводить к минимуму. Иными словами, всегда подпирать дверь стулом.

Итак, Джек шагал по пыльному коридору, где из-под штукатурки пятнами проступала обрешетка. Он шел, опустив голову и что-то бормоча себе под нос, точно бездомный бродяга, уличный босяк. К нему все еще долетал истошный крик женщины (как полагал Джек, мамаши девчушки), но он несся со стороны фасада здания и был еле слышным, несущественным. Все, что происходило после — крики, суматоха, стоны раненого (если раненый еще мог стонать) значения для Джека не имело. Важно было другое, то, что вталкивало в обыденный ход вещей перемены и ваяло новые очертания течению жизней... а быть может, лепило по-новому судьбы не только жертв, но и того круга, что, ширясь, расходился от них, как расходится рябь по воде стоячего пруда, если зашвырнуть туда камень.

Кто мог с уверенностью утверждать, что Джек — не творец Вселенной, настоящий или будущий?

Боже, немудрено, что он кончил в джинсы.

Спустившись на два лестничных пролета, он никого не встретил, однако продолжал спектакль, чуть пошатываясь — но ни в коем случае не качаясь! — на ходу. Человека с нетвердой походкой не запомнят, но могут запомнить того, кто подчеркнуто не держится на ногах. Морт что-то бормотал, но в действительности никто не смог бы понять ни единого слова. Лучше вовсе не ломать комедию, чем перегнуть палку и все испортить.

Через разбитую дверь черного хода он выбрался в переулок, где было полно мусора, отбросов и битых бутылок, подмигивавших мириадами солнечных звездочек.

Отход Джек спланировал заранее, как планировал заранее все (идти только на приемлемый риск, свести к минимуму остальной, нигде не свалять дурака); именно привычка планировать была причиной того, что коллеги оценивали Джека, как человека, который далеко пойдет (и Джек действительно намеревался далеко пойти, но вот куда он идти не собирался, так это, среди прочего, в тюрьму и на электрический стул).

По улице, куда выходил переулок, бежали несколько человек, но они спешили узнать причину криков, и на Джека Морта, уже снявшего — нет, не темные очки, казавшиеся вполне уместными в такое ясное утро, а теплую не по сезону вязаную шапочку — никто не обратил внимания.

Он свернул в другой переулок.

Вышел на другую улицу.

Теперь он медленно, как бы прогуливаясь, шел по переулку, который был не таким грязным, как два предыдущих — собственно, это было что-то вроде узенькой улочки. Она вливалась в другую, пошире. Кварталом дальше находилась остановка. Меньше, чем через минуту после того, как Джек добрался туда, приехал автобус — расписание Морта учитывало и это. Дверь, сложившись гармошкой, открылась; Джек вошел и бросил в щель кассы свои пятнадцать центов. Водитель даже не взглянул на него. Неплохо, но и посмотрев на Джека, шофер увидел бы лишь неприметного человека в джинсах, возможно, безработного — его футболка выглядела так, точно появилась из мешка с тем старьем, что раздает Армия Спасения.

Собранность, деловитость и готовность всегда и ко всему.

Секрет успеха Джека Морта и на работе, и на отдыхе.

В девяти кварталах от остановки была автостоянка. Джек вышел из автобуса, зашел на стоянку, отпер свою машину (сделанный в середине пятидесятых, ничем не примечательный «Шевроле», который все еще был в отличной форме) и поехал обратно в Нью-Йорк-Сити.

Без помех.

Все это пронеслось перед глазами стрелка за какую-нибудь секунду. Прежде, чем его потрясенный рассудок сумел отгородиться от других картин, просто-напросто захлопнувшись, стрелок увидел еще кое-что. Не все, но довольно. Довольно.

Он увидел, как Морт вырезает ножом кусок четвертой страницы «Нью-Йорк Дэйли Миррор», нервно стараясь добиться того, чтобы лезвие шло строго по рамке колонки. Заголовок гласил: «ПОСЛЕ ТРАГИЧЕСКОГО ПРОИСШЕСТВИЯ ДЕВОЧКА-НЕГРИТЯНКА В КОМЕ». Роланд увидел, как Морт кисточкой, прикрепленной к пробке флакона с клеем, смазывает оборотную сторону вырезки. Увидел, как Морт помещает ее в центр пустой страницы специального альбома, который, судя по тому, какими пухлыми и разбухшими выглядели предыдущие страницы, содержал множество других вырезок из газет. Он увидел первые строки статьи: «Пятилетняя Одетта Холмс, прибывшая в Элизабеттаун (штат Нью-Джерси) отпраздновать радостное событие, стала жертвой жестокого и странного происшествия. Через два дня после свадьбы своей тети девочка с родными шла к вокзалу, как вдруг обвалившийся кирпич...»

Но ведь Морта связывал с ней не только этот случай, не так ли? Нет. О боги, нет.

Между этим утром и тем вечером, когда Одетта лишилась ног, прошли годы. Джек Морт сбросил великое множество предметов и толкнул великое множество людей.

Потом — опять Одетта.

В первый раз он столкнул кирпич на нее.

Во второй — толкнул ее под поезд.

«Какого же человека я должен использовать? Что же это за человек...»

Тут стрелок подумал о Джейке; о толчке, отправившем Джейка в его мир, и ему показалось, будто он слышит смех человека в черном. Это его доконало.

Роланд лишился чувств.

Очнувшись, он обнаружил, что смотрит на аккуратные ряды цифр, стройными колонками спускавшихся по листу зеленой бумаги. Бумага была разлинована и по горизонтали, и по вертикали, отчего каждая отдельно взятая цифра походила на узника в камере.

Он подумал: «Что-то еще».

Не только смешок Уолтера. Что-то... план?

Нет, боги, нет — ничего столь сложного или обнадеживающего.

Но на худой конец, идея. Крупица информации.

«Сколько времени я был без сознания? — с внезапным беспокойством подумал стрелок. — Когда я прошел в дверь, было часов девять... быть может, чуть меньше. Сколько?..»

Он вышел вперед.

Джек Морт (теперь он стал всего-навсего живой куклой, которой управлял стрелок) ненадолго оторвал взгляд от бумаг и увидел, что стрелки дорогих кварцевых часов на письменном столе показывают четверть второго.

«Так поздно? Боги! Так поздно? Но Эдди... он так устал, ему ни за что не продержаться так дол...»

Стрелок повернул голову Джека. Дверь еще не исчезла, однако то, что он увидел за ней, было куда хуже, чем он себе это представлял.

Сбоку от двери протянулись две неподвижных тени: одна — тень инвалидного кресла, другая — тень человекообразного существа... увечного человекообразного, опиравшегося на руки, поскольку ноги у него были отхвачены так же проворно и жестоко, как пальцы Роланда.

Эта тень пошевелилась.

В тот же миг Роланд быстрым, как удар плети или бросок атакующей змеи движением резко отвернул голову Джека Морта от двери.

«Она не должна смотреть в дверь, пока я не буду готов. До тех пор ей не будет видно ничего, кроме затылка этого человека».

Детта Уокер в любом случае не увидела бы Джека Морта — тот, кто глядел в открытую дверь, видел лишь то, что видел «хозяин», принявший стрелка в свое сознание. Лицо Морта она могла бы увидеть только в том случае, если бы он посмотрелся в зеркало (хотя это, возможно, привело бы к новым страшным последствиям, породив новый парадокс и вызвав повторение событий), но и тогда оно ничего не сказало бы ни одному из двух воплощений Владычицы; если уж на то пошло, и лицо Владычицы ничего не сказало бы Джеку Морту. Дважды успев вступить в опасно близкие отношения, они так ни разу и не увидели друг друга.

Стрелок не хотел другого: чтобы Владычица видела Владычицу.

По крайней мере, пока что.

Искра интуиции разрослась в нечто, близкое к плану.

Однако делалось поздно — освещение позволяло предположить, что уже три, а то и четыре часа дня.

Сколько времени до заката, с которым придут гигантские омары, и жизнь Эдди оборвется?

Три часа?

Два?

Можно было вернуться и попытаться спасти Эдди... но именно этого и хотела Детта. Она расставила ловушку в точности, как селяне, опасающиеся, что страшный волк выследит жертвенного ягненка и уволочет за тридевять земель. Роланд вернулся бы в свое больное тело... но ненадолго. Причина, по которой он видел только тень женщины, заключалась в том, что Детта лежала подле двери, зажав в кулаке его револьвер. Стоит Роланду-телу шелохнуться, и в тот же миг выстрел унесет его жизнь.

Она боялась стрелка, и оттого его ждала легкая смерть.

Смерть Эдди должна была стать беспросветным ужасом.

Роланду почудилось, что он слышит мерзкий, подсмеивающийся голос Детты Уокер:

«Хочешь наехать на меня, сволочь белопузая? Конечно, хочешь наехать! Ты черномазой старушонки-калеки не боишься, верно?»

— Только один способ, — бормотали губы Джека. — Только один.

Дверь офиса открылась, в комнату заглянул лысый мужчина в очках.

— Как дела с финансовым отчетом Дорфмана? — спросил лысый.

— Мне что-то нездоровится. Думаю, виноват ленч. Пожалуй, мне надо бы уйти.

Казалось, лысый встревожился.

— Вероятно, вирус. Я слышал, сейчас ходит какая-то гадость.

— Вероятно.

— Ну что ж... если завтра к пяти часам вы закончите с дорфмановой дрянью...

— Да.

— Вы ведь знаете, каким он умеет быть мудаком...

— Да.

Лысый (судя по его виду, теперь он чувствовал себя несколько неловко) кивнул:

— Да-да, идите домой. Вы совсем на себя не похожи.

— Да, я совершенно не в своей тарелке.

Лысый поспешно вышел.

«Он почувствовал меня, — подумал стрелок. — Отчасти дело в этом. Но не только в этом. Они боятся этого человека. Боятся, сами не зная, почему. И правильно делают, что боятся».

Телесная оболочка Джека Морта поднялась, отыскала чемоданчик, который был у Джека в руке, когда в его сознание вторгся стрелок, и смела туда все до единой бумаги с поверхности стола.

Роланд почувствовал сильнейшее желание украдкой оглянуться на дверь, но устоял. Он посмотрит на дверь только тогда, когда будет готов рискнуть всем и вернуться.

Между тем времени оставалось мало, а следовало еще кое-что сделать.

2. ГОРШОЧЕК С МЕДОМ

Детта залегла в сильно затененной расщелине, образованной валунами, которые клонились один к другому, точно старики, обращенные в камень в тот момент, когда делились друг с другом некой роковой тайной. Она следила за Эдди — тот рыскал вверх и вниз по усеянным камнями склонам холмов, крича до хрипоты. Утиный пух на его щеках наконец начал превращаться в бороду, и Эдди можно было принять за зрелого мужчину — исключение составляли те три или четыре раза, когда Эдди прошел совсем рядом с Деттой (один раз он подошел так близко, что она, проворно высунув руку, могла бы схватить его за лодыжку). Стоило Эдди приблизиться, и вы видели: это по-прежнему всего-навсего пацан, и притом уставший, как собака.

Одетта пожалела бы его. Детта чувствовала только спокойную, подобную сжатой пружине, готовность настоящего хищника — хищника по природе.

Когда она только заползла сюда, то почувствовала: под руками что-то тихонько потрескивает — так, как хрустят старые осенние листья в дупле лесного дерева. Глаза привыкли к темноте, и Детта увидела, что это не листья, а крошечные косточки мелких зверюшек. Когда-то здесь было логово хищника, ласки или хорька, давно сгинувшего, если древние пожелтевшие остовы не лгали. Быть может, по ночам он выходил и шел туда, куда вел его нос — вверх по холмам, к Оврагам; туда, где деревья и подлесок были гуще... шел, ведомый нюхом, к жертве. Он убивал свою добычу, насыщался, остатки же приносил сюда, чтобы было чем перекусить на следующий день, лежа в ожидании ночи, с которой придет время новой охоты.

Сейчас в расщелине находился более крупный хищник. Сначала Детта думала поступить вполне в духе предыдущего обитателя берлоги: дождаться, пока Эдди уснет (что он должен был сделать почти наверняка), убить его, а труп затащить сюда. Затем, завладев обоими револьверами, снова дотащиться до двери и подождать возвращения Настоящего Гада. Первой ее мыслью было, разделавшись с Эдди, сразу же прикончить тело Настоящего Гада — но это ничего не давало, не так ли? Если Настоящий Гад лишится тела, в которое он мог бы вернуться, Детте ни за что не выбраться отсюда в свой мир.

Можно ли заставить Настоящего Гада забрать ее обратно?

Возможно, нельзя.

Но, быть может, все-таки можно.

Быть может, если Настоящий Гад поймет, что Эдди еще жив...

И это навело Детту на гораздо лучшую мысль.

Детта была очень и очень хитра, однако (пусть она жестоко посмеялась бы над всяким, кто посмел бы высказать подобное предположение) не только очень хитра — она была к тому же очень неуверенна в себе и по причине последнего приписывала первое каждому встречному-поперечному, чей интеллект, как ей казалось, по уровню приближался к ее собственному. В том числе и стрелку. Услышав выстрел, она посмотрела и увидела дымок, поднимавшийся от дула оставшегося у Роланда револьвера. Уже совсем собравшись пройти в дверь, стрелок перезарядил его и перебросил Эдди.

Детта понимала, что этот выстрел должен означать для Эдди: отсырели не все патроны, револьвер его защитит. Что выстрел должен означать для нее (ведь Настоящий Гад, разумеется, знал, что она следит за ними — даже проспи она начало ихнего с Эдди трепа, выстрел разбудил бы ее), она тоже понимала: «Держись от парня подальше. При нем пушка».

Но бесы, бывает, способны действовать тонко.

Раз это маленькое представление устроили ради нее, не было ли у Настоящего Гада на уме и другой цели — цели, понять которую ни она, ни Эдди не должны были? Уж не думал ли он, что если она увидит, что этот револьвер стреляет хорошими патронами, то решит, будто так же дело обстоит и с другим, с тем, который ей отдал Эдди?

Но, предположим, он сообразил, что Эдди задремлет? Разве он не догадается, что того-то она и ждет; ждет, чтобы стянуть револьвер и медленно уползти вверх по склонам, в безопасность? Да, возможно, Настоящий Гад все это предвидел. Для беложопого он был смекалистым. Достаточно умным, чтобы понять: Детта намерена взять верх над белым мальчоночкой.

А значит, Настоящий Гад попросту мог нарочно зарядить револьвер плохими патронами. Однажды он уже одурачил Детту; почему бы снова не обвести ее вокруг пальца? На сей раз Детта не поленилась проверить, чем заполнен барабан — пустыми стреляными гильзами или чем-нибудь посерьезнее — и пули показались ей настоящими, да; однако это не означало, что так оно и есть. Ведь Настоящий Гад не мог рискнуть даже тем, что хоть один патрон окажется достаточно сухим, чтобы выстрелить. Быть может, он что-то с ними сделал (в конце концов, револьверы — его бизнес). Зачем? Ну как же — разумеется, чтобы обманом заставить ее обнаружить себя! Тогда Эдди возьмет ее на мушку того револьвера, который действительно стреляет, и, усталый или нет, не повторит свою прежнюю ошибку. Собственно, Эдди постарается избежать этого главным образом именно потому, что устал.

«Хорошая попытка, беложопый, — думала Детта в своем тенистом логове, в этом тесном, но по непонятной причине успокаивающем темном местечке, где землю ковром устилали размягчившиеся, гниющие косточки мелких зверюшек. — Классная попытка, но меня на такое дерьмо не купишь».

В конце концов, стрелять в Эдди не требовалось. Требовалось только ждать.

Детта опасалась только одного: как бы стрелок не вернулся раньше, чем Эдди уснет. Однако стрелка все не было. Безвольное тело у подножия двери не шевелилось. Не исключено, что с добыванием нужного лекарства возникли сложности... насколько понимала Детта, сложности какого-то иного рода. Мужики вроде этого находят неприятности так же запросто, как сука в течку — похотливого кобеля.

Прошло два часа. Эдди бродил вверх и вниз по невысоким холмам в поисках женщины, которую называл «Одеттой» (о, как Детта ненавидела звук этого имени), надсаживаясь так, что в конце концов потерял голос и кричать стало нечем.

Наконец Эдди сделал то, чего она дожидалась: спустился на песчаный клинышек и, безутешно оглядываясь по сторонам, сел рядом с инвалидным креслом. Юноша тронул колесо — почти ласково, словно погладил. Потом рука Эдди соскользнула, и он испустил глубокий вздох.

При виде этого в горле у Детты заныло, появился металлический привкус; в голове полыхнула-метнулась летняя зарница острой боли; почудился некий зовущий голос... зовущий, а может быть, настойчивый и вопрошающий.

«А вот и нет, — подумала она, понятия не имея, кого имеет в виду или к кому обращается. — Нет, ничего у тебя не выйдет, не в этот раз, не сейчас. Не сейчас, а может быть, уже никогда». Голову опять вспорола стрела боли, и Детта сжала кулаки. Ее лицо тоже сжалось в своего рода кулак, его исказила глумливая гримаса сосредоточенности — выражение удивительное и приковывающее к себе внимание смесью злобы и почти блаженной решимости.

Пронизывающая боль не возвращалась. Как и голос — тот, что порой, мнилось Детте, говорил с ней во время таких приступов.

Она ждала.

Эдди подпер подбородок кулаками, и все равно голова его вскоре начала клониться на грудь, а кулаки поехали вверх по щекам. Детта ждала; черные глаза мерцали.

Голова Эдди дернулась кверху. С трудом поднявшись на ноги, молодой человек спустился к морю и плеснул себе в лицо водой.

«Правильно, молодой-холостой. До смерти досадно, что у них тут нету таблеток от сна, а то ты бы и их нажрался, верно?»

Эдди, усевшийся теперь уже в инвалидное кресло, очевидно, обнаружил, что устроился немного слишком удобно. Поэтому после долгого взгляда в открытую дверь (что ж ты там видишь, сопляк белопузый? Расскажи — получишь двадцатку, Детта хочет знать, что там) он опять плюхнулся задом на песок.

Снова подпер голову руками.

И вскоре опять начал клевать носом.

На сей раз беспрепятственно. Подбородок Эдди лег на грудь, а храп молодого человека Детта услышала даже сквозь шум прибоя. Очень скоро Эдди повалился на бок и свернулся калачиком.

Почувствовав внезапный укол жалости к лежащему внизу белому парню, Детта была удивлена, раздражена и испугана. Эдди походил всего лишь на маленького нахала, который в новогоднюю ночь силился не заснуть до полуночи, но сошел с круга. Потом Детта вспомнила, как этот сопляк с Настоящим Гадом пытались заставить ее проглотить отравленную еду и дразнили своей, хорошей, всякий раз в последнюю секунду выхватывая кусок у нее из-под носа... по крайней мере до тех пор, пока не перепугались, что она может отдать концы.

Если они испугались, что ты можешь умереть, почему прежде всего они попытались отравить тебя?

Вопрос напугал Детту не меньше, чем мимолетное чувство жалости. Она не привыкла задавать себе вопросы, и более того, звучавший у нее в голове вопрошающий голос, кажется, вовсе не походил на ее собственный.

«Стало быть, ухандокать меня этой отравленной жратвой они не хотели. Хотели, чтоб мне поплохело, вот и все. Чтоб сидеть тут и ржать, покамест я буду блевать да стонать, вот чего».

Выждав минут двадцать, она двинулась вниз, к песку, цепляясь пальцами за землю, подтягиваясь на сильных руках, по-змеиному извиваясь и ни на секунду не спуская глаз с Эдди. Она предпочла бы подождать еще часок, даже полчаса: лучше бы сопливый гаденыш углубился в царство снов не на одну-две мили, а на десяток. Но Детта просто не могла себе позволить такую роскошь, как ожидание. Настоящий Гад мог вернуться в любой момент.

Приближаясь к тому месту, где лежал Эдди (он все храпел; звук напоминал жужжание циркулярной пилы, которая вот-вот сдохнет), она подобрала обломок камня, подходяще гладкий с одной стороны и подходяще зазубренный — с другой.

Ее ладонь обхватила гладкий бок камня, и Детта, с тусклым блеском убийства в глазах, ползком двинулась дальше, туда, где лежал Эдди.

План действий Детты был жесток и прост: изо всех сил бить Эдди зазубренной стороной камня до тех пор, пока и он не станет таким же мертвым, бесчувственным и недвижным, как камень. Тогда она заберет револьвер и дождется возвращения Роланда.

Когда его тело примет сидячее положение, Детта предоставит Роланду выбирать: вернуть ее в ее родной мир или отказаться и быть убитым. «Тебе со мной все равно подыхать, заинька, — скажет она. — А хахаль твой приказал долго жить, стало быть, из того, про что ты тут языком махал — дескать, хочу то, хочу се — ничего боле не выйдет».

Если бы револьвер, который Настоящий Гад дал Эдди, не сработал (такая возможность существовала — Детта никогда не встречала человека, которого бы боялась и ненавидела так, как Роланда; она считала его способным на любую низость, на любое коварство), она бы все равно разделалась со стрелком, прикончив его камнем или же голыми руками. Стрелок был болен, у него недоставало двух пальцев — Детта сумела бы справиться с ним.

Но когда она приблизилась к Эдди, ей в голову пришла тревожная мысль. Это был еще один вопрос, и его опять задал голос, показавшийся чужим.

А что если он узнает? Если в ту же секунду, как ты убьешь Эдди, он узнает, что ты сделала?

«Ни фига он не узнает. Больно уж занят тем, чтоб надыбать свое лекарство. И перепихнуться, насколько мне известно».

Чужой голос не ответил, однако семя сомнения было заронено. Детта слышала, как они толковали, думая, будто она спит. Настоящему Гаду непременно нужно было что-то сделать. Что именно — Детта не знала. Ей было известно одно: это имеет какое-то отношение к какой-то башне. Не исключено, что Настоящий Гад считал эту башню полной золота, или брильянтов, или чего-то в этом роде. Чтобы добраться до башни, сказал он, ему необходимы Детта, Эдди и кто-то еще. Детта догадывалась, что, наверное, так и есть. Иначе что здесь делать этим дверям?

Если это было колдовство, то, убей она Эдди, Настоящий Гад мог узнать об этом. Детте казалось, что, похерив дорогу к башне, она, возможно, похерила бы единственное, ради чего жил этот беложопый кобелина. А ежели этот козел узнает, что жить больше незачем, он может сотворить что угодно — ведь на все прочее ему насрать с высокой горки.

При мысли о том, что может случиться, если Настоящий Гад вернется так, Детта невольно задрожала.

А если убить Эдди нельзя, что же делать? Револьвер-то можно забрать и пока Эдди спит, но вернется Настоящий Гад, и что тогда? Справится ли она с ними обоими?

Детта просто не знала.

Ее взгляд коснулся инвалидного кресла, заскользил прочь, и вдруг быстро вернулся. На кожаной спинке был глубокий карман. Оттуда торчал моток веревки, которой Детту привязывали к креслу.

Глядя на этот моток, Детта поняла, как можно все устроить.

Изменив курс, она поползла к бессильному, неподвижному телу стрелка. Она собиралась взять все необходимое из рюкзака, который Роланд называл своим «кошелем», и побыстрее завладеть веревкой... но на миг застыла у двери, как вкопанная.

Детта, как и Эдди, переводила увиденное на язык кинолент... впрочем, представшее ее взору зрелище больше напоминало детективную телепостановку. Декорация представляла собой большую аптеку. Перед Деттой был провизор, казавшийся перепуганным до одури, но Детта его не винила: прямо в лицо аптекарю смотрело дуло револьвера. Аптекарь что-то говорил, но его голос был далеким, искаженным, словно доносился к ней сквозь поглощающие звук перегородки. Слов Детта не разбирала. И не видела, кто держит револьвер. Впрочем, на самом деле видеть грабителя ей было не обязательно, разве не так? Ясное дело, она знала, кто он.

Это был Настоящий Гад.

«Там он, может, с виду совсем не он, там он может даже на кургузый мешок с дерьмом смахивать, даже на одного из наших, из черных братьев, внутри-то это все одно он, факт. Недолго же он искал новый шпалер, а? Готова спорить, пушку надыбать за ним никогда не заржавеет. Надо пошевеливаться, Детта Уокер».

Она открыла кошель Роланда. Потянуло слабым, вызывающим ностальгию ароматом давно припасенного, но теперь давно уже истраченного табака. В определенном отношении кошель очень напоминал дамскую сумку, заполненную великим множеством сваленных как попало и случайных на первый взгляд вещиц... однако, вглядевшись повнимательнее, вы видели дорожное снаряжение человека, готового практически к любой неожиданности.

Детте пришло в голову, что Настоящий Гад идет к своей Башне изрядно давно. Если так, стоило подивиться уже тому только, сколько шмутья (среди которого попадались и вовсе бросовые вещи) все еще остается в кошеле.

«Пошевеливайся, Детта Уокер».

Взяв то, что ей было нужно, она неслышно, по-змеиному пробралась к инвалидному креслу. Очутившись подле него, она оперлась на руку и, точно рыбачка, сматывающая линек, вытянула веревку из пришитого к спинке кармана, то и дело оглядываясь на Эдди — просто, чтобы убедиться, что он спит.

Юноша так и не пошевелился, пока Детта не накинула ему на шею петлю и не затянула ее.

Его волокли спиной вперед. Поначалу Эдди подумал, что все еще спит и видит жуткий сон, в котором его не то хоронят заживо, не то душат.

Потом он ощутил острую боль от врезавшейся в шею петли и тепло слюны, побежавшей по подбородку, когда он стал давиться. Это был не сон. Вцепившись в веревку, Эдди попытался встать на ноги.

Сильные руки Детты крепко рванули веревку. Эдди шлепнулся на спину. Его лицо начинало багроветь.

— Ты это брось! — прошипела у него за спиной Детта. — Уймешься — будешь жить, а нет — удавлю.

Эдди опустил руки и попытался сохранять неподвижность. Скользящая петля, которую набросила ему на шею Одетта, ослабла — как раз настолько, чтобы он смог втянуть тоненькую, обжигающую струйку воздуха. Сказать на этот счет можно было только одно: лучше так, чем совсем не дышать.

Когда паническое биение сердца Эдди чуть замедлилось, он попытался оглядеться. В тот же миг петля снова туго затянулась.

— Спокойно. Валяй, осматривай океанский пейзаж, сволочь белопузая. А на что другое тебе щас и глядеть не захочется.

Эдди снова отвернулся к океану, и узел ослаб, позволив ему еще раз сделать несколько скупых, обжигающих глотков воздуха. Левая рука Эдди тайком поползла вниз, к поясу штанов (Детта, впрочем, заметила это движение и, хоть Эдди того не знал, усмехалась). За поясом ничего не было. Она забрала револьвер.

«Она подкралась к тебе, пока ты спал, Эдди». — Разумеется, голос принадлежал стрелку. — «Твердить сейчас, что я тебя предупреждал об этом, проку нет, но... я тебя предупреждал. Вот они, плоды романтики: на шее — петля, а где-то за спиной — сумасшедшая с двумя револьверами».

«Но если бы она собиралась меня убить, то уже сделала бы это. Она убила бы меня, пока я спал».

«А что, по-твоему, она собирается сделать, Эдди? Вручить тебе путевку в Дисней-Уорлд на два лица с оплатой всех расходов?»

— Послушай, — сказал молодой человек. — Одетта...

Едва это имя слетело с его губ, петля затянулась вновь, беспощадно-туго.

— Не хрена меня так называть. Еще раз назови — больше никого никогда никак не назовешь. Меня звать Детта Уокер, и коли-ежели, говно отбеленное, тебе охота подышать еще немного, лучше запомни это!

Эдди захрипел, стал давиться и вцепился в петлю. Перед глазами большими черными пятнами, похожими на зловещие цветы, начало распускаться ничто.

Наконец обвивавшая его шею тесьма опять ослабла.

— Усвоил, сука белая?

— Да, — выговорил он, но это был лишь задушенный хрип.

— Тогда скажи. Скажи, как меня звать.

— Детта.

— Скажи полное имя! — В голосе Детты дрожала опасная истерия, и в этот миг Эдди порадовался, что не видит своей собеседницы.

— Детта Уокер.

— Хорошо. — Петля ослабла еще немного. — А теперь слушай меня, лебедь белый, да хорошенько, коли хочешь дожить до заката. Не пробуй умничать — я уж видела, как ты, змей подколодный, пытался тайком добраться до той пушки, что я у тебя забрала, покамест ты дрых. Брось, потому как Детта — она все видит. Только чего надумаешь, а она уж видит, что у тебя на уме. Будь спок. А что у меня ног нету — ничего не значит, ты все равно умничать-то не пробуй. Я, с тех пор, как обезножела, много чему выучилась. Обе пушки козла беложопого теперь при мне, а это чего-нибудь да стоит, как по-твоему?

— Да, — прохрипел Эдди. — Умничать мне неохота.

— Ну хорошо. Очень хорошо. — Детта заклохтала от смеха. — Покамест ты дрых, я, стерва такая, была сильно занята. И все рассчитала. Вот что мне от тебя надо, лебедь белый: суй руки за спину и щупай, пока не найдешь петлю — такую же, как я тебе надела на шеяку. Петель будет три. Пока ты, лодырь, сны смотрел, я узлы вязала! — Она опять закудахтала от смеха. — Нащупаешь петлю — сложишь руки вместе и просунешь туда. Потом ты почувствуешь, как моя рука натуго затягивает узел. Тут ты себе скажешь: «Вот он, шанец охомутать эту черномазую стерву. Вот щас, покамест она не ухватилась за веревку как следует». Но... — тут голос Детты, карикатурный голос негритянки с Юга, зазвучал приглушенно, — ...поспешишь — людей насмешишь. Сперва лучше оглядись.

Эдди огляделся. Детта больше, чем когда-либо, походила на ведьму: замурзанное, всклокоченное существо, способное вселить страх в куда более отважные сердца. То платье, что было на ней в универмаге Мэйси, откуда стрелок ее похитил, теперь превратилось в грязные лохмотья. Воспользовавшись взятым из кошеля стрелка ножом (которым Роланд разрезал удерживавшую пакеты с кокаином маскировочную липкую ленту), Детта прорезала платье еще в двух местах, и прямо над выпуклостью бедер получились импровизированные кобуры. Оттуда высовывались потертые рукояти револьверов стрелка.

Голос звучал приглушенно оттого, что в зубах у Детты была зажата веревка. Из одного угла ухмыляющегося рта торчал ее короткий хвостик (видно было, что пенька перерезана недавно), с другой стороны высовывалось остальное — часть, тянувшаяся к петле вокруг шеи Эдди. В этой картине, в схваченной ухмыляющимися губами веревке, было что-то столь хищное и варварское, что Эдди оцепенел, уставясь на Детту с ужасом, от которого ее ухмылка стала только шире.

— Попробуй поумничать, покамест я буду заниматься твоими грабками, — невнятно проговорила она, — я тебе дыхалку зубами пережму, сволочь белая. И тогда уж не отпущу. Понял?

Эдди не стал полагаться на свое красноречие и только кивнул.

— Ладненько. В конце концов, может, ты и проживешь чуток подольше.

— А если нет, — хрипло прокаркал Эдди, — тебе придется навсегда забыть про удовольствие воровать в Мэйси, Детта. Потому что он узнает об этом, и тогда мы все остаемся у разбитого корыта.

— Придержи язык, — сказала (почти промурлыкала) Детта. — Придержи язык. Пусть думают те ребята, кто это умеет. А твое дело — нащупать вторую петлю, больше ничего.

Пока ты сны смотрел, я узлы вязала, сказала Детта. К своему неудовольствию и все возрастающей тревоге Эдди обнаружил: она хотела сказать именно то, что сказала. Веревка превратилась в цепочку из трех скользящих узлов. Первую петлю Детта накинула ему на шею, пока он спал. Вторая надежно связала кисти рук Эдди за спиной. Грубо толкнув молодого человека в бок, Детта перевернула его на живот и велела поднять ноги — так, чтобы пятки коснулись ягодиц. Сообразив, к чему это ведет, Эдди заартачился. Детта вытащила из прорехи в платье револьвер Роланда. Она взвела курок и прижала дуло к виску юноши.

— Давай делай, что сказано, а то как бы я чего не сделала, сволочь белопузая, — сказала она все тем же мурлычущим голосом. — Только если я чего-нибудь сделаю, ты окочуришься. Мозги, что с той стороны твоей башки вытекут, я просто присыплю песочком, а дырку прикрою волосами. Он и подумает, что ты бай-бай! — Она опять фыркнула от смеха.

Эдди задрал ноги, и Детта поспешно закрепила третью петлю вокруг его лодыжек.

— Вот так. Увязали, как теленочка на родэ-э-о.

Описание не хуже всякого другого, подумал Эдди. Попытайся он опустить ноги из положения, которое уже становилось неудобным, удерживавший лодыжки узел затянулся бы еще туже. Тогда отрезок веревки между лодыжками и запястьями натянулся бы еще сильнее, затянув, в свою очередь, и тот скользящий узел, и веревку между запястьями и петлей, наброшенной Деттой ему на шею, и...

Детта тащила его — непонятным образом волокла по песку к воде.

— Эй! Какого...

Эдди попробовал податься назад и почувствовал: петли затягиваются, а вместе с этим уменьшается и его способность дышать. Он расслабился, насколько это было возможно (ноги-то держи кверху, не забывай, болван: опустишь копыта достаточно низко — удавишься), не препятствуя Детте, которая волокла его по шероховатой земле. Острый камень ободрал ему щеку, потекла теплая кровь. Дыхание Детты было частым, тяжелым. Шум волн и гулкий грохот налетающего на камни прибоя звучали все громче.

Боже милостивый, что она собирается делать? Утопить меня?

Нет, конечно, нет. Он подумал, что понимает, чего хочет Детта, даже раньше, чем пропахал лицом спутанные бурые водоросли, которыми была отмечена граница прилива — мертвую, разящую солью дрянь, холодную, как пальцы утонувших моряков.

Он вспомнил Генри. Однажды тот рассказывал: «Бывало, подстрелят одного из наших — американца, я хочу сказать, они знали, что за поганым азиатом никто в кусты не полезет, разве что какой салага, только-только из Штатов — продырявят брюхо, оставят орать и срезают тех парней, что пытаются его выручить. И так пока бедолага не отдаст концы. Знаешь, как они говорили про таких ребят, Эдди?»

Эдди потряс головой, похолодев от представившейся ему картины.

— Горшочки с медом, — сказал тогда Генри. — Приманка. Сладкая, чтобы привлечь мух. А может, даже медведя.

Этим сейчас и занималась Детта: использовала его в качестве горшочка с медом.

Она бросила Эдди примерно семью футами ниже границы полного прилива, бросила без единого слова, лицом к океану. Стоял час отлива. Заглянув в дверь, стрелок должен был увидеть не прилив, подступающий к берегу, чтобы утопить Эдди — нет, до возвращения волны оставалось еще шесть часов. И задолго до этого...

Эдди повел глазами вверх и увидел, что солнце дробится на поверхности океана длинной золотой дорожкой. Который час? Четыре? Около того. Закат — примерно в семь.

Беспокоиться насчет прилива не придется: стемнеет намного раньше.

А когда придет тьма, из воды, покачиваясь на волнах, появятся гигантские омары; о чем-то спрашивая, они поползут по песку туда, где, связанный и беспомощный, будет лежать Эдди — и разорвут его на части.

Для Эдди Дийна время тянулось нескончаемо долго. Само понятие времени превратилось в анекдот. Даже ужас перед тем, что должно было случиться с ним после наступления темноты, поблек, когда в ногах запульсировало от неловкой позы и это ощущение дискомфорта медленно, но верно стало набирать силу, превращаясь сперва в острую и, наконец, в изуверски мучительную боль. Эдди расслаблял мышцы, туго затягивая все узлы — но, оказываясь на грани удушения, умудрялся вновь подтянуть лодыжки кверху, так, что давление уменьшалось, позволяя дыханию частично восстановиться. Он потерял уверенность в том, что дотянет до темноты. Мог наступить такой момент, когда он просто окажется неспособен в очередной раз поднять ноги.

3. РОЛАНД ДОБЫВАЕТ ЛЕКАРСТВО

Теперь Джек Морт знал, что стрелок здесь. Будь на его месте кто-нибудь другой — некий Эдди Дийн, например, или одна особа по имени Одетта Уокер — Роланд вступил бы с ним в переговоры, пусть даже только для того, чтобы смягчить панику и замешательство, естественные в ситуации, когда обнаруживаешь, что твое «я» грубо выпихивают на пассажирское сиденье тела, которым всю жизнь управлял твой интеллект.

Но поскольку Морт был чудовищем (каким никогда не была и никогда не сумела бы стать Детта Уокер), стрелок не сделал попытки объясниться или вообще заговорить. Он слышал возмущенные протесты этого человека — «Кто ты? Что со мной происходит?» — но игнорировал их. Без сожалений используя его сознание, стрелок сосредоточился на коротком перечне необходимых дел. Протесты перешли в пронзительные крики ужаса. Стрелок, ничтоже сумняшеся, по-прежнему оставил их без внимания.

Остаться в подобном червятнику сознании этого человека можно было лишь одним способом: рассматривая его, как комбинацию атласа с энциклопедией, не более. Морт обладал всей необходимой Роланду информацией. Составленному стрелком плану недоставало тонкости, однако черновик частенько оказывается лучше гладенького беловика. Когда речь шла о составлении планов, во всей Вселенной не найти было двух более разных существ, чем Роланд и Джек Морт.

Планируя грубо, вчерне, получаешь место для импровизации. А в импровизации Роланд всегда был силен.

Вместе с ними в лифт сел какой-то толстяк. Глаза у него, как и у лысого мужчины, пятью минутами раньше просунувшего голову в двери офиса Морта, были прикрыты линзами («Мортципедия» определяла их как «очки»; похоже, в мире Эдди «очки» носили очень многие). Он посмотрел на «дипломат» в руке человека, которого считал Джеком Мортом, потом на самого Морта.

— Идете к Дорфману, Джек?

Стрелок ничего не сказал.

— Если вы думаете, будто сумеете отговорить его от субаренды, то могу вас заверить, что это — напрасная трата времени, — сказал толстяк и заморгал: его коллега поспешно шагнул назад. Двери небольшой будки закрылись, и внезапно началось падение.

Не обращая внимания на истошные, пронзительные крики, Роланд вцепился в сознание Морта и обнаружил, что ничего страшного не происходит. Падение было управляемым.

— Прошу прощения, если я был бестактным, — сказал толстяк. Стрелок подумал: «Этот тоже боится». — Вы справились с этим идиотом лучше всех в фирме, вот что я думаю.

Стрелок молчал. Он ждал одного: оказаться вне этого падающего гроба.

— И говорю, — с жаром продолжал толстый. — Да что там, только вчера я обедал с...

Голова Джека Морта повернулась. Сквозь очки в золотой оправе на толстяка уставились глаза — голубые, но словно бы чуть иного оттенка, чем всегда.

— Заткнись, — без выражения сказал стрелок.

Краска сбежала с лица толстяка. Он сделал два быстрых шажка назад и уперся отвислыми дряблыми ягодицами в поддельные деревянные панели задней стенки небольшого движущегося гроба, который вдруг остановился. Двери открылись, и стрелок, одетый в тело Джека Морта как в тесно облегающий костюм, не оглядываясь, вышел. Держа палец на кнопке ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ, толстяк подождал в лифте, чтобы Морт скрылся из вида. «У него всегда винтиков не хватало, — думал толстяк, — но это может быть серьезно. Это может быть нервный срыв, расстройство».

Мысль о Джеке Морте, надежно упрятанном куда-нибудь в «санаторий», показалась ему весьма утешительной.

Стрелок не удивился бы.

Где-то между гулким помещением («Мортципедия» определяла его как вестибюль, то есть место для входа и выхода из контор, заполнявших эту упиравшуюся в небо башню) и залитой ярким солнечным светом улицей (улицу «Мортципедия» идентифицировала одновременно как Шестую и Всеамериканскую авеню) вопли хозяина занятого Роландом тела прекратились. Не потому, что Морт умер от испуга — некое глубинное чутье, ничем не отличавшееся от точного знания, подсказывало стрелку, что если бы Морт погиб, их ка оказались бы навечно изгнаны за пределы всех физических миров, туда, где нет никаких вариантов. Джек Морт не умер — он лишился чувств. Лишился чувств от непосильного бремени жутких и странных событий, как случилось с самим Роландом, когда, вторгшись в сознание этого человека, он раскрыл его тайны и обнаружил скрещенье судеб, слишком потрясающее, чтобы быть случайным.

Стрелок был рад, что Морт лишился чувств. Покуда бессознательное состояние этого человека не влияло на возможность доступа к его знаниям и памяти, Роланд был только рад, что он ему не мешает.

Желтые машины оказались общественными наемными экипажами, именуемыми «Тах-Си», или «Кэбами», или «Тачками». Возницы, сообщила Роланду «Мортципедия», делились на два племени: Испашек и Жидяр. Чтобы остановить такой экипаж, следовало тянуть руку вверх, как ученику в классной комнате.

Роланд последовал инструкции. После того, как несколько явно пустых (если не считать шофера) Тах-Си проехало мимо, он заметил на них таблички «Посадки нет». Это были Великие Буквы, и помощь Морта не понадобилась. Он выждал и опять поднял руку. На этот раз Тах-Си подъехало. Стрелок забрался на заднее сиденье. Он почувствовал слабый запах табака, застарелого пота, выветрившихся духов. Так же пахли дилижансы в родном Роланду мире.

— Куда, дружище? — спросил водитель. Роланд понятия не имел, к какому племени, Испашек или Жидяр, принадлежит этот человек, и не собирался выяснять. Здесь это могло быть неучтиво.

— Точно не знаю, — сказал Роланд.

— Это не сеанс групповой психотерапии, дружище. Время — деньги.

«Вели ему опустить флажок», — подсказала «Мортципедия».

— Опусти флажок, — сказал Роланд.

— Только время зря теряем, — отозвался водитель.

«Скажи, что дашь на чай пятерку», — посоветовала «Мортципедия».

— Пятерку на чай, — сказал Роланд.

— Давай поглядим, — отозвался водитель. — За так и прыщ не вскочит. Музыку заказывает тот, кто платит.

«Спроси, чего он хочет: заработать или пойти на хер», — немедленно посоветовала «Мортципедия».

— Ты чего хочешь: заработать или на хер прогуляться? — холодным мертвым голосом поинтересовался Роланд.

Шофер на миг с опаской взглянул в зеркало заднего вида и больше ничего не сказал.

Теперь Роланд более полно сверился с запасом знаний, накопленным Джеком Мортом. Шофер бросал быстрые взгляды наверх: добрых пятнадцать секунд его пассажир просидел, чуть пригнув голову и охватив лоб ладонью, точно маялся экседриновой головной болью. Водила уже решил сказать парню, чтобы вылезал, не то он покричит фараона, но тут пассажир поднял глаза и мягко проговорил: «На угол Сорок девятой улицы и Седьмой авеню, пожалуйста. Неважно, какого вы племени — я заплачу вам за эту поездку десять долларов сверх счетчика».

«С приветом, — подумал шофер (белый англо-сакс, протестант из Вермонта, пытающийся пробиться в шоу-бизнес), — но, может, богач с приветом». Он тронул с места. «Приятель, мы уже на месте!» — объявил он и, вливаясь в поток машин, мысленно прибавил: «И чем скорей мы там будем, тем лучше».

Импровизировать. Вот нужное слово.

Выйдя из такси, стрелок увидел припаркованную кварталом дальше сине-белую машину и, не сверяясь с мортовым хранилищем знаний, прочел «Полиция» как «Поссия». В машине что-то пили из белых бумажных стаканов — уж не кофе ли? — два стрелка. Да, стрелки — однако они выглядели раскормленными и слабыми.

Он залез в бумажник Джека Морта (правда, бумажник этот был слишком мал, чтобы считаться настоящим бумажником; настоящий бумажник по размерам немногим уступал кошелю и мог вместить весь скарб того, кто путешествует не слишком тяжело нагруженным) и подал водителю банкноту с цифрами 2 и 0. Таксист быстро уехал. Бесспорно, чаевые были самыми крупными за день, зато клиент — таким странным, что водила почувствовал: он честно заработал каждый цент этой двадцатки.

Стрелок посмотрел на вывеску над дверями лавки.

«СТРЕЛКОВОЕ СНАРЯЖЕНИЕ И СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ КЛЕМЕНЦА», гласила она. «БОЕПРИПАСЫ, РЫБОЛОВНЫЕ СНАСТИ, ОФИЦИАЛЬНЫЕ ФАКСИМИЛЕ».

Роланд понял не все слова, но одного взгляда на витрину оказалось довольно, чтобы понять: Морт привел его в нужное место. В витрине красовались наручники, кокарды, значки разных рангов... и стрелковое оружие. Главным образом, винтовки и карабины, но и револьверы тоже. Они были прикреплены цепочками, но это не имело значения.

Когда — если — то, что нужно, попадется ему на глаза, он это узнает.

Минуту с лишним Роланд наводил справки в сознании Джека Морта — в сознании, хитром и изворотливом как раз настолько, чтобы отвечать его целям.

Один из фараонов в синей с белым машине ткнул локтем напарника.

— Теперь, — сказал он, — мы имеем сравнительно серьезного покупателя.

Напарник рассмеялся.

— О Боже, — проговорил он нарочито бабьим голоском, когда человек в деловом костюме и оправленных в золото очках закончил изучать выставленные в витрине товары и вошел внутрь. — Небось, только сто ресился купить голубенькие нарусьники.

Первый полицейский, набравший полный рот кофе, прыснул и подавился. Мелкие брызги тепловатой жидкости полетели в картонный стаканчик.

Почти сразу же появился продавец и спросил, чем может быть полезен.

— Мне хотелось бы знать, — ответил мужчина в консервативном синем костюме, — нет ли у вас бумаги... — Он умолк, видимо, глубоко задумавшись, потом поднял глаза. — То есть таблицы, где нарисованы револьверные патроны.

— Вы имеете в виду таблицу калибров? — спросил продавец.

Покупатель помолчал, потом сказал:

— Да. У моего брата есть револьвер. Я когда-то стрелял из него — правда, очень давно. Думаю, если я увижу пули, то узнаю их.

— Ну, может быть, вам так кажется, — ответил продавец, — но разобраться бывает трудно. Какой это был калибр? Двадцать второй? Тридцать восьмой? Или, может быть...

— Если у вас есть таблица, я разберусь, — перебил Роланд.

— Один момент. — Секунду продавец с сомнением смотрел на человека в синем костюме, потом пожал плечами. Клиент, бля, всегда прав, даже когда ошибается... были бы «бабки». Кто платит, тот и заказывает музыку. — Была у меня «Библия стрелка». Может, вам нужно заглянуть в нее?

— Да. — Роланд улыбнулся. Библия стрелка. Благородное название для книги.

Порывшись под прилавком, продавец извлек изрядно зачитанный том. Хотя книга толщиной могла поспорить с любой из тех, что повидал за свою жизнь Роланд, этот человек держал ее так, будто ценности в ней было не больше, чем в горстке камней.

Раскрыв книгу на прилавке, продавец развернул ее к Роланду.

— Вот, взгляните. Хотя, если прошло много лет, это — стрельба вслепую. — У него сделался удивленный вид, потом он улыбнулся. — Прошу прощения за каламбур.

Роланд не слышал. Он склонился над книгой, штудируя картинки, казавшиеся почти такими же реальными, как то, что они представляли — чудесные, изумительные картинки, которые «Мортципедия» назвала фоттаграффами.

Стрелок медленно переворачивал страницы. Нет... нет... нет...

Почти потеряв надежду, он увидел и поднял на продавца глаза, полыхавшие таким волнением, что тот струхнул.

— Вот! — сказал Роланд. — Вот! Вот оно!

На снимке, по которому он постукивал пальцем, был патрон от пистолета «винчестер» сорок пятого калибра. Он не был точно таким же, как патроны стрелка — их-то делали и заряжали вручную — но, даже не сверяясь с цифрами (которые все равно ничего бы ему не сказали), Роланд видел: в гнезда барабанов его револьверов патрон войдет. Можно будет стрелять.

— Ну, ладно, кажется, вы нашли, что искали, — сказал продавец. — Но зачем же кончать в штаны, приятель? Я хочу сказать, это же просто пули.

— Они у вас есть?

— Ясное дело. Сколько вам нужно коробок?

— А сколько в коробке?

— Пятьдесят. — Продавец начинал смотреть на стрелка с самым натуральным подозрением. Если парень собрался покупать патроны, то должен был знать, что нужно показать разрешение на ношение оружия — с фотографией и личными данными. Нет разрешения — нет патронов, во всяком случае, к ручному огнестрельному оружию; такой в округе Манхэттан закон. А если разрешение на ношение шпалера у этого субъекта есть, почему ж он не знает, сколько патронов идет в стандартной упаковке?

— Пятьдесят! — Теперь мужик в синем костюме уставился на него, разинув рот от удивления. Да, точно, у парня в голове червяки.

Продавец бочком подвинулся чуть левее, подобравшись чуть ближе к кассе... и — не так, чтобы совсем уж случайно — к собственному пистолету. Свой полностью заряженный «Магнум» . 357 он держал на пружинном зажиме под прилавком.

— Пятьдесят! — повторил стрелок. Он рассчитывал на пять, десять, самое большее — на дюжину, но это... это... «Сколько у тебя денег?» — спросил он «Мортципедию». «Мортципедия» не знала — знала неточно — но думала, что в бумажнике лежит как минимум шестьдесят зеленых.

— А сколько стоит коробка? — Роланд полагал, что больше шестидесяти долларов, однако продавца можно было убедить продать часть коробки или же...

— Семнадцать пятьдесят, — ответил продавец. — Но, мистер...

Джек Морт был бухгалтером, и на этот раз ждать не пришлось. Пересчет и ответ пришли разом.

— Три, — сказал стрелок. — Три коробки. — Он постучал пальцем по фоттаграффам патронов. Сто пятьдесят выстрелов! О боги! Что за безумная сокровищница — этот мир!

Продавец не шелохнулся.

— Так много у вас нет, — проговорил стрелок. Собственно, он не удивился. Все складывалось слишком хорошо, чтобы быть правдой. Сон.

— О, сорок пятый калибр к «винчестеру» у меня есть, есть у меня сорок пятый калибр, а как же, в попочке. — Продавец сделал еще один шажок влево, поближе к кассе и «Магнуму». Если парень чокнутый (продавец надеялся, что теперь это выяснится с минуты на минуту), скоро он будет чокнутым с исключительно большой дырищей в середке. — В попочке у меня сорок пятый калибр. Мне другое хочется узнать, мистер: у вас-то карточка имеется?

— Карточка?

— Разрешение на ношение ручного огнестрельного оружия. С фотографией. Я не могу продать вам патроны, пока вы не покажете мне разрешение. А если хочешь покупать это добро без документа, надо ехать в Вестчестер.

Стрелок тупо уставился на продавца. Все сказанное было для него бессвязной болтовней, из которой он ни черта не понял. В «Мортципедии» содержалось расплывчатое представление о том, что подразумевал этот человек, однако идеи Морта были слишком туманны, чтобы на них полагаться. У Морта никогда не было ни пистолета, ни револьвера. Свое гнусное дело он делал другими методами.

Не отрывая глаз от лица клиента, продавец бочком, незаметно сделал еще один шаг влево, и стрелок подумал: «У него есть револьвер. Он ждет от меня неприятностей... или, может быть, хочет, чтобы я устроил неприятности. Ему нужен предлог, чтобы пристрелить меня».

Импровизировать.

Роланд вспомнил о стрелках, сидевших в синем с белым экипаже в конце улицы. Да, стрелки, стражи покоя, люди, которым поручено не давать миру сдвинуться с места. Однако здешние стрелки — по крайней мере, на беглый взгляд — казались почти такими же мягкотелыми, изнеженными и ненаблюдательными, как и все прочие обитатели этого мира праздных мечтателей; всего-навсего два человека в форме и фуражках, которые пьют кофе, лениво развалившись на сиденьях своего экипажа. Но, быть может, он судит неверно? Ради самих этих людей стрелок надеялся, что не ошибается.

— О! Понимаю, — сказал стрелок, и лицо Джека Морта изобразило виноватую улыбку. — Простите. Наверное, я не в курсе, насколько сильно мир сдвинулся... изменился с тех пор, как у меня в последний раз был револьвер.

— Ничего страшного, — сказал продавец, самую малость расслабляясь. Может быть, парень все-таки в порядке. А может, просто шутки шутит.

— А нельзя ли посмотреть вон тот набор для чистки? — Роланд показал на полку позади продавца.

— Конечно. — Продавец повернулся, чтобы достать коробку, и, когда оказался спиной к стрелку, тот молниеносно, точно револьвер из кобуры, выхватил из внутреннего кармана пиджака Морта бумажник. Продавец не простоял спиной к Роланду и четырех секунд, но когда вновь развернулся к клиенту, бумажник был уже на полу.

— Классная штука, — улыбаясь, сказал продавец, решивший, что в конце концов с парнем все в порядке. Черт возьми, он-то знал, как паршиво бывает на душе, когда выставишь себя ослом. Сам частенько ходил в дураках, когда служил в морской пехоте. — К тому же на покупку такого набора разрешения не нужно. Дивная штука — свобода, верно?

— Да, — серьезно подтвердил стрелок и притворился, будто внимательно рассматривает набор, хотя одного-единственного взгляда было довольно, чтобы понять: перед ним — дрянная вещь, дешевка в дрянной упаковке. Разглядывая ее, Роланд ногой осторожно затолкал бумажник Морта под прилавок.

Чуть погодя он отодвинул коробку, сносно изобразив сожаление.

— Боюсь, я пас.

— Ладно, — сказал продавец, резко теряя интерес к клиенту. Поскольку мужик не был сумасшедшим и явно пришел смотреть, а не покупать, их отношения вступили в завершающую стадию. Музыку заказывает тот, кто платит. — Что-нибудь еще? — спросил он, взглядом веля синему костюму выкатываться.

— Нет, спасибо. — Стрелок вышел, не оглянувшись. Бумажник Морта лежал глубоко под прилавком. Роланд расставил собственную ловушку с приманкой.

Полицейские Карл Диливэн и Джордж О'Мейра допили кофе и уже собирались ехать дальше, когда к их машине подошел появившийся из магазина Клеменца (по убеждению обоих фараонов — «пороховницы», что на полицейском жаргоне означает оружейную лавку, которая, торгуя на законных основаниях, время от времени продает оружие независимым налетчикам с доказанными полномочиями, а также делает бизнес, порой крупный, с мафией) мужчина в синем костюме.

Он нагнулся и сквозь окошко со стороны пассажирского сиденья посмотрел на О'Мейру. О'Мейра ожидал услышать явно педоватый голос — неизвестно, такой ли уж педоватый, как намекала его шаблонная шутка насчет голубеньких наручников, но все равно голос «петуха». Помимо оружия, магазин Клеменца бойко торговал наручниками. Закон в округе Манхэттан это разрешал. Те, кто покупал стальные браслеты, в большинстве своем не были доморощенными Гудини (полицейским это не нравилось, но когда это бывало, чтобы соображения полицейских на какую угодно заданную тему что-то меняли?). Основной контингент покупателей составляли гомики с легкой склонностью к садизму и мазохизму. Но мужик в синем костюме по разговору вовсе не походил на педрилу. Голос у него был глуховатым и невыразительным, вежливым, но несколько неживым.

— Там торговец забрал мой бумажник, — сказал этот человек.

— Кто? — О'Мейра быстро выпрямился. Полтора года у них чесались руки повязать Джастина Клеменца. В случае удачи они с Диливэном, может быть, смогли бы наконец сменить синюю форму на значки детективов. Вероятно, это была всего лишь несбыточная мечта — так хорошо на самом деле не бывает — и все же...

— Торговец. Э... — Короткая пауза. — Продавец.

О'Мейра и Карл Диливэн переглянулись.

— Волосы черные? — спросил Диливэн. — Такой приземистый, коренастый?

Вновь последовала кратчайшая пауза.

— Да. Глаза карие. Под одним — маленький шрам.

Было в этом мужике что-то... что именно, О'Мейра тогда не сумел определить; он припомнил это позднее, когда уже не нужно было думать о другом и, главным образом, конечно, о том простом факте, что золотой значок детектива — пустое; выяснилось, что удержаться на своей работе — и то будет чудо из чудес.

Но много лет спустя, когда О'Мейра повел двух своих сыновей в бостонский Музей Науки, бывшему полицейскому выпал краткий миг прозренья. В музее была машина — компьютер — которая играла в крестики-нолики. Если первым ходом ты не ставил свой крестик в центральную клетку, машина неизменно объебывала тебя, но всякий раз делала паузу, чтобы обратиться к памяти за возможными вариантами гамбитов. И О'Мейра, и мальчики были в восторге. Но в этом было что-то страшноватое... а потом О'Мейре вспомнился Синий Костюм. Вспомнился оттого, что у него, у Синего Костюма, была такая же манера говорить, едри ее в корень. Толковать с ним было все равно, что толковать с роботом.

Диливэну так не показалось, однако девять лет спустя он однажды вечером придет со своим (к тому времени уже восемнадцатилетним, без пяти минут студентом колледжа) сыном в кино и на тридцатой минуте художественного фильма неожиданно поднимется с места, пронзительно крича: «Это он! ОН! Тот мужик в синем, едрена мать, костюме! Тот мужик, что был у Кле...»

Кто-то гаркнет «Эй, сядьте там!», но побеспокоится напрасно — Диливэна, заядлого курильщика, имеющего семьдесят фунтов лишнего веса, роковой сердечный приступ настигнет раньше, чем этот недовольный доберется хотя бы до второго слова. Мужчина в синем костюме, который в тот день подошел к патрульной машине Диливэна и О'Мейры и сообщил о похищенном бумажнике, внешне не походил на главного героя фильма, но манера глухо, невыразительно ронять слова, была той же. Как и пластика — какая-то безжалостная и все-таки полная изящества.

Показывали, разумеется, «Терминатора».

Полицейские переглянулись. Тот, о ком говорил Синий Костюм, не был Клеменцем, однако вряд ли стоило огорчаться: речь шла о «Жирном Джонни» Холдене, муже сестры Клеменца. Но сделать такую вопиющую глупость, украсть у мужика бумажник...

...«было бы как раз в духе этого придурка», — мысленно закончил О'Мейра. Чтобы скрыть промелькнувшую на губах короткую усмешку, ему пришлось прикрыть рот рукой.

— Может, будет лучше, если вы объясните, что, собственно, случилось, — сказал Диливэн. — Можно начать со своей фамилии.

О'Мейре вновь померещилось, что мужчина в синем костюме отреагировал немного неправильно, чуть невпопад. В большом городе, где порой казалось, будто семьдесят процентов населения считают выражение «иди на хуй» американским вариантом всего хорошего, он ожидал услышать от парня что-нибудь вроде «Эй, этот сукин сын прибрал мой бумажник! Вы собираетесь вернуть мне вещь или мы так и будем торчать здесь и играть в «Двадцать вопросов»?»

Но тут был хорошо сшитый костюм, маникюр. Может быть, мужик привык иметь дело со всякой бюрократической чепухней. По правде говоря, Джорджа О'Мейру это не слишком заботило. При мысли о том, что они свинтят Жирного Джонни Холдена и смогут вертеть Арнольдом Клеменцем, у О'Мейры слюнки текли. На один головокружительный миг он даже позволил себе вообразить, как использует Холдена, чтоб сцапать Клеменца, а Клеменца — чтоб взять действительно крупную шишку, макаронника Балазара, например, или, может быть, Джинелли. Это было бы не хило. Вовсе не хило.

— Меня зовут Джек Морт, — сказал мужчина.

Диливэн вытащил из заднего кармана блокнот.

— Адрес?

Пресловутая легкая заминка. «Точно робот», — опять подумал О'Мейра. Секунда молчания, потом почти слышный щелчок.

— Южный район, Парк-авеню, 409.

Диливэн записал.

— Номер социальной страховки?

После очередной едва заметной паузы Морт назвал номер.

— Хочу, чтоб вы поняли: эти вопросы я задаю вам в целях опознания. Коль скоро тот парень действительно взял ваш бумажник, будет удачно, если, прежде чем получить вещь в свое распоряжение, я смогу сказать, что вы сообщили мне определенные сведения. Ну, понимаете.

— Да. — Теперь в голосе мужчины слышался ничтожнейший намек на нетерпение. Это почему-то немного успокоило О'Мейру. — Только не тяните больше, чем нужно. Время идет и...

— Все время что-нибудь да происходит. Ага. Я врубился.

— Все время что-нибудь да происходит, — согласился мужчина в синем костюме. — Да.

— Есть у вас в бумажнике какое-нибудь фото, по которому можно было бы провести опознание?

Пауза. Потом:

— Карточка моей матери. Снимок сделан на фоне Эмпайр Стэйт Билдинг. На обороте надпись: «Прекрасный день, прекрасный пейзаж. С любовью, Ма».

Диливэн яростно черкал в блокноте, потом захлопнул его.

— Ладно. Годится. Еще одно, последнее: если мы отберем бумажник, вам придется расписаться, чтобы мы могли сравнить подпись с подписью на ваших водительских правах, кредитных карточках и прочем добре того же рода. Договорились?

Роланд кивнул, хотя, в общем, понимал: пусть он может пользоваться памятью Джека Морта и его знанием мира столько, сколько требуется, но если Морт будет без сознания, как сейчас, нет ни единого шанса точно воспроизвести его подпись.

— Расскажите, что произошло.

— Я зашел купить патроны для брата. У него револьвер, «винчестер» сорок пятого калибра. Тот человек спросил, есть ли у меня разрешение на ношение оружия. Я сказал, конечно. Он спросил, нельзя ли взглянуть.

Пауза.

— Я вынул бумажник. Показал разрешение. Только для этого пришлось бумажник развернуть; должно быть, тогда-то он и увидел, что там порядочно... — коротенькая пауза, — ...двадцаток. Я — фининспектор. У меня есть клиент по фамилии Дорфман, он совсем недавно выиграл затяжной... — пауза — ...судебный процесс и получил небольшое возмещение уплаченных налогов. И сумма-то была всего восемьсот долларов, но договариваться с такой редкостной блядью, как этот Дорфман... — пауза, — нам еще не приходилось. — Пауза. — Прошу прощения за каламбур.

О'Мейра повторил про себя последние слова мужчины в синем костюме, и до него вдруг дошло. Договариваться с такой редкостной блядью нам еще не приходилось. Недурно. Он рассмеялся. Мысли о роботах и машинах, играющих в крестики-нолики, вылетели у него из головы. В общем, парень как парень, просто он расстроен и пытается скрыть это за напускным спокойствием.

— Ну, все равно. Короче, Дорфман захотел наличных. Он требовал наличных.

— Вы думаете, что Жирный Джонни углядел бабки вашего клиента, — сказал Диливэн. Они с О'Мейрой выбрались из сине-белой машины.

— Вы так называете того человека из магазина?

— Бывает, мы называем его и похуже, — отозвался Диливэн. — Что случилось после того, как вы показали ему разрешение, мистер Морт?

— Он спросил, нельзя ли взглянуть поближе. Я отдал ему бумажник, но он даже не взглянул на фотографию и уронил бумажник на пол. Я спросил, зачем он это сделал. Он сказал — дурацкий вопрос. Тогда я велел ему вернуть бумажник. Я был вне себя.

— Надо думать. — Однако, глядя в безжизненное лицо мужчины, Диливэн сказал себе: никогда не подумаешь, что этот человек способен взбеситься.

— Он рассмеялся. Я начал обходить прилавок, чтобы взять бумажник. Тогда он выхватил револьвер.

Уже шагавшие к магазину полицейские остановились. Вид у них был скорее возбужденный, чем испуганный.

— Револьвер? — переспросил О'Мейра, желая убедиться, что расслышал правильно.

— Он был под прилавком, у кассы, — сказал мужчина в синем костюме. Роланд помнил момент, когда чуть было не пустил коту под хвост свой первоначальный план ради револьвера продавца, и теперь объяснял этим стрелкам, почему поступил иначе. Он хотел использовать их, а не угробить. — По-моему, он держался в стыковочной муфте.

— В чем? — спросил О'Мейра.

На сей раз последовала более долгая пауза. Мужчина наморщил лоб.

— Не знаю точно, как это сказать... такая штука, в которую вставляешь револьвер. И никто, кроме тебя, выхватить его уже не может, если только не знает, куда нажать...

— Пружинный зажим! — сказал Диливэн. — Срань господня! — Напарники в очередной раз обменялись взглядами. Никто не хотел первым говорить этому типу, что Жирный Джонни, скорей всего, уже собрал с его бумажника урожай наличных, оторвал жопу от стула, вытряхнулся из дверей черного хода и перебросил пустой кошелек через стену, отгораживающую задний двор от переулка... но пистолет и пружинный зажим... это меняло дело. Обвинение в грабеже не исключалось, но одновременно обвинить Жирного Джонни в сокрытии оружия — это, похоже, был верняк. Может, похуже варианта с грабежом, но все-таки первый шаг.

— Что потом? — спросил О'Мейра.

— Потом он сказал мне, что бумажника у меня не было. Он сказал... — пауза, — что мне залезли в карман на улице и, если я хочу сохранить здоровье, мне лучше это запомнить. Я вспомнил, что видел в конце квартала полицейскую машину, и подумал, может, вы все еще там. И ушел.

— Ладненько, — сказал Диливэн. — Первыми — и быстро — заходим мы с напарником. Вы даете нам примерно минуту — ровно минуту, просто на случай каких-нибудь неприятностей — и заходите, но останавливаетесь у двери. Понятно?

— Да.

— Ладненько. Пошли брать этого козла.

Полицейские зашли внутрь. Выждав тридцать секунд, Роланд последовал за ними.

«Жирный Джонни» Холден не просто протестовал. Он ревел, как иерихонская труба.

— Это же псих! Впирается сюда, чего хочет — не знает, потом видит то, что ему надо, в «Библии стрелка» и не знает ни сколько штук в упаковке, ни сколько упаковка стоит, а когда мне хочется поближе взглянуть на его разрешение, несет такую парашу, какой я отродясь не слыхал, потому что нет у него никакого разрешения на... — Жирный Джонни осекся. — Вот он! Вот этот урод! Вон там! Я тебя вижу, приятель! Вижу твою харю! В следующий раз, как ты увидишь мою, ты, блядь, крупно пожалеешь! За это я ручаюсь! Я, блядь, тебе гарантирую...

— У тебя нет бумажника этого человека? — спросил О'Мейра.

— Вы знаете, что у меня нет его бумажника!

— Мы заглянем за витрину, не возражаешь? — нанес встречный удар Диливэн. — Просто, чтобы убедиться.

— Мать твою распротак и обратно! Витрина-то стеклянная! Видите вы там хоть один бумажник?

— Да нет, я имел в виду не ту витрину... а эту, — сказал Диливэн, продвигаясь в сторону кассы. Его голос походил на кошачье мурлыканье. Там, куда он показал, вдоль полок витрины шла вертикальная крепежная полоса из хромированной стали. Ширина полосы составляла почти два фута. Диливэн оглянулся на мужчину в синем костюме, и тот кивнул.

— Я хочу, чтоб вы, ребята, сию минуту убрались отсюда, — сказал Жирный Джонни. Он несколько полинял. — Вернетесь с ордером — другое дело. Но сейчас я хочу чтоб вы убрались к ебене матери. Эта блядская страна — все еще свободная страна, яс... эй! эй! ЭЙ, ХОРОШ!

О'Мейра заглядывал за прилавок.

— Это незаконно! — выл Жирный Джонни. — Незаконно, еб твою мать... Конституция... мой юрист, блядь... катитесь отсюда сейчас же, не то...

— Я только хотел поближе взглянуть на товар, — мягко проговорил О'Мейра. — По той причине, что стекла в твоей витрине охуенно грязные. Вот и посмотрел за прилавок. Верно ведь, Карл?

— Век воли не видать, корешок, — серьезно отозвался Диливэн.

— И смотри-ка, что я нашел.

Роланд услышал, как что-то щелкнуло, и в руке у стрелка в синей форме вдруг оказался чрезвычайно большой револьвер.

Осознав наконец, что он — единственный из присутствующих, чья история расходится с небылицей, только что рассказанной тем фараоном, который забрал «Магнум», Жирный Джонни помрачнел.

— У меня есть лицензия, — сказал он.

— На ношение? — спросил Диливэн.

— Да.

— На негласное ношение?

— Да.

— Ствол зарегистрирован? — поинтересовался О'Мейра. — Да? Зарегистрирован?

— Ну... я мог и запамятовать.

— А может, он паленый, и об этом ты тоже запамятовал.

— Да пошел ты. Я звоню своему адвокату.

Жирный Джонни начал поворачиваться к ним спиной. Диливэн схватил его.

— Тогда возникает такой вопрос: есть ли у тебя разрешение прятать с помощью пружинного зажима оружие, представляющее угрозу жизни, — сказал он прежним тихим, мурлычущим голосом. — Вопрос интересный — насколько мне известно, таких разрешений в Нью-Йорке не выдают.

Полицейские смотрели на Жирного Джонни; Жирный Джонни свирепо смотрел на них. Поэтому никто не заметил, как Роланд перевернул висевшую на двери табличку: надпись «ОТКРЫТО» сменилась надписью «ЗАКРЫТО».

— Не исключено, что можно было бы начать решать этот вопрос, если бы нам удалось найти бумажник этого джентльмена, — сказал О'Мейра. Сам Сатана не сумел бы солгать так гениально-убедительно. — Он мог просто обронить его, понимаешь?

— Я же сказал! Я знать ничего не знаю про бумажник этого типа! Парень не в своем уме!

Роланд нагнулся и заметил:

— Да вот же он. Я же вижу. Этот человек поставил на него ногу.

Роланд солгал, но Диливэн, еще не убравший руку с плеча Жирного Джонни, так быстро пихнул толстяка назад, что разобраться, на самом ли деле у того под ногой был бумажник, стало невозможно.

Сейчас или никогда. Роланд бесшумно скользнул к конторке продавца: оба стрелка нагнулись, заглядывая под нее, и их головы оказались совсем рядом — ведь стояли стрелки бок о бок. В правой руке у О'Мейры все еще был пистолет, который продавец держал под прилавком.

— Черт подери, бумажник здесь! — возбужденно сказал Диливэн. — Я его вижу!

Желая удостовериться, что человек, которого они назвали Жирным Джонни, не собирается разыгрывать никаких комбинаций, Роланд метнул на него быстрый взгляд. Но Джонни просто стоял, привалясь к стене (собственно, вжимаясь в нее, точно жалел, что нельзя втиснуться внутрь), уронив руки вдоль тела и оскорбленно округлив широко раскрытые серые глаза. У него был вид человека, недоумевающего, как вышло, что гороскоп не велел ему сегодня поостеречься.

С этим — никаких проблем.

— Ага! — ликующе откликнулся О'Мейра. Оба полицейских смотрели под прилавок, упираясь ладонями в обтянутые форменными брюками колени. Теперь О'Мейра снял руку с колена и потянулся подцепить бумажник. — И я ви...

Роланд сделал последний шаг вперед. Он приложил одну руку к правой щеке Диливэна, другую — к левой щеке О'Мейры, и внезапно день, который, по убеждению Жирного Джонни, уже был препаршивым, стал еще намного гаже. Зомби в синем костюме свел головы фараонов вместе, да так сильно, что послышался звук как от столкновения двух обернутых сукном камней.

Фараоны вповалку рухнули на пол. Мужчина в золотых очках выпрямился, наставив на Жирного Джонни «Магнум-357». Дуло казалось достаточно большим для запуска ракеты Земля-Луна.

— У нас хлопот не будет, верно? — мертвым голосом спросил зомби.

— Нет, сэр, — тут же сказал Жирный Джонни, — ни грамма.

— Стой, где стоишь. Если твоя жопа потеряет контакт со стенкой, ты потеряешь контакт с жизнью в своем всегдашнем понимании. Ясно?

— Да, сэр, — сказал Жирный Джонни. — Еще как.

— Хорошо.

Роланд растащил бесчувственные тела полицейских. Оба были еще живы. Хорошо. Пусть нерасторопные, ненаблюдательные — неважно; это были стрелки, люди, попытавшиеся помочь незнакомцу, попавшему в беду. А Роланд вовсе не горел желанием убивать своих.

Но ведь это уже бывало, правда? Да. Разве не погиб Алан, один из его названных братьев, связанных клятвой верности, под дымящимися дулами револьверов Роланда и Катберта?

Не сводя глаз с продавца, Роланд носком туфли Джека Морта нащупал под прилавком бумажник. Пнул его. Бумажник, крутясь, вылетел из-под прилавка под ноги продавцу. Жирный Джонни подскочил, взвизгнув, точно глупая девчонка, увидавшая мышь. На миг его зад действительно оторвался от стены, но стрелок оставил это без внимания — в его намерения не входило вгонять пулю в этого человека. Скорее, он предпочел бы запустить в него револьвером и оглушить: на выстрел из такого нелепо большого револьвера, вероятно, сбежалось бы пол-района.

— Подними, — велел стрелок. — Медленно.

Жирный Джонни нагнулся, дотянулся до бумажника и, когда схватил его, громко пукнул и пронзительно вскрикнул. Стрелок со слабым изумлением понял: продавец принял собственное пуканье за выстрел и решил, будто пришел его смертный час.

Неудержимо краснея, Жирный Джонни выпрямился. У него на брюках спереди красовалось большое мокрое пятно.

— Кошель... то есть, бумажник — на стойку.

Жирный Джонни повиновался.

— Теперь патроны. К «Винчестеру» сорок пятого калибра. И чтоб я все время видел твои руки.

— Мне надо слазать в карман. За ключами.

Роланд кивнул.

Пока Жирный Джонни сперва отпирал, а потом открывал застекленную витрину, в которой были сложены картонные коробки с патронами, Роланд размышлял.

— Давай четыре коробки, — наконец сказал он. Представить себе, что потребуется так много патронов, Роланд не мог, но и искушение обладать ими было непреодолимым.

Жирный Джонни выставил коробки на прилавок. Роланд, которому все еще с трудом верилось, что это не розыгрыш и не обман, сдвинул крышку с одной из них. Но нет, там лежали самые настоящие патроны — чистенькие, сияющие, без отметин; ими никогда еще не стреляли, никогда не меняли в них порох. Он на секунду поднес одну из пуль к свету, потом вернул ее в коробку.

— Теперь достань пару тех наручней.

— Наручней?..

Стрелок справился в «Мортципедии».

— Наручников.

— Мистер, не понимаю, чего вам надо. Касса...

— Делай, что я говорю. Быстро.

«Господи, это никогда не кончится», — мысленно простонал Жирный Джонни. Открыв другую секцию прилавка, он вынул пару наручников.

— Ключ? — спросил Роланд.

Жирный Джонни положил ключ от наручников на прилавок. Ключ тихонько звякнул. Один из лежащих в беспамятстве полицейских вдруг всхрапнул, и Джонни едва слышно взвизгнул.

— Повернись ко мне спиной, — велел стрелок.

— Вы ведь не собираетесь застрелить меня, а? Скажите, что не собираетесь!

— Не собираюсь, — без выражения произнес Роланд. — При условии, что ты немедленно повернешься. Если нет, пристрелю.

Жирный Джонни повернулся спиной к Роланду, принимаясь шумно всхлипывать. Конечно, мужик сказал, что не собирается его мочить, но запах разборки между бандами становился слишком крепким, чтобы не обращать на него внимания. Джонни и наварить-то толком не успел! Плач перешел в сдавленные причитания с подвывом.

— Прошу вас, мистер, не стреляйте, пожалейте мою мать. Она старенькая, совсем слепая. Она...

— Она обречена на страдание: ее сын — трусливая душонка, — сурово оборвал его стрелок. — Запястья вместе.

Жирный Джонни (мокрые брюки прилипали в шагу), хныча, подчинился. На руках у него в два счета защелкнулись стальные браслеты. Как этот зомби исхитрился так быстро оказаться за прилавком, перелезть или обойти его, Джонни не имел ни малейшего представления. И знать не хотел.

— Стой здесь и смотри в стену, пока я не скажу, что можно повернуться. Если повернешься раньше, убью.

Рассудок Жирного Джонни озарила надежда. Может быть, в конце концов этот тип не собирается его шлепнуть. Может, он не полный псих, а только с легким приветом.

— Да нет же. Господом Богом клянусь. Клянусь всеми святыми. Всеми Его ангелами. Всеми архан...

— А я клянусь, что коли ты не заткнешься, я прострелю тебе глотку, — сказал зомби.

Жирный Джонни заткнулся. Ему казалось, что он простоял лицом к стене целую вечность. В действительности прошло около двадцати секунд.

Стрелок опустился на колени, положил револьвер продавца на пол, быстро взглянул на презренного червя, дабы убедиться, что тот ведет себя паинькой, и перевернул двух других на спину. Оба были в полной отключке, однако, рассудил Роланд, пострадали неопасно. Дышали они ровно, размеренно. У того, которого звали Диливэн, из уха тонкой струйкой сочилась кровь, но этим все ограничивалось.

Бросив на продавца еще один быстрый взгляд, Роланд расстегнул и снял со стрелков портупеи. Потом он скинул синий пиджак Морта и застегнул их на себе. Револьверы были не те, но опять иметь при себе пушку все равно оказалось приятно. Чертовски приятно. Он не поверил бы, до чего приятно.

Два револьвера. Один для Эдди, другой для Одетты... если Одетте когда-нибудь можно будет доверить револьвер. Роланд вновь облачился в пиджак Джека Морта и опустил в каждый карман по две коробки патронов. Некогда безупречный пиджак разбух, потерял форму. Взяв «Магнум» продавца, Роланд переложил патроны в задний карман, а револьвер зашвырнул на другую половину магазина. Когда тот ударился о пол, Жирный Джонни вздрогнул, снова тихонько взвизгнул и упустил в штаны еще несколько капель теплой влаги.

Стрелок встал и велел Жирному Джонни обернуться.

Когда Жирный Джонни еще раз посмотрел на пренеприятнейшего субъекта в синем костюме и золотых очках, челюсть у него отвалилась. На миг он свято и несокрушимо уверовал в то, что пока стоял к незваному гостю спиной, тот превратился в привидение. Жирному Джонни померещилось, будто за этим человеком брезжит куда более реальная фигура, один из тех легендарных джентльменов удачи, о ком в свое время (сам Джонни был тогда от горшка два вершка) сняли столько фильмов и телепостановок; один из парней вроде Вайятта Эрпа, Дока Холлидэя и Буча Кэссиди.

Потом перед глазами у Джонни прояснилось, и он понял, что сделал этот псих ненормальный: забрал у фараонов пушки и нацепил на себя. В результате из-за костюма с галстуком он должен был бы выглядеть смехотворно, однако смеяться почему-то не хотелось.

— Ключ к наручням на прилавке. Когда поссмены очнутся, они освободят тебя.

Псих ненормальный взял бумажник, раскрыл и — невероятно! — прежде чем запихать обратно в карман, выложил на стекло четыре двадцатидолларовых купюры.

— За патроны, — пояснил Роланд. — Пули из твоего револьвера я тоже забрал. Их я намерен выбросить, когда уйду из магазина. Думаю, что с незаряженным револьвером и без бумажника тебя трудно будет обвинить в совершении преступления.

Жирный Джонни громко сглотнул. Наступил один из редких моментов в его жизни: он онемел.

— Теперь вот что. Где тут ближайший... — Пауза. — Ближайшая аптека?

Жирный Джонни внезапно все понял — или ему так показалось. Конечно, парень торчок. Вот и ответ. Неудивительно, что он такой странный. Небось, накачался по самые уши.

— З-за углом. Полквартала по Сорок девятой в сторону центра.

— Если врешь, я вернусь и вгоню пулю тебе в мозги.

— Не вру я! — возопил Жирный Джонни. — Христом-Богом клянусь! Святыми угодниками! Родной матерью...

Но дверь уже захлопывалась. Жирный Джонни на миг застыл в абсолютном молчании, не в силах поверить, что чокнутый ушел.

Потом он так быстро, как только мог, обогнул прилавок и подошел к двери. Повернувшись к ней спиной, он принялся ощупью искать замок. Наконец Джонни удалось ухватиться за него и повернуть. Повозившись еще немного, он изловчился и задвинул засов.

Только тогда Жирный Джонни позволил себе медленно сползти по стене и занять сидячее положение. Судорожно разевая рот, точно вытащенная из воды рыба, он задыхающимся, плачущим голосом клятвенно заверял Господа со всеми Его святыми и ангелами, что сегодня же после обеда — собственно, как только кто-нибудь из легавых очухается и освободит его от наручников — отправится в церковь Святого Антония. Он собирался исповедаться, покаяться и принять причастие.

Жирный Джонни Холден хотел уладить дела с Богом.

Что до сих пор было, едрена мать, просто слишком нелегко.

Заходящее солнце над Западным Морем превратилось в огненную дугу. Дуга сузилась в одинокую светлую и яркую полоску, опалившую Эдди глаза; если долго смотреть на подобный свет, можно получить хронический ожог сетчатки. Таков был лишь один из множества занятных фактов, которые узнаешь в школе — фактов, помогающих устроиться на работу, где можно реализовать свои возможности (например, барменом на неполный рабочий день), и обзавестись интересным хобби (скажем, целыми днями искать, где и на какие шиши прикупить героинчика). Эдди все смотрел. Ему казалось, что получит он ожог глаз или нет, скоро станет уже несущественно.

Он не докучал мольбами ведьме, засевшей у него за спиной. Во-первых, это не помогло бы. Во-вторых, Эдди не хотел унижаться. Вся его жизнь до сих пор была сплошным унижением; сейчас он обнаружил, что не желает в последние несколько минут уронить себя еще больше. Несколько минут — вот все, что у него теперь осталось. Несколько минут, а потом ослепительная полоска исчезнет и пробьет час чудовищных омаров.

Эдди перестал уповать на то, что в последнюю секунду некое дивное превращение вернет ему Одетту — так же, как перестал надеяться, что Детта признает: в случае его смерти она почти наверняка навсегда застрянет в этом мире, как корабль на мели. Еще четверть часа тому назад Эдди был убежден: Детта берет его на пушку. Теперь он уже не обманывался.

«Ладно, все лучше, чем медленно, по дюйму за раз, затягивающаяся удавка», — подумал он, сомневаясь, впрочем, что это соответствует истине, поскольку ночь за ночью видел омерзительных омароподобных тварей. Эдди надеялся, что сумеет умереть без истошных, пронзительных криков. Ему казалось, что это вряд ли окажется возможно, но он намеревался рискнуть.

— Придут, придут по твою душу, беложопый! — захлебываясь, верещала Детта. — Теперь уж с минуты на минуту! Лучшего обеда у этих красавчиков отродясь не бывало!

Детта не просто пугала, Одетта не возвращалась... и стрелок — тоже. Последнее отчего-то ранило сильнее всего. Эдди был уверен, что за время путешествия по взморью они со стрелком стали... ну, если не братьями, то напарниками, и Роланд по крайней мере попробует защитить его.

Но Роланд не шел.

Может быть, дело не в том, что он не хочет возвращаться. Может, он не может вернуться. Может, он погиб, убит охранником в аптеке... блин, то-то была бы хохма — последнего стрелка на свете убивает «Полицейский по найму»... а может, он попал под такси. Может, он погиб, а дверь исчезла. Может, потому-то она и не пугает. Может, пугать-то и нечем.

— Теперь уж с минуты на минуту! — взвизгнула Детта, и тут Эдди стало ни к чему тревожиться за свою сетчатку, поскольку последний блестящий ломтик света исчез, оставив после себя лишь бледный отсвет.

Эдди уставился на океан. Перед глазами медленно таяли яркие пятна, какие остаются, когда переводишь взгляд с ярко освещенного предмета в темноту. Эдди ждал, когда из волн, кувыркаясь и перекатываясь, появится первый гигантский омар.

Отвернувшись, Эдди попытался уклониться от первого чудовища, но оказался чересчур нерасторопен. Клешня содрала с его лица лоскут живой плоти, разбрызгала студенистой слизью левый глаз, явила влажный блеск замерцавшей в сумерках кости. Омар задавал свои вопросы, а Настоящая Гадина хохотала...

«Прекрати, — скомандовал себе Роланд. — Подобные раздумья хуже беспомощности. Это смятение. Растерянность. Коих быть не должно. Возможно, время еще есть».

И оно еще было — в тот момент. Когда Роланд в теле Джека Морта, размахивая руками и устремив решительный взгляд налитых кровью глаз на вывеску с надписью «АПТЕКА», широко шагал по Сорок девятой улице, пребывая в полном неведении относительно пристальных взглядов, которыми его награждали прохожие, и того, как круто люди сворачивали в сторону, стремясь избежать столкновения с ним, солнце в его родном мире еще стояло над горизонтом. Черты, у которой море встречалось с небом, нижний край огненного диска должен был коснуться примерно через четверть часа. Коль скоро Эдди ожидало время страданий, оно по-прежнему было впереди.

Стрелок, впрочем, не знал этого наверняка; он знал только, что по ту сторону двери более поздний час, чем здесь. Пусть солнце там все еще должно было стоять над горизонтом — предположение, что время в обоих мирах течет с одинаковой скоростью, могло оказаться убийственным... особенно для Эдди — в этом случае юношу ждала невообразимо страшная смерть, которую стрелок, тем не менее, все время пытался вообразить.

Его неодолимо тянуло оглянуться, увидеть. И все же Роланд не смел. Не должен был.

Течение его мыслей сурово прервал голос Корта:

Управляй тем, чем можешь, червь. Обуздывай, что можешь обуздать. Все прочее пусть катится на легком катере к ебене матери, и коль поражение будет неизбежно — погибни, паля из обоих револьверов.

Да.

Но это нелегко.

Порой очень нелегко.

Будь Роланд чуть менее свирепо сосредоточен на том, чтобы как можно скорее завершить свои дела в этом мире и убраться ко всем чертям, он заметил и понял бы отчего люди, вытаращив на него глаза, резко сворачивали с дороги. Впрочем, это ничего бы не изменило. Он шагал к синей вывеске (где, согласно «Мортципедии», можно было получить снадобье Ке-флекс, необходимое его телесной оболочке), да так быстро, что, невзирая на отягощавший все карманы груз свинца, полы пиджака Морта развевались за спиной, открывая застегнутые на бедрах портупеи, надетые Роландом не аккуратно и прямо, как носили их былые владельцы, а низко, крест-накрест, как он носил свои.

Уличным лабухам, лоточникам и выбравшейся по магазинам публике с Сорок девятой Роланд казался, в общем, тем же, кем и Жирному Джонни: головорезом.

Роланд поравнялся с аптекой Каца и вошел внутрь.

В свое время стрелок знавал и волшебников, и чародеев, и алхимиков. Среди них попадались и умные шарлатаны, и глупые мошенники, верить в которых могли только еще большие глупцы (впрочем, дураков на свете всегда хватает, а потому выживали даже тупые мошенники — честно говоря, подавляющее большинство, как ни странно, процветало), и малая толика таких, что и в самом деле умели то, о чем говорилось шепотом. Эти немногие способны были вызвать демонов или мертвецов, убить проклятием или излечить странными зельями. Одного из них стрелок считал подлинным демоном, созданием, лишь притворяющимся человеком. Оно называло себя «Флэгг». Роланд увидел его лишь мельком, да и то, когда развязка уже близилась и на его родной край надвигались хаос и полное разорение. По горячим следам Флэгга явились двое молодых мужчин, судя по виду — доведенные до отчаяния и все же непреклонно-суровые. Звали мужчин Деннис и Томас. Эта троица промелькнула лишь на крохотном отрезке того, что составляло запутанный и запутывающий период жизни стрелка, однако Роланду навсегда врезалось в память, как Флэгг у него на глазах превратил прогневавшего его человека в воющего пса. Он помнил это достаточно хорошо. Помимо Флэгга, был еще человек в черном.

И Мартен.

Мартен, соблазнивший мать Роланда в отсутствие ее супруга; Мартен, попытавшийся спровоцировать гибель Роланда и ставший вместо этого виновником его раннего возмужания; Мартен, которого он, возможно, еще встретит на пути к Башне... или подле нее.

Все, сказанное выше, имеет единственную цель — пояснить, что Роланд, имевший опыт общения с чародеями и колдунами, ожидал увидеть в аптеке Каца нечто совершенно отличное от того, что обнаружил в действительности.

Он заранее рисовал себе полутемную, освещенную свечами комнатушку, полную горьких испарений и сосудов с неведомыми порошками и жидкостями, с приворотными зельями и колдовскими отварами — сосудов, многие из которых заросли толстым слоем пыли или вековой паутиной. Он ожидал увидеть человека в одеянии с капюшоном; возможно, опасного человека. Увидев за прозрачным стеклом витрин людей, двигавшихся так же небрежно, как в любой другой лавке, он с уверенностью посчитал их иллюзией.

Они не были иллюзией.

Поэтому секунду-другую стрелок просто стоял на пороге, испытывая поначалу изумление, затем — ироническое веселье. Здешний мир — мир летающих по воздуху вагонов и дешевой, точно песок, бумаги — кажется, на каждом шагу подсовывал ему диковину за диковиной, заставляя терять дар речи. Самоновейшим же дивом явилось то, что местные жители просто разучились удивляться — здесь, в обители чудес, Роланд увидел только скучные лица и вялую походку.

Тысячи бутылочек, снадобья, приворотные зелья... но почти все это «Мортципедия» определила как шарлатанские средства. Тут — целебная мазь, что должна восстанавливать, но не восстанавливает выпавшие волосы, там — крем, лживо сулящий удалить с рук и ног отвратительные пятна, а здесь — средства для лечения того, что не требует лечения: чтобы заставлять кишечник работать или наоборот, чтобы делать зубы белыми, волосы черными, а дыхание — приятным, будто этого нельзя добиться, пожевав кору ольхи. Никакой магии, лишь пустяки... хотя астин и еще несколько снадобий, которые, судя по названиям, могли оказаться полезными, там были. Однако основным чувством, испытанным Роландом, было смятение. Мудрено ли, что там, где обещали волшебство, но занимались больше благовониями, нежели колдовскими отварами, люди разучились удивляться?

Впрочем, еще раз справившись в «Мортципедии», Роланд обнаружил: истинный смысл этого места — не только в том, на что он смотрит. Подлинно действенные снадобья держали надежно укрытыми от глаз. Получить их можно было лишь имея указ чародея. В этом мире такие чародеи звались «ВРАТ-ШИ» и записывали свои магические формулы на листочках бумаги — согласно «Мортципедии», «РЕЙСЕПАХ». Это слово было незнакомо стрелку. Можно было бы проконсультироваться более подробно, но он не стал утруждаться. Он знал, что ему нужно, и, быстро заглянув в «Мортципедию», выяснил, где именно в магазине это можно добыть.

Роланд широким шагом двинулся по проходу к высокому прилавку, над которым было написано «ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ОТПУСК ЛЕКАРСТВ ПО РЕЦЕПТАМ».

Тот Кац, что в 1927 году открыл на Сорок девятой улице «Аптеку и торговлю сельтерской Каца (галантерея и всякая всячина для барышень и кавалеров)», давно лежал на кладбище, а его единственный сын выглядел так, будто и сам одной ногой уже стоял в могиле. Кацу-младшему было всего сорок шесть, но выглядел он на двадцать лет старше — лысеющий, хрупкий, с желтоватой кожей. Он знал, что про него говорят, будто он — вылитая смерть с косой, но никто не понимал, почему.

Взять хотя бы эту озабоченную, которая сейчас звонит. Миссис Ратбан. Рвет и мечет. Дескать, если он не отпустит валиум по ее треклятому рецепту — сейчас же, СИЮ ЖЕ МИНУТУ! — она подает на него в суд.

Что вы себе думаете, мадам, я насыплю вам этих синеньких шариков по телефону? Тогда она по крайней мере сделала бы ему одолжение, заткнулась — разинула бы пасть пошире, подняв над ней телефонную трубку, и дело с концом.

Эта мысль вызвала у Каца-младшего жутковатую улыбку, открывшую желтоватые зубы.

— Миссис Ратбан, вы не понимаете, — через минуту (целую отмеренную секундной стрелкой его наручных часов минуту) перебил Кац бушующую клиентку. Как бы ему хотелось хоть раз суметь сказать: «Хватит на меня орать, дура-баба! Ори на своего ДОКТОРИШКУ! Он посадил тебя на это дерьмо!» Верно. Проклятые знахари прописывали валиум так, будто это жевательная резинка, а когда решали урезать снабжение, на кого выливалось все дерьмо? На этих коновалов? О, нет! На него!

— Не понимаю? Как это так — не понимаю? — Голос жужжал в ухе у Каца, словно злющая оса в банке. — Я вот что понимаю: я с вашей дрянной аптекой немало дел делаю, все эти годы я была вашей верной клиенткой и...

— Вам, миссис Ратбан, придется поговорить с... — Кац опять взглянул сквозь очки на карточку паскудной бабы, — ...с доктором Брамхоллом. Срок действия вашего рецепта истек. По федеральным законам отпуск валиума без рецепта — преступление. «Хотя преступлением в первую голову должно считаться выписывание таких рецептов... разве что тем пациентам, которым прописываешь эту дрянь, даешь нигде не зарегистрированный номер телефона», — подумал он.

— Да нет же, это описка! — взвизгнула женщина. Теперь в ее голосе отчетливо слышались режущие нотки неподдельной паники. Эдди мигом распознал бы этот тон — то кричала дикая Птица-Торчок.

— Ну так позвоните ему и попросите исправить, — сказал Кац. — Мой номер телефона у него есть. — Да. У всех у них был его телефон. То-то и беда. Кац в свои сорок шесть лет был похож на умирающего именно из-за фершлюгинер [проклятых (идиш)] врачишек.

«И все, что нужно, чтобы последний слабенький краешек прибыли, на котором я здесь еще как-то удерживаюсь, растаял наверняка — это послать на хуй пару-тройку сволочных наркашек. Всего-то».

— НЕ МОГУ Я ЕМУ ПОЗВОНИТЬ! — громко и визгливо говорила миссис Ратбан. Ее голос больно сверлил ему ухо. — ОН КУДА-ТО УКАТИЛ ОТДЫХАТЬ СО СВОИМ ЛЮБОВНИЧКОМ-ПЕДРИЛОЙ, И КУДА, МНЕ НИКТО НЕ СКАЖЕТ!

Кац почувствовал, как в желудок начала медленно выделяться кислота (у Каца было две язвы, одна залеченная, другая — кровоточащая, и все — из-за баб вроде этой сучки). Он закрыл глаза. Следовательно, не видел, что его помощник не сводит глаз с подходившего к рецептурному отделу мужчины в синем костюме и золотых очках. Не видел он и того, что Ральф, пожилой толстый охранник (Кац платил ему жалкие гроши и все-таки страшно негодовал по поводу такого расхода; у отца никогда не было надобности в охраннике, но отец, холера ему в бок, жил в то время, когда Нью-Йорк был городом, а не клоакой) вдруг очнулся от обычного тупого оцепенения и потянулся к висящему на бедре револьверу. Кац услышал пронзительный женский крик, но подумал, что просто она только что обнаружила, что весь «Ревлон» дали в продажу; Кац вынужден был пустить «Ревлон» в продажу, поскольку этот потц, Долленц, державший аптеку в конце улицы, сбивал ему цены.

Стрелок надвигался на него, точно гибель, предначертанная судьбой, а Кац думал только о Долленце и стерве, висящей на телефоне; он думал, как чудесно выглядела бы эта парочка, покрытая лишь тонкой пленкой меда и выставленная на муравейник под жгучее солнце пустыни. ОН — на свой муравейник, ОНА — на свой. Прелесть! Кац думал: хуже некуда, совершенно некуда. Старый Кац был так решительно настроен на то, что сын пойдет по его стопам, что соглашался платить только за диплом провизора; и вот сын пошел по стопам отца; и холера папаше в бок, поскольку сейчас этот сын, несомненно, переживает самый паскудный момент в своей жизни — жизни, которая изобиловала паскудными моментами и до срока превратила его в старика.

Сейчас Кац находился в абсолютном надире.

Или так он думал, сидя с закрытыми глазами.

— Если вы зайдете, миссис Ратбан, могу отпустить вам дюжину капсул по пять милли. Этого хватит?

— Этот человек внял голосу рассудка! Слава Богу, этот человек внял голосу рассудка! — И она повесила трубку. Вот так вот просто. Без единого слова благодарности. Зато когда она снова встретится с ходячей прямой кишкой, которая называет себя врачом, то готова будет в ногах у него валяться, башмаки ему собственным носом драить, минет ему делать; она...

— Мистер Кац, — сказал его помощник странно задыхающимся голосом. — По-моему, у нас проб...

Раздался еще один пронзительный крик. За ним последовал грохот выстрела, напугавший Каца так сильно, что у него в голове промелькнула мысль: вот сейчас, в последний раз чудовищно трепыхнувшись в груди, сердце остановится навсегда.

Кац открыл глаза и встретился с пристальным взглядом стрелка. Поспешно опустив глаза, Кац заметил в кулаке этого человека пистолет. Слева от себя аптекарь увидел охранника. Ральф, баюкая кисть руки, не сводил с вора выпученных глаз, которые, казалось, вот-вот выскочат из орбит. Пистолет тридцать восьмого калибра (послушный долгу Ральф не расставался с ним все те восемнадцать лет, что прослужил в полиции... и стрелял из него только в подвальном тире 23-го участка; он говорил, будто дважды применял его, будучи при исполнении — но как знать?) теперь превратился в сломанную железку и лежал в углу.

— Мне нужен кефлекс, — без выражения сказал человек с глазами снайпера. — Много. Сейчас же. РЕЙСЕП пусть тебя не волнует.

Секунду Кац мог только смотреть на него, разинув рот. Сердце бунтовало в груди, желудок превратился в горшок с болезненно бурлящей кислотой.

Он думал, что гаже некуда?

Он действительно так думал?

— Чтоб вы понимали, — наконец сумел выдавить Кац и не узнал звук собственного голоса. Ничего особенно странного в этом не было, поскольку аптекарю казалось, будто рот у него выстлан фланелью, а вместо языка — кусок ватина. — Здесь нет кокаина. Это не то лекарство, чтоб отпускать его где по...

— Я не говорил «кокаин», — сказал мужчина в синем костюме и оправленных в золото очках. — Я сказал кефлекс.

«Я думал, что ты так сказал», — чуть не ляпнул Кац этому ненормальному мамзеру, однако решил, что тот может взбелениться. Он слыхал об аптеках, обчищенных из-за амфетамина, из-за бенечек, из-за полудюжины других препаратов (включая драгоценный валиум миссис Ратбан), но кефлекс? Кац подумал, что это будет первое пенициллиновое ограбление в истории.

Голос папаши (холера в бок старому паразиту) велел: хватит усираться со страху и бессмысленно таращить глаза. Делай что-нибудь.

Но Кац ничего не мог придумать.

Из тупика его вывел человек с револьвером.

— Пошевеливайся, — сказал человек с револьвером. — Я спешу.

— С-сколько вам нужно? — спросил Кац. Его взгляд на какую-то долю секунды порхнул за плечо грабителя, и аптекарь увидел такое, во что с трудом мог поверить. В этом городе? Нет. Тем не менее, похоже, это происходило на самом деле. Везение? Что, Кацу в самом деле привалило счастье, и не еврейское? Вот это можно было заносить в «Книгу рекордов Гиннеса»!

— Не знаю, — сказал человек с револьвером. — Сколько сможешь положить в суму. В большую суму. — Тут он безо всякого предупреждения круто повернулся на каблуках, и зажатый в кулаке револьвер снова рявкнул. Зычно взревел какой-то мужчина. Стекло витрины разлетелось, осыпавшись на тротуар и мостовую сверкающим водопадом осколков разной формы. Нескольких прохожих порезало, но серьезно никто не пострадал. В аптеке Каца кричали женщины (да и мужчины не очень-то отставали). Хрипло заревела сигнализация. Покупатели в панике ринулись к дверям, за порог. Человек с револьвером опять повернулся к Кацу; выражение его лица совершенно не изменилось — это было выражение пугающего (но не безграничного) терпения, читавшееся в чертах незваного гостя с самого начала. — Делай, что сказано, да побыстрее. Мне некогда.

Кац сглотнул.

— Да, сэр, — сказал он.

Еще на полпути к прилавку, за которым хранились могущественные зелья, стрелок заметил в левом верхнем углу лавки изогнутое зеркало и восхитился. При нынешнем положении вещей в его родном мире создать такое выпуклое зеркало не сумел бы ни один ремесленник, хотя, возможно, в былые времена подобные вещи (да и многое другое из того, что Роланд повидал в мире Эдди и Одетты) делали. Он видел подобные останки и в тоннеле под горами, и в других местах... реликвии, такие же древние и таинственные, как камни друитов, порой попадавшиеся в местах, куда являлись демоны.

Кроме того, стрелок понял назначение этого зеркала.

Движение стража он заметил с крохотным запозданием (поскольку все еще продолжал открывать для себя, как страшно сужают его периферическое зрение линзы, которыми Морт прикрывал глаза), но ему все-таки хватило времени повернуться и выстрелом выбить у него из руки пистолет. Этот выстрел сам Роланд считал обычным делом — разве что следовало быть чуточку расторопней, — однако у охранника сложилось иное мнение. Ральф Леннокс до конца своих дней будет клясться, что такого выстрела в принципе не может быть... если не считать старых детских вестернов вроде «Энни Оукли».

Благодаря зеркалу, помещенному в углу под потолком (очевидно, для выявления воришек), со вторым противником Роланд разобрался быстрее.

Заметив, что взгляд алхимика на секунду метнулся куда-то вверх, за его, Роланда, плечо, стрелок немедленно посмотрел на зеркало сам. В зеркале он увидел, что позади него по центральному проходу идет мужчина в кожаной куртке. В руке у мужчины был длинный нож, а в голове, без сомнения, мечты о славе.

Стрелок развернулся и, молниеносно опустив револьвер к бедру, выстрелил, сознавая, что из незнакомого оружия с первого раза может промазать. Однако, не желая, чтобы пострадал кто-нибудь из покупателей, застывших в оцепенении позади потенциального героя, Роланд предпочел дважды выстрелить от бедра, дабы пули сделали свое дело, двигаясь снизу вверх по косой под таким углом, который защитит случайных свидетелей. Он счел, что это лучше, нежели ненароком отправить в мир иной какую-нибудь даму, чье единственное преступление состояло в том, что для похода за духами она выбрала не тот день.

Револьвер оказался в хорошем состоянии, прицел — точным. Если вспомнить плохо тренированных, приземистых и разжиревших стрелков, у которых Роланд его забрал, создавалось впечатление, будто они лучше заботились о том оружии, какое носили при себе, чем о том, которым были сами. Такое поведение казалось странным, но, конечно, это был странный, чужой мир, и Роланд не мог судить; если уж на то пошло, у него не было времени судить.

Выстрелил он удачно, обрубив лезвие ножа у самого основания, так что в руке у мужчины осталась лишь рукоять.

При этом Роланд не сводил с кожаного спокойных глаз, и что-то в его пристальном взгляде, должно быть, заставило этого кандидата в герои вспомнить о какой-то очень важной встрече где-то в другом месте, поскольку он круто развернулся, уронил то, что осталось от ножа, на пол и присоединился к общему бегству.

Роланд опять отвернулся и отдал распоряжения алхимику. Еще кто-нибудь начнет выебываться, и польется кровь. Алхимик повернулся, чтобы уйти, но Роланд постучал стволом пистолета по костлявой лопатке. Издав задушенное «Ииииик!», алхимик тут же обернулся.

— Не ты. Ты оставайся здесь. Пусть это сделает твой подмастерье.

— К-кто?

— Он. — Стрелок нетерпеливым жестом указал на помощника.

— Что я должен сделать, мистер Кац? — На побелевшем лице помощника ярко проступили следы юношеских угрей.

— Делай, что он говорит, потц! Выполняй заказ! Кефлекс!

Помощник подошел к одной из полок за прилавком и взял какой-то флакон.

— Поверни так, чтобы я мог видеть начертанные там слова, — велел стрелок.

Помощник повиновался. Роланд не мог прочесть надпись; слишком много в ней было букв, отсутствующих в его алфавите. Он справился в «Мортципедии». «Кефлекс», подтвердила та, и Роланд понял: проверки — тоже дурацкая трата времени. В отличие от него эти люди не знали, что в чужом мире он может прочесть далеко не все.

— Сколько в этой бутылке пилюль?

— Ну, собственно говоря, это капсулы, — нервно сказал помощник. — Если вас интересуют препараты 'циллинового ряда в пилюлях...

— Оставим это. Сколько доз?

— О. Э... — Всполошившийся помощник взглянул на флакон и чуть не выронил его. — Двести.

Чувства Роланда сильно напоминали то, что он ощутил, узнав, сколько патронов можно купить в этом мире на пустячную сумму. В потайном отделении аптечки Энрико Балазара нашлось девять пробных флаконов кефлекса (всего тридцать шесть доз), но и от них Роланд вновь почувствовал себя хорошо. Если не удастся убить инфекцию двумястами дозами, ее вообще нельзя убить.

— Давай сюда, — сказал мужчина в синем костюме.

Помощник подал ему флакон.

Стрелок поддернул рукав пиджака. Стал виден «Ролекс» Джека Морта.

— Денег у меня нет, но это может послужить достаточным возмещением убытков. Во всяком случае, я на это надеюсь.

Он повернулся, кивнул на охранника, который все еще сидел на полу возле своей перевернутой табуретки, не сводя со стрелка широко раскрытых глаз, и вышел из аптеки.

Вот так вот просто.

На пять секунд в аптеке воцарилась тишина, нарушаемая лишь истошным, хриплым ревом сигнализации — таким громким, что он заглушал даже уличный гам.

— Господи Боже, мистер Кац, что нам теперь делать? — прошептал помощник.

Кац взял часы и взвесил их на ладони.

Золото. Чистое золото.

Он не мог в это поверить.

Ему пришлось в это поверить.

Какой-то сумасшедший забрел с улицы к нему в аптеку, выстрелом выбил пистолет у охранника и нож — еще у одного человека, и все это для того, чтобы получить лекарство, о котором Кац подумал бы в последнюю очередь.

Кефлекс.

От силы на шестьдесят долларов кефлекса.

И расплатился часами «Ролекс» за шесть с половиной тысяч.

— Что делать? — переспросил Кац. — Что делать? Первое, что ты сделаешь — уберешь эти часы под прилавок. Ты их в глаза не видел. — Он посмотрел на Ральфа. — И ты тоже.

— Да, сэр, — немедленно согласился Ральф. — Если я получу свою долю, когда вы их загоните, то никаких часов я отродясь не видел.

— Пристрелят его на улице, как собаку, — с явным удовлетворением в голосе сказал Кац.

— Кефлекс! Да ведь этот тип и носом-то ни разу не шмыгнул, — недоуменно вымолвил помощник.

4. ИЗВЛЕЧЕНИЕ

В мире Роланда нижний закругленный край солнца, коснувшись, наконец, глади Западного моря, зажег ее ясным и веселым золотым огнем, побежавшим по воде туда, где, связанный точно индюшка, лежал Эдди, а тем временем в том мире, откуда стрелок забрал молодого человека, с трудом приходили в сознание полицейские О'Мейра и Диливэн.

— Снимите с меня наручники, а? — робко попросил Жирный Джонни.

— Где он? — с трудом ворочая языком, прохрипел О'Мейра и зашарил в поисках кобуры. Кобура исчезла. Кобура, портупея, пули, револьвер. Револьвер.

О черт.

В голову полезли вопросы, которые могли задать говнюки из Отдела служебных расследований — парни, которые все, что им известно об уличной жизни, узнали из «Трала» Джека Уэбба — и стоимость револьвера в ее денежном выражении вдруг стала волновать О'Мейру не больше, чем численность населения Ирландии или основные полезные ископаемые Перу. Он посмотрел на Карла и увидел, что Карл тоже лишился оружия.

«Боженька, миленький, пособи дуракам», — подумал несчастный О'Мейра, и когда Жирный Джонни опять спросил, не воспользуется ли О'Мейра лежащим на прилавке ключом, чтобы отпереть наручники, сказал: «Да надо бы...» и осекся. Он умолк, поскольку на языке вертелось «Да надо бы другое сделать, надо бы продырявить тебе брюхо», но ведь застрелить Жирного Джонни было трудновато, верно? Все стволы в магазине крепились к витринам цепочками, и мерзавец в золотых очках, гнусный тип, казавшийся таким солидным гражданином, отобрал револьверы у них с Карлом так же легко и просто, как сам О'Мейра мог бы отобрать пугач у пацаненка.

Вместо того, чтобы закончить фразу, он взял ключ и отпер наручники. Углядев в углу «Магнум», который туда отшвырнул ногой Роланд, О'Мейра подобрал его. В кобуру «Магнум» не влезал, и О'Мейра засунул его за ремень.

— Эй, это мое! — проблеял Жирный Джонни.

— Да? Ты хочешь получить его обратно? — Выговаривать слова приходилось медленно — голова у О'Мейры действительно трещала. В этот момент ему хотелось только одного: найти мистера Золоченые Очки и прибить гвоздями к первой попавшейся стене. Тупыми гвоздями. — Я слышал, в «Аттике» любят толстяков вроде тебя, Джонни. Знаешь, как там говорят? «Большой жопе хер радуется». Ты уверен, что хочешь получить свою дуру обратно?

Жирный Джонни без единого слова повернулся и пошел прочь, однако О'Мейра успел заметить подступившие к глазам толстяка слезы и мокрое пятно на штанах. Жалости он не почувствовал.

— Где он? — сиплым, звенящим голосом спросил Карл Диливэн.

— Ушел, — вяло ответил Жирный Джонни. — Больше я ничего не знаю. Ушел. Я думал, он меня убьет.

Диливэн медленно поднимался на ноги. Почувствовав на щеке липкую сырость, он взглянул на свои пальцы. Кровь. Блядь. Рука, сама потянувшаяся к кобуре, зашарила в поисках револьвера, и эти поиски затянулись надолго — пальцы давно уже заверили Карла Диливэна, что револьвер исчез вместе с кобурой, а он все продолжал с надеждой ощупывать себя. О'Мейра отделался просто головной болью; Диливэну казалось, что кто-то использовал его черепную коробку под ядерный полигон.

— Парень забрал мой револьвер, — сказал он О'Мейре. Язык у него так заплетался, что разобрать слова было почти невозможно.

— Милости прошу в клуб.

— Он еще здесь? — Сделав шаг к О'Мейре, Диливэн накренился влево, точно находился на палубе бороздящего бурное море корабля, однако исхитрился выпрямиться.

— Нет.

— Давно? — Диливэн посмотрел на Жирного Джонни, но ответа не получил — быть может, потому, что Жирный Джонни, стоявший к полицейским спиной, подумал, что Диливэн все еще говорит с напарником. Диливэн, и в самых благоприятных обстоятельствах не отличавшийся спокойным нравом и сдержанным поведением, рявкнул на него (отчего ему почудилось, что голова у него сейчас расколется на тысячу кусков): Тебя спрашивают, говнюк жирный! Давно этот козел смылся?

— Ну, может, минут пять, как, — тупо сказал Жирный Джонни. — Прихватил свои патроны и ваши пушки. — Он помолчал. — За патроны он заплатил. Поверить не могу.

«Пять минут, — подумал Диливэн. Мужик приехал на тачке. Сидя в патрульной машине и прихлебывая кофе, они видели, как он выходил из такси. Приближался час пик. В это время дня поймать тачку трудно. — А может...»

— Пошли, — сказал он Джорджу О'Мейре. — У нас все еще есть шанс его прищучить. А эта жирная потаскуха пусть даст ствол...

О'Мейра продемонстрировал «Магнум». Поначалу Диливэн увидел два револьвера, потом они медленно слились в один.

— Хорошо. — Диливэн приходил в себя — не сразу, а мало-помалу, как боксер-профессионал, получивший основательный удар в подбородок. — Пусть будет у тебя. Я возьму ружье из машины. — Он двинулся к двери и на этот раз не просто покачнулся; его шатнуло, и он был вынужден ухватиться за стену, чтобы удержаться на ногах.

— Ты как, оклемаешься? — спросил О'Мейра.

— Если мы его поймаем, — сказал Диливэн.

Они ушли. Жирный Джонни обрадовался их отбытию — не так сильно, как радовался уходу зомби в синем костюме, но почти. Почти так же.

Диливэну с О'Мейрой даже не нужно было обсуждать, куда, покинув оружейный магазин, мог направиться преступник. Достаточно было послушать доносившийся из рации голос диспетчера.

— Девятнадцатый, — снова и снова повторяла она. — Ограбление с применением огнестрельного оружия. Девятнадцатый, Девятнадцатый, координаты: Вест, Сорок девятая, 395, аптека Каца; преступник высокого роста, рыжеватый, синий костюм...

«С применением огнестрельного оружия, — подумал Диливэн, и голова у него заболела пуще прежнего. — Интересно, из чьего ствола он стрелял, О'Мейры или моего? Или из обоих? Если этот мешок с говном кого-нибудь угрохал, мы накрылись медным тазом. Вот разве что мы его повяжем».

— Рванули, — коротко велел он О'Мейре. Тому не нужно было повторять дважды. Он понимал ситуацию не хуже Диливэна. С маху нажав кнопки, включившие мигалки и сирены, он вклинился в поток машин — только взвизгнули шины. Уже образовывались заторы (начинался час пик), и О'Мейра повел патрульную машину двумя колесами по сточной канаве, а двумя — по тротуару, распугивая пешеходов, как перепелок. На Сорок девятую пытался втиснуться фургон «Продукты». О'Мейра подрезал ему заднее крыло. Впереди, на тротуаре, мерцало битое стекло. Оба полицейских слышали резкий надсадный рев сигнализации. Пешеходы укрывались в подъездах и за кучами мусора, зато жильцы верхних этажей охотно глазели из окон, точно внизу показывали на редкость хорошее телевизионное шоу или бесплатное кино.

Во всем квартале не осталось ни единой машины; они разогнали и такси, и рейсовые автобусы.

— Надеюсь только, что он еще там, — сказал Диливэн и ключом отомкнул под приборным щитком короткие стальные скобы, охватывавшие приклад и ствол духового ружья. Он вытащил ружье из креплений. — Надеюсь только, что этот хер вонючий, этот сукин сын все еще там.

Оба они не понимали, что, имея дело со стрелком, лучше чересчур не нарываться.

Когда Роланд вышел из аптеки Каца, к лежавшим в карманах пиджака Джека Морта картонным коробкам с патронами присоединился большой флакон кефлекса. В правой руке Роланд держал табельное оружие Карла Диливэна, револьвер тридцать восьмого калибра. Черт возьми, до чего же приятно было держать револьвер здоровой правой рукой.

Услышав вой сирены, стрелок увидел машину, с ревом мчавшуюся по улице. «Они», — подумал Роланд. Он начал поднимать револьвер, и тут вспомнил: это стрелки. Стрелки, выполняющие свой долг. Он повернулся и опять вошел в лавку алхимика.

— Стой, козел! — пронзительно завопил Диливэн. Взгляд Роланда метнулся к выпуклому зеркалу, и вовремя: он увидел, как один из стрелков (тот, у которого из уха шла кровь) высунулся из окна с дробовиком. Его напарник резко остановил экипаж, отчего одетые резиной колеса взвизгнули и из-под них пошел дым, и первый стрелок вогнал патрон в патронник.

Роланд грянулся на пол.

Чтобы понять, что сейчас произойдет, Кацу не нужны были никакие зеркала. Сперва просто псих, теперь — психованные фараоны. Ой-вэй.

— Ложись! — визгливо крикнул он своему ассистенту и охраннику Ральфу, после чего рухнул на колени за прилавком, не подождав, чтобы посмотреть, сделают они то же самое или нет.

Потом, на ничтожную долю секунды опередив спустившего курок Диливэна, на Каца сверху обрушился ассистент, приложив хозяина головой о пол и в двух местах сломав ему челюсть. Так не в меру рьяный футболист, «пасущий» защитника, сбивает его с ног в своем стремлении отобрать мяч.

Сквозь ревущую волну боли, которая внезапно захлестнула голову, аптекарь услышал ружейный выстрел, услышал, как бьется уцелевшее стекло витрин — а вместе с ним флаконы с лосьонами после бритья, одеколоном, духами, зубными эликсирами, полосканиями, сиропами от кашля и невесть с чем еще. Тысяча противоречивых запахов, поднявшись над осколками, произвела на свет адское зловоние, и, теряя сознание, Кац в очередной раз воззвал к Богу, упрашивая покарать его покойного папашу, в первую очередь за то, что тот, точно ядро — каторжнику, приковал ему к ноге это несчастье, эту проклятую аптеку.

Роланд увидел, как ураган выстрела смел бутылочки и коробочки. Стеклянный ящик с хронометрами развалился. Такая же участь постигла большую часть его содержимого. Назад полетело сверкающее облако обломков.

«Они не могут знать, есть ли здесь еще невинные люди, или нет, — подумал он. — Не могут — и все равно применяют дробовик!»

Непростительно. Роланд почувствовал злость и подавил ее. Эти двое — стрелки. Лучше думать, что от удара головой о голову мозги у них стали набекрень, чем считать, что они поступают сознательно, не заботясь о тех, кто может пострадать или погибнуть.

Они надеялись, что он либо обратится в бегство, либо начнет стрелять.

Вместо этого Роланд, пригибая голову, по-пластунски пополз вперед, разодрав ладони и колени осколками стекла. От боли Джек Морт опять пришел в сознание, и Роланд обрадовался его возвращению: Морт мог ему понадобиться. Что касается колен и рук Морта, стрелка это не заботило. Он с легкостью мог терпеть такую боль, и кроме того, раны наносились телу изувера, который ничего лучшего не заслуживал.

Добравшись до самой витрины (точнее, того, что осталось от огромного цельного стекла), Роланд оказался слева от двери и, весь напружинившись, изготовился к прыжку. Револьвер, который он держал в правой руке, Роланд убрал в кобуру.

Револьвер ему не понадобится.

— Что ты делаешь, Карл? — заорал О'Мейра. Перед его мысленным взором внезапно встал заголовок «Дэйли Ньюз»: «ЧЕТВЕРО В ВЕСТ-САЙДСКОЙ АПТЕКЕ ГИБНУТ ОТ РУК ПОЛИЦЕЙСКОГО. ПОЛОЖЕНИЕ НОРМАЛЬНОЕ, ХУЖЕ НЕКУДА».

Не обращая на него внимания, Диливэн вогнал в дробовик новый заряд.

— Ну, давай брать этого говнюка.

Все случилось именно так, как надеялся стрелок.

В ярости от того, что их без труда одурачил и разоружил человек, показавшийся им, пожалуй, не более опасным, чем любой другой молоденький педераст с улиц этого словно бы бесконечного города, все еще не вполне пришедшие в себя после удара по голове, они ринулись на Роланда. Кретин, стрелявший из дробовика, несся впереди. Они бежали, слегка пригнувшись, как солдаты, атакующие вражеские позиции, но это была единственная уступка, какую они сделали мысли о том, что их противник все еще может быть внутри. В их представлении он уже выскочил через черный ход и удирал по переулку.

Итак, прохрустев башмаками по осколкам стекла на тротуаре, они подбежали к аптеке, и когда стрелок с дробовиком, распахнув дверь, от которой осталась одна рама, бросился за порог, в атаку, Роланд, сцепивший руки в единый кулак, поднялся и обрушил этот кулак на загривок офицера полиции Карла Диливэна.

На допросе в комиссии по расследованию Диливэн заявит: последнее, что он помнит — это как опустился на колени в магазине Клеменца и увидел под прилавком бумажник преступника. Члены комиссии решили, что, учитывая обстоятельства дела, подобная амнезия — штука на редкость удобная, поэтому Диливэну повезло, что он отделался только отстранением от работы на шесть дней с удержанием жалования. Роланд, впрочем, поверил бы и в иной ситуации (например, если бы этот болван не разрядил дробовик в магазин, где могло быть полно ни в чем не повинных людей) даже посочувствовал. Когда тебе за полчаса дважды проламывают череп, можно ожидать некоторого количества мозгов всмятку.

Внезапно сделавшись бескостным, точно мешок с овсом, Диливэн повалился на пол, и Роланд вынул дробовик из его слабеющих рук.

— Стой! — пронзительно крикнул О'Мейра, в чьем голосе смешались злость и испуг. Он принялся поднимать «Магнум» Жирного Джонни, и подозрения Роланда вновь оправдались: медлительность здешних стрелков была достойна сожаленья. Он мог бы уже трижды застрелить О'Мейру, но нужды в этом не было. Роланд размахнулся, и ружье, двигаясь снизу вверх, с силой очертило в воздухе крутую дугу. Раздался глухой шлепок: приклад состыковался с левой щекой О'Мейры. Звук был таким, какой слышишь, когда бейсбольная бита встречается с мячом, несущимся, без преувеличения, на всех парах. Вся нижняя часть лица О'Мейры вдруг сдвинулась на два дюйма вправо. Чтобы снова привести его в божеский вид, потребуется три операции и четыре стальных штырька. Колени полицейского подломились, и он рухнул на пол.

Роланд стоял в дверях, не обращая внимания на приближающиеся сирены. Переломив дробовик, он повозился с механизмом подачи воздуха, и все пухлые красные патроны выбросило на тело Диливэна. Следом на Диливэна упало и ружье.

— Ты — опасный дурак, которого следовало бы отправить на тот свет, — сказал Роланд бесчувственному полисмену. — Ты позабыл лик своего отца.

Он перешагнул через тело и подошел к экипажу стрелков, мотор которого все еще работал вхолостую. Забравшись внутрь через дверцу со стороны пассажирского сиденья, Роланд скользнул за руль.

«Ты умеешь водить такой экипаж?» — спросил он у визжащего какую-то невнятицу существа, которым был Джек Морт.

Вразумительного ответа он не получил; Морт попросту продолжал вопить. Стрелок признал в этом истерику — впрочем, не вполне искреннюю. Морт закатил истерику нарочно, усмотрев в этом способ избежать всякого общения со странным похитителем.

«Послушай, — сказал ему стрелок. — У меня нет времени повторять что бы то ни было по два раза. У меня его осталось очень мало. Если ты не ответишь на мой вопрос, я всажу большой палец твоей правой руки в твой же правый глаз. Я впихну его так глубоко, как он войдет, а потом вырву глаз из глазницы и разотру по сиденью этого экипажа, точно комок соплей. Сам я прекрасно обойдусь одним глазом. В конце концов, глаз-то не мой».

Он не мог солгать Морту так же, как Морт — ему; для обеих сторон их отношения по своей природе были холодными и вынужденными, и все же более близкими, чем самый страстный акт сексуального общения. В конце концов, эти отношения состояли не в слиянии тел, а в полном соединении сознаний.

Роланд имел в виду именно то, что сказал.

И Морт это знал.

Истерика вдруг прекратилась. «Умею», — сказал Морт. Это было первое разумное слово, услышанное Роландом от Морта с тех пор, как он прибыл в сознание этого человека.

«Тогда веди».

«Куда ехать?»

«Ты знаешь место под названием «Вилледж»?»

«Да».

«Поезжай туда».

«А в Вилледж куда?»

«Пока что просто поезжай».

«Если я включу сирену, мы сможем ехать быстрее».

«Отлично. Включай. И эти мигающие лампы тоже».

И Роланд (впервые с тех пор, как, силой захватив Джека Морта, подчинил его своей власти) слегка отступил на второй план, позволив сознанию Морта возобладать. Когда Морт отвернулся, чтобы обследовать приборный щиток сине-белой машины Диливэна и О'Мейры, инициатором движения был он сам, Роланд же выступал в роли наблюдателя. Однако будь стрелок не бестелесным ка, а существом из плоти, он бы касался земли лишь кончиками пальцев ног, готовый при малейших признаках мятежа прыгнуть вперед и вновь взять Морта под свой контроль.

Впрочем, никаких признаков бунта не было. Этот человек убил и искалечил Бог весть сколько невинных людей, но не собирался лишаться своего драгоценного глаза. Он торопливо пощелкал переключателями, потянул за какой-то рычаг, и машина вдруг поехала. Тонко, пронзительно взвыла сирена, и стрелок увидел, как по передней части экипажа заскользили красные, пульсирующие вспышки света.

«Скорее», — угрюмо приказал стрелок.

Несмотря на мигалки, на сирену и на то, что Джек Морт непрерывно давил на клаксон, дорога до Гринич-Вилледж в час пик заняла двадцать минут. В мире стрелка надежды Эдди Дийна распадались, точно дамба в ливень, чтобы совсем скоро рухнуть окончательно.

Море пожрало половину солнечного диска.

«Ну, — сказал Джек Морт, — приехали». Он не обманывал (он никак не мог солгать), хотя Роланду все здесь казалось таким же, как везде: плотно забитые домами, людьми и экипажами улицы. Экипажи не только загромождали улицы, но и засоряли воздух, наполняя его непрестанным грохотом и ядовитыми испарениями. Причиной тому, полагал Роланд, было сжигаемое экипажами топливо. Удивительно, что эти люди вообще могли жить и что женщины рождали детей, а не монстров вроде обитающих под горами Мутантов-Недоумков.

«Куда теперь?» — спрашивал Морт.

Вот оно, самое трудное. Стрелок приготовился — во всяком случае, по возможности.

«Выключи лампы и сирену. Остановись у тротуара».

Морт затормозил патрульную машину у пожарного крана.

«В этом городе есть подземные железные дороги, — сказал стрелок. — Я хочу, чтобы ты отвел меня на станцию, где эти поезда останавливаются, чтобы выпустить и впустить пассажиров».

«Куда именно?» — спросил Морт. Если пользоваться палитрой чувств, эта мысль была подцвечена паникой. Морт ничего не мог скрыть от Роланда, а Роланд — от Морта... по крайней мере, надолго.

«Несколько лет назад — не знаю, сколько — на одной из этих подземных станций ты толкнул под поезд молодую женщину. Я хочу, чтобы ты отвел меня туда».

Последовала короткая, ожесточенная борьба. Победу одержал стрелок, но она досталась ему на удивление трудно. Джек Морт по-своему страдал такой же раздвоенностью, как и Одетта. В отличие от нее, он не был шизофреником и отлично знал, что время от времени проделывает. Но свое тайное «я» — ту часть своей личности, которая была Толкачом — он держал под замком, проявляя при этом не меньшую осмотрительность, чем растратчик, прячущий тайком снятые «пенки».

«Вези меня туда, сволочь», — повторил стрелок, и большой палец опять неторопливо двинулся к правому глазу Морта. Он был еще в пути и до цели оставалось меньше полудюйма, когда Морт сдался.

Правая рука Морта снова передвинула рычаг возле руля, и они покатили в сторону станции «Кристофер-стрит», где около трех лет назад легендарный поезд «А» отрезал ноги женщине по имени Одетта Холмс.

— Ну и ну, ты глянь-ка, — сказал патрульный Эндрю Стонтон своему напарнику, Норрису Уиверу, когда сине-белая машина Диливэна и О'Мейры остановилась в половине квартала от них. Места для парковки там не было, но водитель и не пытался его найти. Он просто поставил машину во второй ряд, загородив проезд и предоставив плотному потоку машин, которым была запружена улица, кропотливо, дюйм за дюймом, прокладывать себе путь через оставшуюся лазейку подобно тоненькой струйке крови, пытающейся снабдить кислородом сердце, безнадежно забитое холестерином.

Уивер проверил цифры на правом переднем крыле. 744. Да, точно, тот самый номер, который назвала диспетчер.

Мигалки работали и все выглядело вполне кошерно... пока не открылась дверца и не вышел водитель. Костюм на нем, конечно, был синий, но не тот, к какому положены золотые пуговицы и серебряная бляха. Башмаки тоже были не полицейского образца — вот разве что Стонтон с Уивером проворонили меморандум, извещавший офицеров, что отныне форменная обувь будет поступать от Гуччи, но это казалось маловероятным. Вероятным казалось другое: это — тот самый гад, что угнал на окраине полицейскую машину. Он вылез, не обращая внимания на трубящие клаксоны и крики пытавшихся протиснуться мимо него водителей.

— Черт, — выдохнул Энди Стонтон.

«Приближаться в высшей степени осторожно, — сказала диспетчер. — Этот человек вооружен и крайне опасен». Обычно диспетчеров по голосу можно было принять за самых скучающих людей на земле (что, насколько знал Энди Стонтон, соответствовало истине), а потому тот почти благоговейный ужас, с которым девушка подчеркнула слово «крайне», заусеницей застрял у него в сознании.

Стонтон впервые за четыре года службы потащил из кобуры пистолет и покосился на Уивера. Уивер тоже вытащил свой пистолет. Они стояли у магазина деликатесов, примерно в тридцати футах от ступеней, ведущих к железнодорожным путям. Стонтон с Уивером знали друг друга достаточно давно и приспособились друг к дружке так, как могут только полицейские да солдаты-профессионалы. Не обменявшись ни единым словом, они отступили в двери «Деликатесов». Дула револьверов смотрели вверх.

— Подземка? — спросил Уивер.

— Ага. — Энди бросил быстрый взгляд на вход. Час пик был уже в разгаре и лестницу, ведущую в подземку, заполонили люди, направлявшиеся к своим поездам. — Надо брать его прямо сейчас, пока он не успел близко подойти к толпе.

— Ну, давай.

Они один за другим выступили из дверей магазина — образцовый тандем. Роланд сразу же признал бы в этих стрелках противников гораздо более опасных, чем первые два. Одна из причин заключалась в том, что они были моложе; а еще (хотя Роланд об этом не знал) некий неизвестный диспетчер навесил ему ярлык «крайне опасен», что в глазах Энди Стонтона и Норриса Уивера приравнивало его к злобному и свирепому тигру. «Если он не остановится в ту же секунду, как я велю ему остановиться, он покойник», — думал Энди.

— Стоять! — пронзительно выкрикнул он, выбрасывая вперед обе руки с зажатым в них пистолетом и резко приседая. Уивер рядом с ним сделал то же самое. — Полиция! Руки за го...

Больше Стонтон ничего не успел сделать: субъект в синем костюме кинулся к лестнице, ведущей на перроны. Двигался он стремительно, со сверхъестественной скоростью. Тем не менее Энди Стонтон уже завелся. Стрелки на всех его циферблатах подскочили до максимальной отметки. Он крутанулся на каблуках, чувствуя, как на него спадает покров бесстрастной холодности — ощущение, которое Роланд тоже узнал бы. В сходных ситуациях он и сам неоднократно испытывал то же.

Немножко поцелившись в бегущую фигуру, Энди нажал курок своего . 38 и увидел, как человек в синем костюме волчком завертелся на месте, силясь удержаться на ногах. Потом он упал, а пассажиры, за считанные секунды до этого сосредоточенные лишь на одном — как бы пережить очередную дорогу домой на метро — с визгом бросились врассыпную, точно перепелки. Им вдруг открылось, что сегодня после обеда придется пережить не только поездку в пригородном поезде.

— В бога-мать, напарник, — выдохнул Норрис Уивер, — ты его замочил.

— Знаю, — сказал Энди. Его голос не дрогнул. Стрелок пришел бы в восхищение. — Пойдем, посмотрим, кто он был такой.

«Я умер! — визжал Джек Морт. — Я умер, меня из-за тебя убили, я мертвый, я...»

«Нет», — отвечал стрелок. В щелки между веками он увидел: к нему, по-прежнему с оружием в руках, приближаются полицейские. Эти были моложе и проворнее тех, что поставили свой экипаж у оружейной лавки. Проворнее. И по крайней мере один из них чертовски хорошо стрелял. Морт (а вместе с ним и Роланд) должен был бы умереть, умирать или получить серьезное ранение. Энди Стонтон стрелял, чтобы убить, и его пуля пробуравила левый лацкан пиджака Морта. Более того, пуля пробила нагрудный карман рубашки — но дальше не прошла. Жизнь обоим мужчинам — и тому, что внутри, и тому, что снаружи — спасла зажигалка Морта.

Морт не курил, зато курил его начальник (Морт втайне рассчитывал на будущий год к этому времени занять его место). Соответственно Морт купил в магазине фирмы «Данхилл» серебряную зажигалку за двести долларов. Бывая в обществе мистера Фрэмингэма, Морт подносил ему огонька отнюдь не всякий раз, как тот совал в пасть сигарету — это бы слишком смахивало на подхалимаж. Только время от времени... и, как правило, в присутствии еще более высокого начальства — кого-нибудь, кто сумел бы оценить: а) спокойную учтивость Джека Морта и б) хороший вкус Джека Морта.

Умные люди предусматривают все возможные шаги.

На сей раз такая всеобъемлющая предусмотрительность спасла жизнь и ему, и Роланду. Вместо того, чтобы ударить Морта в сердце (самое обычное, такое же, как у всех людей; к счастью, страсть Морта к фирменным вещам — вещам хороших торговых марок — под кожу не углублялась).

Разумеется, его все равно ранило. Когда в вас угодит пуля крупного калибра, нечего и думать выйти сухим из воды. Зажигалку вдавило Морту в грудь так сильно, что образовалась вмятина. Серебряная вещица сплющилась, а затем разлетелась на кусочки, оставляя на коже Морта неглубокие бороздки; один тонкий острый осколок разрезал левый сосок Морта почти пополам. Вдобавок горячая пуля подожгла пропитанную бензином фетровую прокладку зажигалки. Тем не менее, пока блюстители закона приближались, стрелок лежал неподвижно. Тот полицейский, который не стал в него стрелять, твердил окружающим: не подходить, не подходить, держаться подальше, черт подери.

«Горю! — пронзительно взвизгнул Морт. — Я горю, потушите огонь! Потушите! ПОТУШИИИИИТЕ!»

Стрелок лежал без движения, слушая, как поскрипывают по мостовой башмаки приближающихся стрелков, не обращая внимания на визгливые крики Морта и стараясь не обращать внимания ни на внезапно запылавшие у груди уголья, ни на запах поджаривающейся плоти.

— Боже, — пробормотал кто-то, — ты что, стрелял трассирующей пулей, мужик?

Из дыры в лацкане пиджака Морта тонкой аккуратной струйкой поднимался дымок. По краям он просачивался более неряшливыми кляксами. Ноздрей полицейских коснулся запах горелого мяса — пропитанные жидкостью для зажигалок кусочки фетра, которыми был набит разорванный пулей корпус «Ронсона», и в самом деле загорелись.

И тут Энди Стонтон, который до сих пор действовал безукоризненно, совершил свою единственную ошибку — такую, за которую Корт, несмотря на прежние, достойные всяческого восхищения деяния Энди, отослал бы его домой со вспухшим ухом, растолковав, что одной ошибки почти всегда оказывается довольно, чтобы проститься с жизнью. Пристрелить субъекта в синем костюме Стонтон смог (чего на самом деле ни один полицейский о себе не знает, пока обстоятельства не вынудят его выяснить это), но мысль о том, что его пуля непонятным образом подожгла парня, наполнила его безрассудным страхом. Поэтому он, не задумываясь, нагнулся, чтобы потушить огонь, и только успел заметить блеск сознания в мертвых (Энди присягнул бы, что в мертвых) глазах, как стрелок с размаху ударил его ногой в живот.

Замахав руками, Стонтон отлетел назад, на напарника. Пистолет вылетел у него из руки. Уивер своего оружия не выпустил, но к тому времени, как он освободился от Стонтона, прогремел выстрел, и пистолет Норриса Уивера волшебным образом исчез, а рука, в которой он был, онемела, словно по ней ударили очень большим молотком.

Тип в синем костюме поднялся, на секунду задержал на них взгляд и сказал:

— Вы молодцы. Лучше тех, других. Посему позвольте дать вам совет. Не ходите за мной. Все уже почти закончилось. Я не хочу, чтобы пришлось вас убить.

Потом он круто повернулся и побежал к лестнице в метро.

Лестница была забита теми, кто спускался в метро, но с началом криков и стрельбы, одержимый присущим жителям Нью-Йорка нездоровым и отчего-то нигде больше не встречающимся любопытством, повернул обратно, чтобы посмотреть, насколько скверно обстоят дела, сколько действующих лиц и много ли крови пролито на грязный бетон. Несмотря на это, они все-таки исхитрились отпрянуть от одетого в синий костюм человека, который очертя голову ринулся вниз по ступеням. И немудрено. Один пистолет он сжимал в руке, второй висел на охватывающем талию ремне.

К тому же человек этот, кажется, горел.

Пиджак, рубашка и майка Морта горели все веселее, серебро зажигалки начало плавиться и обжигающими ручейками потекло вниз, на живот, однако Роланд не обращал ни малейшего внимания на Морта, все громче визжавшего от боли.

Роланд чуял запах нечистого движущегося воздуха, слышал рев приближающегося поезда.

Время почти пришло; еще немного — и настанет тот миг, тот момент, когда он либо вытащит из этого мира всех троих, либо все потеряет. Роланду во второй раз почудилось, будто он чувствует, как над головой дрожат и шатаются миры.

Он очутился внизу, на платформе, и отшвырнул . 38 в сторону. Расстегнув штаны Джека Морта, он небрежным рывком спустил их, явив миру белое исподнее, смахивавшее на панталоны шлюхи. Времени размышлять над такой странностью у Роланда не было. Если он будет мешкать, то может перестать тревожиться о том, что сгорит заживо; когда купленные им патроны нагреются достаточно для того, чтобы сдетонировать, его тело просто разнесет взрывом.

Стрелок затолкал коробки с патронами в исподнее, вынул флакон кефлекса и проделал с ним то же самое. Теперь исподнее нелепо разбухло. Роланд содрал пылающий пиджак, но даже не попытался снять горящую рубашку.

Он слышал рев несущегося к платформе поезда, видел его огни. Он никак не мог знать, что этот поезд ходит по тому же маршруту, что и поезд, переехавший Одетту, и все равно знал это. Там, где дело касалось Башни, судьба становилась столь же милосердной, сколь спасшая ему жизнь зажигалка, и причиняла столько же боли, сколько чудом возжженное пламя. Подобно колесам надвигающегося поезда, она следовала курсом сразу и последовательным, и сокрушительно жестоким; и этому ходу могли противостоять лишь твердость да любовь.

Рывком подтянув штаны Морта, Роланд опять пустился бегом, едва ли понимая, что люди бросаются врассыпную, освобождая ему дорогу. Приток воздуха, питающего огонь, увеличился, и пламя объяло сперва воротник рубашки, а потом и волосы. Засунутые в исподнее Морта тяжелые коробки снова и снова били по яичкам, раздавливая их; в животе возникла мучительная боль. Роланд — человек, превращающийся в метеор — перемахнул через турникет. «Потуши меня! — вопил Морт. — Потуши, пока я не сгорел!»

«Ты должен сгореть, — сурово подумал стрелок. — То, что с тобой сейчас произойдет, более милосердно, чем ты заслуживаешь».

«Что ты этим хочешь сказать? ЧТО ТЫ ИМЕЕШЬ В ВИДУ?»

Стрелок не ответил; по правде говоря, ринувшись к краю платформы, он полностью отключился. Он почувствовал, что одна из коробок с патронами пытается выскользнуть из смешных штанишек Морта, и придержал ее одной рукой.

Всю до капли силу своего сознания Роланд направил на Владычицу. Он понятия не имел, можно ли услышать подобный телепатический приказ или заставить того, кто его слышит, подчиниться, и все-таки послал быструю, острую стрелу мысли:

«ДВЕРЬ! СМОТРИ В ДВЕРЬ! СЕЙЧАС! СЕЙЧАС ЖЕ!»

Мир наполнился грохотом поезда. Какая-то женщина пронзительно закричала: «О Боже он хочет прыгнуть!» Чья-то рука, силясь оттащить Роланда, шлепнула его по плечу. Потом Роланд вытолкнул тело Джека Морта за желтую предупредительную линию и нырнул через край платформы вниз, на рельсы. Прикрывая руками низ живота, придерживая кладь, с которой должен был вернуться (то есть, если бы проявил достаточное проворство и выбрался из тела Морта в единственно правильный миг), он упал на пути у приближающегося поезда и, падая, вновь воззвал к ней — к ним:

«ОДЕТТА ХОЛМС! ДЕТТА УОКЕР! СМОТРИТЕ ЖЕ!»

И в тот миг, когда он воззвал к ним, в миг, когда поезд, с беспощадной сребристой быстротой вращая колесами, налетел на него, стрелок наконец повернул голову и посмотрел в дверной проем.

Прямо ей в лицо.

В лица!

Их два, я вижу сразу оба ее лица...

«НЕЕ!..» — тонко взвизгнул Морт, и в последнюю ничтожную долю секунды перед тем, как поезд переехал его, разрезав надвое — не над коленями, а в талии — Роланд метнулся к двери... и сквозь нее.

Джек Морт умер один.

Возле материальной оболочки Роланда появились коробки с патронами и флакон с таблетками. Руки стрелка судорожно вцепились в них, потом расслабились. Он заставил себя подняться, сознавая, что вновь облачен в свое хворое, пульсирующее острой болью тело; сознавая, что Эдди Дийн пронзительно кричит; сознавая, что Одетта визжит на два голоса. Роланд поглядел — всего на секунду — и увидел именно то, что услышал: не одну, а двух женщин. Обе были безногие, обе темнокожие, обе — дивной красоты, и все-таки одна была ведьмой, сущей каргой. Внешняя красота не скрывала ее внутреннее уродство, а лишь усиливала его.

Эти двойняшки, которые в действительности были вовсе не близнецами, а положительным и отрицательным образами одной и той же женщины, приковали к себе взгляд Роланда. Он напряженно уставился на них, и в этом напряжении было что-то лихорадочное, гипнотическое.

Потом Эдди опять испустил пронзительный крик, и стрелок увидел омарообразных чудовищ: кувыркаясь, они выбирались из волн и важно шествовали к тому месту, где Детта оставила связанного и беспомощного юношу.

Солнце село. Пришла тьма.

Детта увидела себя в дверном проеме, увидела своими глазами, увидела глазами стрелка, и возникшее у нее чувство перемещения было таким же внезапным, как у Эдди, но куда более бурным.

Она была здесь.

Она была там, за глазами стрелка.

Она услышала приближающийся поезд.

«Одетта!» — взвизгнула она, вдруг поняв все: и что она такое, и когда это произошло.

«Детта!» — взвизгнула она, вдруг поняв все: и что она такое, и кто сделал ее такой.

Мимолетное ощущение, что ее выворачивают наизнанку... а затем куда более мучительное ощущение.

Ее раздирали на части.

Роланд, волоча ноги, неуклюже спустился с короткого склона туда, где лежал Эдди. Он двигался, как человек, лишившийся скелета. Одна из омарообразных тварей щелкнула клешней у лица Эдди. Эдди закричал. Стрелок пинком отшвырнул чудовище. Он с грехом пополам нагнулся, крепко схватил Эдди за руки и потащил его от воды, но слишком поздно; слишком мало сил, сейчас эти твари доберутся до Эдди, черт, до них обоих...

Эдди снова закричал — один из чудовищных омаров, поинтересовавшись: «дид-э-чик?», вырвал клок из его штанов, а заодно прихватил и кусок мяса. Эдди попробовал крикнуть еще раз, но с губ сорвался лишь задушенный клекот. Молодой человек задыхался в Деттиных узлах.

Вокруг повсюду были хищные твари, они наступали, энергично и нетерпеливо щелкая клешнями. Стрелок вложил остатки сил в последний рывок... и повалился на спину. Он слышал их приближение — отвратительные вопросы, щелкающие клешни. Может быть, это не так уж плохо, подумал он. Он ставил на кон все, что у него было — все и потерял.

Гром собственных револьверов наполнил Роланда тупым недоумением.

Две женщины лежали на песке лицом к лицу, приподнявшись, точно готовые напасть змеи, сомкнув пальцы с идентичными отпечатками на шеях, прорезанных одинаковыми морщинками.

Женщина пыталась убить ее, но не настоящая женщина, такая же не настоящая, какой была та девушка; она была сном, сотворенным падающим кирпичом... но теперь этот сон стал явью, этот сон скрюченными пальцами вцепился ей в горло и силился убить ее, пока стрелок пытался спасти своего друга. Ставший реальным сон хрипло визжал непристойности, орошая ее лицо дождем горячей слюны. «Я взяла синюю тарелочку потому что та тетка закатала меня в больницу а потом мне никогда не дарили никаких тарелочек напамять и я кокнула ее потому как ее надо было кокнуть и когда я повстречала белого юнца которого могла треснуть по рылу я треснула а чего ж я обижала белых сопляков потому как сами напрашивались и воровала из магазинов которые продают только всякие штуки напамять белым покамест черные братья и сестры в Гарлеме загибаются с голодухи и крысы жрут их детишек, я настоящая, ты, сука, я настоящая, Я... Я... Я!»

«Убей ее», — подумала Одетта и поняла, что не может.

Она не могла убить эту ведьму и выжить — так же, как та не могла убить ее и удалиться. Покуда Эдди и

(Роланда) (Настоящего Гада)

того, кто воззвал к ним, съедали заживо у кромки воды, они здесь могли бы удавить друг друга. Это покончило бы со всеми. Или же она могла бы

(любовь)/(ненависть)

разжать руки.

Одетта отпустила шею Детты, не обращая внимания на сильные, свирепые и жестокие руки, душившие ее, сминавшие дыхательное горло. Вместо того, чтобы делать из своих рук удавку, она нашла им иное применение. Она обняла ту, другую.

— Нет, сволочь! — истошно завопила Детта, но крик этот был бесконечно сложным, полным и ненависти, и благодарности. — Нет, отвали от меня, отвали и все тут...

У Одетты не было голоса, чтобы ответить. В тот миг, когда Роланд пинком отшвырнул первого атаковавшего их чудовищного омара; в тот миг, когда второй омар выдвинулся вперед, чтобы пообедать щедрым ломтем руки Эдди, Одетта сумела только шепнуть на ухо этой бабе-яге: «Я люблю тебя».

На мгновение руки сжались, превратившись в орудие убийства, петлю... а затем ослабли.

Исчезли.

Ее опять выворачивало наизнанку... а потом вдруг — о, блаженство! — оказалось, что она — одно целое. Впервые с тех пор, как человек по имени Джек Морт сбросил кирпич на голову девочки, подвернувшейся, чтобы принять на себя этот удар потому только, что белый таксист, раз взглянув, укатил (а ее отец в своей гордыне отказался от новой попытки из боязни во второй раз получить отказ), она была одним целым. Она была Одеттой Холмс, а та, другая?..

«Поторапливайся, сучка! — проорала Детта... но голос оставался ее собственным; они с Деттой слились воедино. Ей довелось быть одним человеком, была она и двумя людьми, теперь стрелок извлек из нее третьего. — Торопись, не то ими пообедают!»

Одетта посмотрела на патроны. На это не было времени; пока она перезарядит револьверы, все уже будет кончено. Оставалось только надеяться.

«Но, может быть, есть что-то еще?» — спросила она себя и спустила курки.

И вдруг ее коричневые руки наполнились громом.

Эдди увидел, что на него угрожающе надвинулся один из чудовищных омаров; сморщенные глаза были пустыми, мертвыми и все-таки отвратительно искрились отвратительной жизнью. Клешни чудовища опустились к лицу молодого человека.

— Дод-э... — начала тварь, а потом что-то разнесло ее в клочья и брызги, отшвырнув от Эдди.

Роланд увидел, что один из монстров, проворно перебирая ногами, бежит к его левой руке, которой он размахивал, силясь отогнать хищных тварей, и подумал: «Сейчас и вторую руку...» — а потом тварь разлетелась в темном воздухе облачком мелко раздробленной скорлупы и ошметков зеленых внутренностей.

Он обернулся и увидел женщину, чья красота заставляла сердце замирать, а бешеная ярость обращала его в кусок льда. «ДАВАЙТЕ, ГАДЫ! — визжала она. — НУ, ДАВАЙТЕ, ДАВАЙТЕ! ДАВАЙТЕ, СУНЬТЕСЬ К НИМ! Я ВАМ ЗЕНКИ ЧЕРЕЗ ВАШИ БЛЯДСКИЕ ЖОПЫ ВЫШИБУ!»

Выстрел взорвал третьего омара, который быстро полз между широко расставленными ногами Эдди, намереваясь подкормиться, а заодно превратить юношу в бесполое существо. Тварь разлетелась, как при игре в «блошки».

Роланд и раньше подозревал, что эти существа обладают некими зачатками интеллекта. Теперь он получил тому доказательство.

Омары отступали.

Боек револьвера ударил по непригодному патрону, а следующим выстрелом Одетта разнесла одного из отступавших монстров в куски.

Остальные побежали к воде еще быстрее. Похоже, аппетит у них пропал.

Между тем Эдди задыхался.

Роланд принялся ощупывать веревку, глубоко впившуюся в шею Эдди, так, что осталась борозда. Он видел, что лицо юноши постепенно становится из лилового черным.

Потом его руки оттолкнули руки более сильные.

— Я сама этим займусь. — В ее руке был нож... его нож.

«Чем же ты займешься? — подумал Роланд. Его сознание медленно помрачалось. — Чем же ты займешься теперь, когда мы оба в твоей власти?»

— Кто ты? — прохрипел он, когда его потянула к земле тьма гуще ночной.

— Я — три женщины, — услышал стрелок голос Одетты, звучавший так, словно она обращалась к Роланду с верхнего края глубокого колодца, в который он падал. — Та я, что была; та я, что не имела никаких прав на существование, но существовала; и я — та женщина, которую вы спасли. Я благодарю тебя, стрелок.

Она поцеловала его, стрелок это знал, однако после Роланд долгое время знал только тьму.

5. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПЕРЕТАСОВКА

Впервые, как ему казалось, за тысячу лет, стрелок не думал о Темной Башне. Его мысли занимал только олень, спустившийся к озерцу на лесной поляне.

Держа револьвер в левой руке, он прицелился поверх поваленного бревна.

«Мясо», — подумал он. В рот брызнула теплая слюна; Роланд выстрелил.

«Промазал, — подумал он в следующую миллисекунду. — Утратил. Утратил всю свою сноровку...»

Олень у края воды упал замертво.

Вскоре Башне предстояло вновь заполнить стрелка, но сейчас он лишь возблагодарил неизвестных ему здешних богов за то, что его глаз по-прежнему был верным, и стал думать о мясе, о мясе и еще раз о мясе. Убрав револьвер (тот единственный, что теперь носил при себе) обратно в кобуру, Роланд перелез через бревно, за которым, покуда ранний вечер мало-помалу угасал, превращаясь в сумерки, терпеливо лежал и ждал, не придет ли к озерцу что-нибудь достаточно крупное для ужина.

«Я выздоравливаю, — с некоторым изумлением подумал он, доставая нож. — Я в самом деле выздоравливаю».

Он не видел женщины, стоявшей позади него и следившей за ним оценивающими карими глазами.

В течение шести дней после произошедшего у оконечности пляжа противоборства они ели только мясо омаров и пили только противную солоноватую воду из ручья. Роланд сохранил об этом времени весьма скудные воспоминания — он тогда метался и бредил в горячке, называя Эдди порой Аланом, порой — Катбертом, а женщину — неизменно Сюзанной.

Мало-помалу лихорадка отступила, и они пустились в многотрудное путешествие вглубь холмов. Эдди толкал инвалидное кресло, в котором сидела женщина, но бывало и так, что в кресле катил Роланд, а женщина ехала на закорках у Эдди, некрепко обхватив его за шею. Дорога была такой, что чаще всего передвижение на колесах становилось невозможным, и продвижение вперед шло медленно. Роланд понимал, насколько Эдди выбился из сил. Понимала это и женщина; впрочем, Эдди ни разу не пожаловался.

Пища у них была; в те дни, когда, дымясь от жара, ворочаясь и горько сетуя на давно минувшие времена и давно умерших людей, Роланд лежал между жизнью и смертью, Эдди и женщина стреляли омаров — снова, и снова, и снова. Вскоре омароподобные чудовища перестали приближаться к их части пляжа, но к тому времени мяса у них уже было вдоволь, и когда они наконец попали туда, где рос бурьян с сучьей травой, то уже принуждали себя есть его. Все трое изголодались по зелени — какой угодно, лишь бы это была зелень. И разъедавшие кожу болячки понемногу начали исчезать. Некоторые травы горчили, попадались и сладкие, но, каков бы ни был вкус, путешественники съедали их... за исключением одного случая.

Усталый стрелок вздремнул, а когда проснулся, то увидел, что женщина дергает из земли пучок травы, которую он узнал даже слишком хорошо.

— Нет! Только не эту! — прохрипел он. — Эту — никогда! Заметь ее и запомни! Никогда не ешь эту траву!

Она ответила долгим взглядом и, не требуя объяснений, отложила горсть стеблей в сторону.

Стрелок, похолодевший от того, что беда прошла так близко, опять откинулся на землю. Возможно, кое-какие из трав таили в себе смерть, но то, что сорвала женщина, обрекало ее на муки и медленную гибель. Это была бес-трава.

Кефлекс стал причиной бурной деятельности кишечника Роланда, и стрелок знал, что Эдди это тревожит, но благодаря травам работа желудка наладилась.

В конце концов они добрались до настоящих лесов, а шум Западного моря ослаб до приглушенного неясного гула, который был слышен только при подходящем ветре.

И вот теперь... мясо.

Подойдя к оленю, стрелок попытался выпотрошить его, зажав нож между средним и безымянным пальцами правой руки. Безрезультатно. Слишком уж слабыми были пальцы. Он переложил нож в левую, неумелую, руку и сумел грубо, топорно распороть брюхо оленя от паха до груди. Нож выпустил дымящуюся кровь, чтобы она не успела свернуться и испортить мясо... но все равно, разрез вышел скверным. Ребенок, которого рвет — и тот сделал бы лучше.

«Глядишь, и научишься быть ловким», — сказал себе Роланд и приготовился полоснуть еще раз, глубже.

Накрыв его руку, две коричневых руки забрали у Роланда нож.

Он огляделся по сторонам.

— Это сделаю я, — сказала Сюзанна.

— А тебе хоть раз приходилось это делать?

— Нет, но ты объяснишь мне, как.

— Ладно.

— Мясо, — сказала она и улыбнулась.

— Да, — сказал он, отвечая улыбкой на улыбку. — Мясо.

— Что происходит? — окликнул их Эдди. — Я слышал выстрел.

— Устраиваем День Благодарения! — откликнулась Сюзанна. — Иди помоги!

Позже они наелись, словно два короля и королева. Глядя на звездное небо, ощущая, какая чистая прохлада разлита здесь, в воздухе нагорья, стрелок, которого все сильнее клонило ко сну, подумал в полудреме: ни разу за много лет (так много, что и считать не стоило) он не был столь близок к довольству.

Он уснул. И видел сны.

Ему снилась Башня. Темная Башня.

Она стояла у горизонта на бескрайней равнине, окрашенной в кровавый багрянец яростным закатом умирающего солнца. Он не мог разглядеть винтовую лестницу, взбиравшуюся внутри своей кирпичной скорлупы все выше, и выше, и выше, но разглядел окошки, спиралью поднимавшиеся параллельно ее пролетам, а за ними — бесплотные, бледные тени всех тех, кого он когда-либо знал. Вверх, вверх двигалась эта колонна призраков, и суховей принес звуки голосов, выкликавших имя стрелка.

«Роланд... приди... Роланд... приди... приди... приди...»

— Я иду, — прошептал он и проснулся. Он сидел, вытянувшись в струнку, весь в поту и дрожал, словно лихорадка еще владела его бренной плотью.

— Роланд?

Эдди.

— Да?

— Плохой сон?

— Плохой. Хороший. Темный.

— Башня?

— Да.

Они посмотрели на Сюзанну, но та спокойно спала. Жила-была женщина по имени Одетта Сюзанна Холмс; время шло, и появилась другая, Детта Сюзанна Уокер. Сейчас с ними была третья: Сюзанна Дийн.

Роланд любил ее, потому что знал: она будет биться до последнего. И страшился за нее, потому что знал: без оглядки, без сомненья принесет ее — да и Эдди тоже — в жертву.

Ради Башни.

Богом Проклятой Башни.

— Пора принять таблетку, — сказал Эдди.

— Не хочу я больше этих таблеток.

— Заткнись и ешь.

Роланд проглотил таблетку, запив холодной пресной водой из бурдюка, и рыгнул. Но он ничего не имел против. Отрыжка отдавала мясом.

Эдди спросил:

— Ты знаешь, куда мы идем?

— К Башне.

— Ну да, — сказал Эдди, — но это все равно, как если б я был какой-нибудь неуч из Техаса, который говорит, что едет в Больную Жопу, на Аляску, а у самого даже карты нету. Где она? В какой стороне?

— Принеси мой кошель.

Эдди сходил за кошелем. Сюзанна зашевелилась, и Эдди остановился. Угли догорающего костра превратили его лицо в сочетание красных граней и черных теней. Женщина опять успокоилась, и он вернулся к Роланду.

Роланд порылся в кошеле, который теперь стал тяжелым от патронов из того, другого, мира. Найти то, что было нужно стрелку, среди того, что осталось от его жизни, не составило большого труда.

Челюстная кость.

Челюсть человека в черном.

— Мы еще немного побудем здесь, — сказал он, — и я поправлюсь.

— А ты сумеешь это определить?

Роланд едва заметно улыбнулся. Дрожь утихала, прохладный ночной ветерок почти осушил пот. Но перед глазами по-прежнему стояли те образы, те рыцари и друзья, возлюбленные и враги, что, показавшись на краткий миг в окошках Башни, исчезали, круг за кругом поднимаясь все выше; стрелок видел длинную, черную тень, отброшенную Башней на равнину, на поле брани, где властвуют кровь и смерть, — тень, узниками которой они были.

— Я — нет, — сказал он и кивнул на Сюзанну. — Но она сумеет.

— А потом?

Роланд приподнял на ладони челюсть Уолтера.

— Вот это однажды уже говорило.

Он посмотрел на Эдди.

— И заговорит снова.

— Это опасно, — голос у Эдди был глухой, подавленный.

— Да.

— Не только для тебя.

— Да.

— Мужик, я люблю ее.

— Да.

— Если она из-за тебя пострадает...

— Я буду делать то, что потребуется, — сказал стрелок.

— А на нас наплевать? Так, что ли?

— Я люблю вас обоих. — Стрелок посмотрел на Эдди. От углей костра еще шло последнее слабое, меркнущее свечение, и в этих алых отблесках Эдди увидел, что щеки Роланда блестят. Он плакал.

— Это не ответ на вопрос. Ты ведь пойдешь дальше, да?

— Да.

— До самого конца?

— Да. До самого конца.

— Что бы ни случилось. — Эдди смотрел на стрелка с любовью, и ненавистью, и всей тоскливой нежностью того, кто безнадежно, бессильно и беспомощно тянется к мыслям, воле и желаниям другого человека.

Деревья застонали под ветром.

— Ты говоришь, как Генри. — Эдди и сам заплакал. Он не хотел плакать. Он терпеть не мог плакать. — У него тоже была башня, только не темная. Помнишь, я рассказывал тебе про башню Генри? Мы были братьями и, наверное, стрелками. У нас была эта Белая Башня, и он попросил меня пойти к ней вместе с ним — попросил, как мог, больше он никак не мог попросить — ну, вот я и впрягся, он же был моим братом, сечешь? Надо сказать, мы-таки добрались туда. Нашли Белую Башню. Но это был яд. Она убила Генри. И убила бы меня. Ты же меня видел. Ты мне не только жизнь спас. Подымай выше. Ты спас мою блядскую душу.

Эдди обнял Роланда и чмокнул в щеку. Почувствовал вкус его слез.

— Так что? Опять впрягаться? Вперед, к новой встрече с тем человеком?

Стрелок не проронил ни слова.

— Я хочу сказать, мы мало кого видели, но я знаю, что все еще впереди. Замешана тут Башня или нет, без человека тоже не обошлось. Ты ждешь человека, потому что должен встретить человека, и, в конце концов, кто платит, тот и заказывает музыку, а может, музыку заказывает не тот, у кого бабки, а тот, у кого пули. Ну, так как? Впрягаемся? Топаем встречаться с этим типом? Потому как ежели это будет новый отыгрыш все того же говнопада с громом и молнией, лучше бы вы оставили меня омарам. — Эдди посмотрел на Роланда обведенными темными кругами глазами. — Я грязно жил, мужик. Если я чего и понял, так это то, что не хочу грязно умереть.

— Это не одно и то же.

— Нет? Ты мне будешь рассказывать, будто сам не на крючке?

Роланд не ответил.

— А кто ввалится сквозь какую-нибудь волшебную дверь, чтоб спасти тебя, мужик? Знаешь? Я-то знаю. Никто. Ты вытащил сюда все, что мог. Единственное, что ты теперь сможешь вытаскивать — это свою блядскую пушку, больше-то у тебя ни хера не осталось. В точности как у Балазара.

Роланд молчал.

— Хочешь знать, чему только и пришлось учить меня брату? — Голос Эдди прерывался и был хриплым от слез.

— Да, — сказал стрелок. Он подался вперед, напряженно глядя Эдди в глаза.

— Он учил меня: если ты убиваешь то, что любишь — ты обречен.

— Я уже обречен, — невозмутимо отозвался Роланд. — Но, возможно, даже обреченный может спастись.

— Ты хочешь угробить нас всех?

Роланд ничего не сказал.

Эдди схватил Роланда за лохмотья рубашки.

— Ты хочешь угробить ее?

— Со временем все мы умираем, — сказал стрелок. — Мир сдвинулся с места — но движется не только он. — Роланд посмотрел прямо на Эдди; выцветшие голубые глаза в слабом красноватом свете казались почти серо-синими. — Но мы будем великолепны. — Он помолчал. — Мы получим не только мир, Эдди. Я не стал бы рисковать ни тобой, ни ею, я не позволил бы погибнуть мальчику, если бы за этим не крылось нечто большее.

— Ты про что?

— Про все сущее, — спокойно сказал стрелок. — Мы пойдем туда, Эдди. Мы будем драться. Нам достанется. Но в конечном итоге мы выстоим.

Теперь уже промолчал Эдди. Он не мог придумать, что же сказать.

Роланд ласково, но крепко сжал руку Эдди.

— Даже перед любовью, будь она неладна, — сказал он.

В конце концов Эдди уснул рядом с Сюзанной — третьей, кого Роланд извлек из чужого мира, дабы создать новую тройку. Но Роланд не спал. Он сидел, прислушиваясь к голосам в ночи, а ветер осушал слезы на его щеках.

Вечные муки?

Спасение?

Башня.

Он придет к Темной Башне и возгласит их имена; там он возгласит их имена; все их имена возгласит он у Башни.

Солнце окрасило восток в розовый цвет зари, и Роланд — отныне не последний стрелок, но один из последней тройки — наконец уснул и видел бурные сны, через которые успокаивающей синей ниточкой проходило лишь одно:

Там я возглашу все их имена!